

Н

МИХАИЛ КОЛ

ПОРАЗВИТЕЛЬНО

ВСТРЕЧ

С 2265859



СОУНЪ ИМ. В. Г. Белинского



КА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩА

СОУНЬ ИМ. В. Г. Белинского



СОУНЬ ИМ. В. Г. Белинского







**ЧИТАТЕЛИ**

Просим сообщить Ваш  
отзыв об этой книге по адресу:  
Москва, Центр, Ильинка, 15,  
Информационный Отдел  
„З и Ф“



СОУНЬ ИМ. В. Г. Белинского



МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ Н. И. БУХАРИНА,  
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ МИХ. ЛУЧАНСКОГО  
И ПОРТРЕТОМ АВТОРА

ТОМ III

---

„ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД



МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

# ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

ТРЕТЬЯ ТЫСЯЧА

---

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД



Свердловская  
обл. универсальная  
научная библиотека  
им. В. Г. Беллинского

---

Обложка художника К. Ротова  
Отпечатано в типографии Госиздата  
„Красный Пролетарий“. Москва,  
Пименовская улица, д. 16,  
в кол. 4000 экз., 28 л.  
Главлит № А—15934

МСМХХІХ

1929

С 2265859



**КАРЛ ИВАНОВИЧ** разбудил меня, громко умываясь над самой моей головой. Я высунул нос из-под простыни, заменявшей одеяло, и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Ивановича. Он же стоял в твердой позе перед мраморным умывальником, нажимал краник и подставлял твердые бритые щеки под тонкий фонтанчик воды.

— Зачем,—думал я,—он тревожит меня! Он очень хорошо видит, что разбудил меня, но выказывает, как будто бы не замечает... Противный человек!

Я прищурил глаза и стал всматриваться. Карл Иванович стоял не в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, и не в вязаной ермолке с кисточкой, как ему полагалось бы по „Детству“ Толстого. На Карле Ивановиче были крепкие высокие сапоги, штаны хаки. Он проворно надел гимнастерку, подпоясался темным ремнем с железной пряжкой, поправил на носу очки и стал искать фуражку с красноармейской звездой. Это, несомненно, был настоящий учитель Карл Иванович. Но учитель никак не толстовский, а Карл Иванович. Грюнштейн, старый большевик, суровый начальник сева-стопольской военной школы летчиков, владыка и повелитель старого лагерного городка в тридцати верстах от Северной бухты. И я тоже вместе с дремотой и простыней сбросил с себя предутренние видения Николеньки Иртеньева, встрепенулся мыслью о самолете, об Ангоре, я тоже торопливо склонился перед умывальником.



В половине третьего вдоль шоссе загорелись нитки электрических фонарей. Карл Иванович спускается с подъезда, дежурный рапортует и отдает честь, ветерок пошевеливает сухие травы, повар, на бегу застегиваясь, спешит разогревать завтрак.

Вместе с нами просыпается, начинает двигаться по заведенной колее жизнь школы. Уже на ногах сотни учеников-летчиков. За длинными столами в залитой светом столовой звон кружек и ложек. Сейчас—на работу, на обучение труднейшему умению и искусству. Три года изо дня в день, вставая до зари, молодежь готовится стать пловцами и бойцами на воздушном океане. Три года изо дня в день властно преодолевает в себе земные страхи и привычки, всосанные с молоком тысяч поколений матерей, приобретает новые навыки для птичьего парения меж облаков, для кувыркания в воздушных ямах, для сбрасывания бомб в налетающего врага, и для разведки, и для истребления, и для связи.

Через сизое свежее-дышащее поле мы спешим на аэродром. С нами кучкой движутся все прикосновенные и сочувствующие. Карл Иванович методично подпрыгивает по кочкам на велосипеде, стараясь ехать в ногу с пешеходами.

У ангаров, под фонарями, оживление. Визжат блоки раздвижных дверей, красноармейцы выкатывают для учеников аврошки. Простой учебный самолет „Авро“—первый смирный конек будущего воздушного наездника. У „Авро“—маленькая скорость, простое управление, большая устойчивость и неутомимая живучесть при поломках. На нем ученик делает первые шаги в воздухе, в нем познает чудесную власть над машиной, за его рулем перерождается из просто человека в летуна. И в нем же постигает трагически старую истину о земном притяжении, ломая руку, шею, крыло, Аврошки, тускло



поблескивая черными круглыми пузами, пошевеливая короткими пропеллерчиками, ободряюще поглядывают на своих молодых немилосердных мучителей-седоков, пугающе сверкают свежими заплатами на разбитых боках...

Впереди них, отдельно—четко белеет в безлунной мгле „Красная Звезда“. У нее вытянут стройный сухощавый фюзеляж, широкие, чуть скошенные вверх плоскости крыльев и крупный мотор, далеко выпирающий вперед. От просторного радиатора весь самолет еще больше приобретает облик некоторой большеголовости. Вся мощь этой летательной машины подобралась вперед, к мотору. Он словно перевешивает хрупкое поджарое тело самолета, его костлявый хвост. И меня неотвязно преследует картина: ударившись о воду, мотор с радиатором отламываются силой собственной тяжести, отлетают как чубук от трубки, а седоки остаются на утлом, тощем селедочном хвосте...

Голованов шныряет быстрой мышинной тенью вокруг самолета. Проскальзывает между его голенастых передних лап. Взбирается в гондолу. Перекладывает какие-то пакеты. Исчезает во тьму, возвращается с двумя красноармейцами и двумя болванками. Вырывает из рук красноармейца болванки, подпирает ими колеса, заводит яростный пропеллер. Тут же, на бегу, одевается, застегивается на крючки и ремни.

Межерауп стоит неподвижной монументальной громадой в стороне, аккуратно одетый, забинтованный, зашнурованный, в перчатках и в шлеме. Вполголоса разговаривает с севастопольскими летчиками о посторонних вещах, сохраняя до самого отлета вид солидного беззаботного пассажира, собравшегося ехать в ненастную погоду с опытным шофером. Только когда ожидание и напряжение, взвинченные ревом испытываемого мотора, доходят до предела, он просыпается, обнаруживает заботу о моем



теплом белье, о количестве бензина и масла в баках. Как бы не расслышав, заставляет Голованова несколько раз повторить, что баки полны.

Карл Иванович предлагает нашему вниманию жилеты. Они подозрительны. Легки, довольно тонки, на шелку и на вате. По теории они должны в воде молниеносно разбухнуть и держать нас на волнах четыре часа, пока не подберет миноносец. Мы выражаем надежду, что в этом случае теорию не придется ревизовать практикой. Жилеты приходятся по душе, потому что в них теплее. Спешно водружаем их поверх кожаных пальто. Если такое применение неправильно, придется в воде снимать жилет, за ним пальто и прочее, привешивать все на воображаемый гвоздик, затем заново переоблачаться и тогда уже спастись по правилам! Любопытная операция... Я рассовываю по карманам свой полуфунтовый багаж.

Карл Иванович недоверчиво разглядывает мой кожаный шлем и решительно заменяет его пробковой боевой каской.

Огромный наш пилот легко взобрался вверх и уже у руля. Мы с Головановым долго умищаемся в своей лодочке, подвязываясь ремнями, размещая вокруг, под руками нужные во время полета вещи. Тут и компас, и металлическая линейка для счета отклонений, и карта на роликах, и карандаши с бумагой, и две бутылки—одна с нарзаном, другая с той жидкостью, против которой я написал столько громовых анти-алкогольных статей...

Небо чуть побелело, и уже легче различать лица провожающих, более тревожные, чем наши собственные, улыбающиеся. Карл Иванович заботлив, он возится, как в деревне хозяин, укладывающий гостя на ковры и на сено в кошевку. Рядом с ним сдержанно волнуется Лёвин, представитель военного ведомства. Отличный летчик,



он только вчера сам примчался тихо-скромно из Москвы на самолете, чтобы проводить нас. Он сочувственно не брит и сейчас же после нашего отбытия улетает обратно в Москву побриться.

— Все будет хорошо, не так ли? Слетаете на ять!

И он улыбается нам для ободрения. И мы улыбаемся ему, тоже для ободрения.

Завели. Контакт. Я завожился с очками. Их уносит вихрем пропеллера. Застегнул с трудом резинкой. А когда уладил, мы уже оторвались от земли, и момент взлета был упущен, этот всегда неуловимый, загадочный, непонятный момент взлета, который всегда от меня и от всех ускользает, о котором никто толком не может рассказать и передать, ибо это—прекрасная тайна слияния техники с природой, объяснимая, но неопишуемая, как удар штыка, как поцелуй.

Мы набираем высоту. Это значит—мы с густым звоном мотора, буравя сверлом плотный воздух, неуклонно поднимаемся спокойными просторными кругами. Громадная спираль, вышиной в две версты, и внутри ее—Севастополь со всеми бухтами и фортами, Кача, Инкерман, Балаклава. Это довольно длинная процедура, я начинаю недоумевать. Голованов указывает мне на высотомере цифру, к которой медленно ползет стрелка. Мы будем так кружиться, пока не доползем до 2500.

Мы идем вверх кругами целых полчаса. Потом проходим над пегими комками внизу—это Балаклава—и сразу отрываемся от берега.

Высота очень велика, и отсюда мысль „оторвались от берега“ воспринимается головой равнодушно. И земля, и вода, и воздух слились в однородные массы сероватого пепла. Великое предутреннее раздумье струится в этих необъятных просторах. Ночь в последний раз насупилась. Но мгла понемногу растворяется, холодное солнце



медленно и безучастно, как на сцене, начинает освещать наш полет.

Мы идем спокойно и ровно через толщи пространства. Берег позади быстро исчез, как слизнуло. Пепельное море внизу пока только один раз показало маленькую светлосерую черточку: миноносец. Края морского горизонта нечетко приподняты и совершенно сливаются с серым небом. Мы летим внутри непрозрачной, но поблескивающей хрустальной чашки—вселенной. Вероятно, такое ощущение должно быть или когда-нибудь будет при межпланетном перелете: полнейшая, спокойнейшая безысходность. Ничего позади, ничего впереди, ничего кругом, только лодка, грохот, стрелки на приборах, зеленый пучок травы, застрявший на стальном тросе при подъеме. Нет никакого страха, наоборот—полное, приподнятое, обреченное спокойствие. Это так проникает в Голованова, что он начинает домовито суесться на этой чортовой высоте. Достает колбасу, режет ее в перчатках на газете ножом, обдирает кожуру, радушно предлагает мне. Потом начинает возиться с карандашами, пишет мне записку:

„Погода хорошая, только видимость плохая“.

Я тоже решаю заняться своим домашним бытом. В первую очередь что-нибудь записать или нарисовать в записную книжку. Это—длинная история. Надо расстегнуть спасательный жилет, кожаное пальто, открыть пряжки тяжелых ремней. Не спеша и с удовольствием все проделываю, начинаю писать. В перчатках неловко, без них—холодно. Весь уйдя в это занятие, я подымаю голову, лишь когда Голованов настойчиво сует мне новую записку. У него озобоченное лицо. Он укоризненно качает головой.

„Погода совсем изменилась. Тучи“.

Их много, они несутся навстречу нам огромными волнами, они выстраиваются в непроницаемую стену,



плотную дымовую завесу перед самым лицом! Странно видеть эти тучи не далеко, а прямо перед собой, как злых врагов, как каменные глыбы, преграждающие путь. Войти в них, запутаться—значит потерять направление, значит из организованной машины, летящей по прямой линии, превратиться в жалкую, обреченную, обезумевшую песчинку.

От туч потерялось ощущение „межпланетности“. Они сразу обозначили обстановку. Рассеивание света прекратилось, тучи оттенили под нами море. Оно стало ясным, стальным, оно красиво, зловеще синее. Где-то крохотными белыми жилками виднеются даже огромные гребни волн.

Если заглянуть боком вперед, становится страшно. Это—от колес. На длинных стальных стойках колеса самолета висят в воздухе, чуть-чуть поворачиваясь при толчках и воздушных ямах. Они приспособлены для бега по земле, а тут—бессильно висят, единственная из частей самолета, не принимающая никакого действительного участия в полете. Они торчат, как ноги маляра на высоте небоскреба, замерли над бездной, как копыта Фальконетова коня в Ленинграде. От их висячей неподвижности становится не по себе.

Но стоит взглянуть на другое, чтобы сейчас же успокоиться. Эта—спина Межераупа, крепкая, спокойная спина, не обнаруживающая никаких признаков смятения. Летчик сидит, спокойно откинувшись на спинку своего сиденья, в непринужденной позе, изредка с ничтожным поворотом головы разглядывая фланги. Спина говорит о том, что пилот, не торопясь, рассчитывает и соображает, что он чего-то ждет.

Стрелка на высотомере начинает вдруг тянуться книзу. Голованов оживляется и знаками начинает объяснять предполагаемый маневр Межераупа. Летчик хочет нырнуть



под тучи, пройти низом, как тоннелем, и выбраться в безоблачные места, если они есть. Мы уменьшим высоту, будет опаснее лететь, но иначе мы рискуем запутаться в сырой, темной чаще.

В самом деле, мы опустились и идем под тучами, вернее—почти в них. Скорость все увеличивается, сырость пробирает насквозь, ветер совсем иступленно жжет лицо. Уже почти невозможно приподыматься в самолете. Пробковую каску рвет назад, стягивает с головы, ее надо крепко нахлобучивать и подвязывать. Бедный наш Гриша Розенблат из „Правды“, он погиб по нелепой, случайной небрежности, этот чудной парень с позывами к героизму. Старый летчик Россинский, производивший расследование харьковской катастрофы, вынимал из портфеля и показывал мне кусок обивки кабины „Дорнье-Кометы“, пропитанный липкой, незасыхающей розенблатовской кровью. Гриша стоял в кабине, готовясь выйти или выскочить из нее, и в момент падения ударился обнаженной головой о жесткую стенку. Будь на нем каска, он отделался бы испугом и, в худшем случае, ранением плеча.

Мы выбираемся из туч и с радостным рокотом мотора опять набираем высоту. Мы поднимаемся наискось, прямо к солнцу; оно уже не безучастно, оно щедро и разливисто светит нам навстречу! Все оживает, облекается в цвета кругом нас. Не сырые чернильные пятна, уже нежные ватные клочки облаков по-детски треплются внизу. Море посветлело, потеплело, кажется менее враждебным. Где-то, очень далеко влево, верст за сто, чуть заметно движется и пускает дымок военное судно. Таких дымков мы видели только два за весь путь. Залитый солнцем, наш корабль несется вперед, и сердце рвется его обогнать, звеня, как непрерывная раздирающая песнь мотора.

Он держит великий экзамен—наш советский мотор. Мы доверили ему свои жизни. От Москвы до Севастополя



он внушал кое-какие подозрения. Кашлял, чихал, несколько раз давал перебои. В Севастополе Голованов обнаружил, что две пружины на цилиндрических клапанах лопнули. Пружины заменили. В пути над морем, как потом оказалось, отлетела еще одна, третья. Это—не пустяк. Об этом не-пустяке следует сказать, оставив ложный стыд и казенный патриотизм. Наш мотор, в общем, вывез, отлично выдержал труднейшее испытание. Победа тем более обязывает советских инженеров внимательнее изучить недостатки и слабые места удачного детища.

Мотор сейчас в отличном настроении. На его непрерывном крике нервы настороженно дремлют, как на мосту через море. Один миг молчания, двадцатая доля секунды в тишине—мост проваливается, нервы падают в бездну, нужно несколько минут, чтобы вернуть их на место. Это называется перебой! Их было всего два или три над морем. Буду помнить.

Но все-таки он хорош, он прекрасен, наш, до последнего винта рожденный в революционной стране, механизм! Он довезет нас, я чувствую, я верю, знаю.

Солнце золотит перекладины крыльев, великая гордость кружит голову при взгляде на наше стремительное белое воздушное судно здесь, впервые от сотворения мира, на девственных высотах, над бездонными морскими глубинами. Что это, разве не революция—эта машина, выстроенная волей рабочих в отсталой полуазиатской стране, отказавшейся от унижительной опеки всего капиталистического мира, руководимая летчиком-крестьянином, впервые поднявшимся на воздух в гражданскую войну, чтобы защитить свою деревню от свергнутого и пытающегося возвратиться помещика?!

Разве не революция этот наш маршрут—безукоризненно прямая линия из столицы революционно-независимой



России в столицу революционно-независимой Турции? Сотни лет завязали мертвый, застарелый узел между холодными, слюнливо-ненастными министерствами Санкт-Петербурга и окровавленными султанскими дворцами Константинополя. Либеральные профессора, с национальными идеалами и севрюжной отрыжкой, помогали петербургским чиновникам мечтать о „кресте на святой Софии“, а послы Блистательной Порты во всех европейских столицах старались поглубже воткнуть кинжал между лопаток царской империи. Разве не страх за проливы толкнул Турцию к безумному участию в мировой войне? Разве не оскаленная жадность к Царьграду позывала русскую буржуазию к новым вспышкам сверхприбыльного патриотизма?

В секретной телеграмме зимой пятнадцатого года царский посол в Париже, Извольский, сообщая о претензиях Франции на Сирию и Киликию, с аристократической усмешкой приводил слова Бриана: „Французское общественное мнение не поймет отказа (от Сирии) точно так же, как русское общественное мнение не поняло бы отказа России от Константинополя и проливов“. В это самое время настоящее русское общественное мнение гнило и умирало в окопах, не зная, за что воюет, ненавидя, готовясь свалить своих мучителей.

Когда, за полгода до красного Февраля, посланник в Швейцарии сообщил о желании турецкой оппозиции заключить сепаратный мир с Россией, последний царизволил на этом письме собственноручно начертать: „С Турцией надо покончить. Во всяком случае, в Европе ей не место. Николай“.

Два народа покончили, но не с Турцией и не с Россией, а с султанским Константинополем и царским Петербургом. Новые столицы крепко встали в двух старинных городах, в самом центре двух освободившихся стран.



Они связались дружбой вопреки интригам империалистического Запада. Двухсотлетний узел Петербург—Константинополь даже не разрублен. Он растоптан и забыт, и вместо него—Москва—Ангора, прямая нитка нашего сегодняшнего полета. Профессор Милюков, министр Сазонов—могли вы ждать, что это так кончится?!

Вот он, берег. Мы долго идем, еще не видя, но чувствуя его по неподвижности облаков впереди. Потом, как во сне, возникают изумительные голубые замки горных кряжей над морем. Ближе—голубизна исчезает. Очень далеко, за десятки верст, четко видны анатолийские скалы. Их надо будет штурмовать: новая сплошная стена туч стоит от вершин и вверх, до конца, без конца.

Еще полчаса,—мы прощаемся с морем. Летчик огибает берег Малой Азии, ища лазейку между тучами и остриями гор. Это тянется долго, мы уже потеряли город Инеболи, над которым должны были выйти. Если будем еще отодвигаться вправо, придется идти на Сан-Стефано...

Нет, расщелина нашлась. Мы врываемся в нее, чтобы дальше идти над сушей. Прощай, старое Черное море! Мы сегодня второй раз лишили тебя невинности. Многие тысячи лет назад волосатый человек с обезьяньей челюстью впервые долгими днями перевозмогал тебя на дубовом челноке. Сейчас, смотри, люди перешагнули тебя в сто двадцать минут, как лужу под ногами.

Мы вытаскиваем новые карты. В них очень трудно разобраться. Хребты, долины, реки—все перепутано, железных дорог не видно, сравнить карту с местностью здесь—заковыристая штука. Голованов мечется, высчитывает курс, сует записки Межерлаупу, мне:

„Ищите речку“.

Ищу и нахожу внизу серебряную нитку, бегущую между двумя хребтами. Предлагаю ее механику, он справляется с картой, отвергает.



Где Кастамония? Где Ченгри? По нашим расчетам, летчик заблудился и ищет только хорошую площадку для спуска. Такие площадки попадаются все чаще; Меже-рауп, видимо, разборчив.

Напряжение спадает. Пейзаж начинает утомлять, несмотря на дикую, живописную свою мощь. От холода хочется спать. Вдруг летчик оборачивается, впервые за весь путь, и смотрит на нас обоих с долгой иронической улыбкой.

В самом деле, внизу под нами довольно большой город, разбросанный на холмах. Черепичные крыши, белые, шоссе, трубы и бараки кирпичных заводов, вокзал, сеть рельс.

Кастамония?

Влево мелькают шесты радиостанции и палатки аэродрома... Ангора!

Три торжественных, величавых круга над городом. Мотор выключен, но пропеллер неистовствует попрежнему. Мы садимся как на печку: земля жарко дышит на нас неостывшими за ночь песками. Нелепо, боком, мелькнули под крылом: ангар, часовые, автомобиль с барышнями в шляпах, военный с генеральскими лампасами. Потом кочка, толчок, странная неподвижность, веселые глаза и чернейшая в мире борода Якова Захаровича Сурица, посла советского на Туреччине. В ушах звон и сильная боль, плохо слышны его первые слова.



## СЕРЕБРЯНАЯ УТКА

**М**Ы УЕЗЖАЕМ из Ангоры. Звонко, как в России, пробил станционный колокол. Свистнул паровоз, двинулись и поплыли влево небольшое станционное здание, хамалы-носильщики, дежурный в красной кепи, пестрые группы провожающих, турецкие авиахимщики в крахмальных манишках, веселая ватага товарищей из полпредства, монументальный Али-Саид-паша, командующий первой армией, в алых лампасах и с непокрытой седой головой, подъездные пути. Потом—аэродром, невзрачные холмы, покрытые низкой, пыльной, выгоревшей травой. Я оторвался от окна и вышел в коридор.

От быстрой езды на узкой колее вагон качало в обе стороны, как судно в качку. По зеленой бархатной дорожке, рассматривая мою спину вежливым, но пристальным взглядом, бесшумно шагал из конца в конец высокий плечистый молодой человек в безукоризненном костюме.

Когда хождение с почетным караулом наскучило, я переменил курс и стал шагать во встречном направлении. Нам два раза пришлось с извинениями разминуться в узеньком проходе.

На третий раз вагон особенно сильно качнуло, молодой человек с отличной ловкостью подставил под меня локоть, предупредив толчок, и, в ответ на „мерси“, заговорил с простотой хорошего знакомого—простотой, которая при знакомствах так удается только парижанам или людям, прожившим десятилетия в „столице мира“:



— Неужели вы так и не нашли бензола?

Вопрос брал быка за рога. Бензол был тем самым важным, что больше всего интересовало нас, участников воздушного рейса Москва—Ангора, во все время нашего пребывания в новой турецкой столице. Хотя последний, окончательный, утвержденный Авиахимом вариант нашего перелета кончался в Ангоре,—нам очень хотелось протянуть его еще на один этап и добраться летом до Константинополя. Желание это, горячо поддержанное и полпредством и турками, натолкнулось на совершенно неожиданное препятствие. Ни в Ангоре, ни в Стамбуле мы запрашивали телеграфно, нигде не оказалось бензола, который нам надо было примешивать в количестве одной четверти к бензину для мотора. Применение в нашем моторе более высокого сжатия давало значительный выигрыш в количестве лошадиных сил, бензола в СССР же—хоть пруд пруди. Поди-ка, догадайся, что Турция—„безбензольная страна“! Это открытие было сюрпризом не только для нас, но и для самих турок. Ангорская лига авиации и генштаб доказывали, что бензол непременно найдется, но время шло, самолет пришлось погрузить на поезд, и только в самый день отъезда из Стамбула пришла трагикомическая телеграмма: „Бензол возможно достать маленькими порциями в ряде аптек. Ждем распоряжений“.

Молодой человек, видимо, нисколько не злорадствовал по поводу этой маленькой неудачи. Наоборот, он сокрушенно возмущался, пересыпая быструю французскую речь энергичными восклицаниями:

— Нет, господин редактор, какая чепуха! Турция без бензола! И они еще хотят дешевой авиации! Но ведь бензин вдвое дороже! Чорт! Но как остроумно ваш мотор выигрывает на мощности! Вероятно, сам Либерти не смог так бы аккуратно выпустить машину! Бесподобно! Эта



треснувшая пружина—суший пустяк! У вас на двенадцати цилиндрах оставалось еще сорок семь пружин! Вы могли бы свободно долететь до Калькутты! Я никогда не был сторонником Юнкерсов, но особенно теперь, когда они стояли рядом с вашим Р. I—ведь это барахло! Браво, браво! А измерительные приборы! Это головокружительно! Какая отделка! Скажите, радиатор у вас не подтекал? По-моему, чуть-чуть подтекал! Но как хорошо, что вы не поставили добавочного! Он был бы вам ни к чему! Абсолютно! Ведь здесь все-таки не Южная Африка! Жара, но не тропическая! Вполне достаточно того охлаждения, какое у вас было! Не забудьте, господин редактор, про горы. Кстати, шины меня очаровали! Неужели это—Трикольник? Ведь „Резинотрест“—это Трикольник? Очаровательная резина!

Незнакомец произносил вместо „Треугольник“ „Трикольник“. В остальном он обнаруживал полную точность и блестящую осведомленность. Видно было, что он знает наш самолет от пропеллера до последнего троса на рулях. Что он лазил по траве, счищая присохшую грязь с колес, и разглядывал буквы, вытисненные на шинах. При всех официальных встречах и показах „Красной Звезды“ я присутствовал, но этого молодого человека не видел...

Прочтя в моих глазах легкое недоумение, общительный парижанин совсем приятельски улыбнулся и радушно развел руками.

— Вы думаете, я чиновник генерального штаба или английский шпион или... О, сохрани бог! Нам, бедным торгашам, приходится знать все и вся. Не узнаешь—не продашь.

Быстрый, привычный жест, и у меня в руках уже визитная карточка молодого человека. Она подробно, но с достоинством сообщает, что мой собеседник состоит



коммерческим директором авиостроительной фирмы „Франко-Луиза“<sup>1</sup>.

Еще один круглый жест—в мой обшлаг воткнулась красивая серебряная булавка с головкой в виде стремительно летящей дикой утки.

— Это—знак нашей фирмы. Вы его найдете на моторах, на фюзеляжах, на крыльях и радиаторах. Я ездил сюда предлагать турецкому правительству серию наших самолетов самой последней модели. Одновременно вел переговоры о нашей предыдущей серии. Она несколько не устарела, а, между тем, мы даем на ней большую скидку.

Коммерческий директор едва заметно вздохнул. Видимо, успех с продажей был не очень велик.

— Сейчас я еду на Балканы: Югославия, Болгария. Там, кажется, удастся провести большие продажи. А потом—хочу посетить Москву. Мы работаем сейчас специально на Восток! Чорт! Утро, когда я тихонько осматривал ваш авион, убедило меня, что в Москву надо торопиться. Ведь мы еще поторгуем с вами? Ведь эта игрушка, на которой вы так ловко перепорхнули через Черное море, изготовлена напоказ! Ведь вам еще долго придется обращаться к „Франко-Луизе“, если не к нашим конкурентам.

В его взгляде и тоне ирония боролась с сомнением и чуть-чуть беспокойным вниманием.

— Вы осведомлены хорошо, но не отлично. Наше советское самолетостроение быстро идет вперед. Мы перестали уже строить отдельные машины. Мы выработали типы и строим целыми сериями. У белой игрушки, которая вам понравилась, есть целая стая сестер. И все, до последнего винта, выстроены в Советском Союзе.

— Но ведь это безумие! Ведь вы можете дешевле и скорее получить все нужное у нас! Если вам не нравятся

<sup>1</sup> Название изменено. (Прим. авт.)



наши модели, скажите, что вам нужно, мы выполним все ваши требования! Чорт! Я шью себе костюм в Париже, но если турки сделают лучше и дешевле, я плюю на свой патриотизм! Ведь вы, большевики—интернационалисты. Отчего же вам не дать заработать „Франко-Луизе“?! Ведь и наши рабочие будут довольны!

— О том, довольны ли ваши рабочие, надо спросить их самих. Мы же строим и будем строить нашу собственную авиопромышленность. Наше производство дешевеет с каждым годом, и скоро мы догоним вас в цене, как догнали в качестве. Когда СССР будет независим, свободен от западной техники—это будет лучший вклад в интернациональное дело освобождения рабочих. Еще несколько покупок у разных ваших „Франко-Луиз“—и крышка.

Молодой человек стал заметно потухать, но ни на каплю не утерял своей любезности. Он шаловливо улыбнулся.

— Дай вам бог, или кто там у вас в России его заменяет. Не выбрасывайте только моей карточки. Когда-нибудь, если „Франко-Луиза“ погибнет от конкурентов и отсутствия рынков, я приеду к вам проситься на службу. Вы не пожалеете: наше правление говорит, что никогда не имело лучшего директора.

Француз упорхнул, я вернулся в купе. Межерауп выдернул из моего обшлага булавку.

— А, серебряная утка, „Франко-Луиза“! Хорошенькая птичка. Только очень дорогая. Пока она еще клюет у нас по зернышку. Скоро не будет клевать. Мы уже выкормили своих птенцов.



**Я** ПОЛУЧИЛ отпуск и поехал по морям в те земли, которые издревле на Руси назывались святыми, а теперь зовутся „пробуждающийся Восток“. Пароход отходил от нового мола в Одессе. Он был снизу доверху полон зерном, цементом, багажными корзинами, человеческими надеждами и людьми. Крик стоял столбом от заплыванной портовой воды до самого неба. Путешественники прощались с родней, а родня просила непременно писать письма из Палестины, а таможенники и чекисты добросовестно рылись в узлах и документах, а у одного еврея пропал бумажник с тридцатью червонцами, а у одной пассажирки по паспорту оказался лишний ребенок, а секретарь судовой ячейки застрял где-то на берегу, и без него нельзя было отшвартоваться, а все одесские газетчики сбегались предлагать вечерние „Известия“, и казалось, что какая-то республика, очень шумная и сердитая, вздумала отделяться от СССР и никак не может стовориться. Но все-таки к вечеру выяснилось, кто едет и кто остается, даже секретарь ячейки прибежал с газетами и с жареной курицей в кульке,—и мы вышли в открытое море.

Шесть дней и семь ночей надо было ехать из Одессы в Яффу, и все запаслись терпением. Если целую жизнь чаешь попасть в обетованную землю,—разве не кажется неделя мигом? Глубокие старики из подольских местечковых синагог сидели на корме у люков и доверяли пожелтевшие седые бороды южному ветру. Они собрались



в „Эрец-Исроэль“, как на небо, и на всякий случай туго увязали золотые десятки в уголки цветных носовых платков. Ведь и на небе не так уж все устроено, чтобы негодились несколько рублей. Богатые крестьяне с правого берега Днепра ехали в Иерусалим поклониться гробу господню и, если удастся, осесть на земле в тех местах, где нет незаможников, где милиция не сажает за самогон, где можно, как слыхано, нанять черных батраков и выезжать на четверке цугом, как твой помещик. Высохшие в жердь спекулянты с намасленными проборами и толстыми женами, попрятавшими при осмотре бриллианты в самые сокровенные места пышных тел, познакомились между собой, когда на горизонте видна еще была Одесса. Решили немедленно организовать табачную фабрику и крахмальное производство на компанейских началах, а пока менялись валютой. Совсем еще не старый тамбовский попик, неожиданно удивив всю епархию, выхлопотал заграничный паспорт и держал путь на святую гору Афон, где мыслил поговорить по совести с тамошними иерархами и выяснить в точности насчет живцов. Киевская проститутка, всем известная шлюха Роза с Крещатика, ехала к сестре в Тель-Авив, ходила по палубе, широко выкидывая большие ноги в шелковых тельных чулках, возбуждая матросов, возмущая жен. Старики, уперев ржавые бороды в набалдашники тростей, тщательно обсудили и раньше всех признали Розу. Вавилон разрушен, но откуда-нибудь должны же поставляться блудницы в Иерусалим. Пусть девушка лучше заработает чем сможет в святой земле, чем прозябать в тысячелетнем изгнании. Зато молодежь, парни и девицы из организации „гехолуц“, напялившие на судне сионистские значки, очень горячились, единогласно признали Розу непригодным для колонизации элементом и даже решили в Яффе поднять „вопрос“.



Все народонаселение пело, спорило, ело, спало и предъявляло претензии к старшему помощнику капитана. И только когда началась „зыбца“, то-есть когда пароход стал кокетливо приседать, равномерно выматывая внутренности у путников, претензии смолкли, на судне водворился некий гражданский мир перед лицом стихии, и молодые сионисты, плечом к плечу с Розой, дружно блевали за борт из глубины души.

На другой день была суббота, совторгфлот предоставил пассажирам полную свободу по отправлению религиозных культов, и старые евреи собрались на молитвенный митинг в курительной первого класса. Докладчик плакал перед богом длинными торжественными стенаниями, но все хотели в такой важный момент быть докладчиками перед богом и перебивали кантора, и сложно оркестрованный вопль несся из переполненной курилки. Внизу же, в столовой, московский спекулянт играл худыми когтистыми пальцами электро-фокстрот, и четыре пары, жарко прижавшись щека к щеке, кружились вокруг своей оси между столами. А в красном уголке комсомольцы-лебедчики и повара, отбивая такт сапогами, пели под гармошку „Интернационал“, и корабль—шестиэтажная республика с зерном, людьми и надеждами—шел вперед, пока три начала боролись на нем силою песни и музыки.

На следующую ночь в междупалубном помещении родила женщина; принимал молодой врач и волновался больше самой матери. Вместе с розовой турецкой зарей мы увидели берег и вошли в Босфор. Тонкая дымка нежила зеленые берега, и снежно-мраморные султанские дворцы, ежась от предутреннего холода, проверяли свою красоту в синем отражении пролива. География не со врала: тут оказалось, в самом деле, одно из прекраснейших мест на земле. Но украинские хлебобобы насупясь, высматривали, что здесь сеют и что за народ, а



спекулянты, не вглядываясь в пейзаж, начали переводить жизнь на турецкие лиры.

Приехали карантинные власти, потребовали, чтобы весь второй и третий классы прошли на берегу горячую баню в целях дезинфекции. Это вызвало страшный ропот и протесты. Делегат от стариков пришел к капитану с конкретным предложением: они доплатят до первого класса, но не будут мыться. Капитан хохотал и передал турецкому чиновнику. Тот отказал, и пассажиров стали грузить в шлюпки. Гехолуцники держались бодро: какие только испытания не выдержишь на пути в землю отцов! По дороге в баню, в лодке, они даже затянули волжскую песню. Евреи—на Босфоре—поют „Вниз по матушке по Волге“... Не об этом ли мечтал Милюков?!

Турки купали пароход до обеда, и только к вечеру мы совсем стали на якорь у Галатского моста. Полицейский на трапе проверял документы, но мало кто отваживался сойти в город, миллионами огней и красок разостлавший свои соблазны на смежных берегах Европы и Азии. Из эмигрантов только Роза надела большую шляпу и поехала передать письмо в знакомый публичный дом.

Уже в темноте к той железной якорной бочки, у которой стояло наше судно, пришвартовался другой советский пароход—встречный, из Палестины.

Сначала пассажиры не сообразили, в чем дело. Но когда в ответ на окрик раздалось: „Мы в Яффу!“... „А мы из Яффы!“—население обоих пароходов мигом сбежалось на нос.

— Что, скоро нас в Яффе на берег спустят?

На этот совсем невинный и миролюбивый вопрос с палестинского парохода рванулся целый фейерверк криков:

— Лучше бы вас совсем не спускали!

— Поезжайте назад!

— И сходить на берег не стоит!



— Чудаки!

Эмигранты на нашем пароходе опешили и загомонили. Потом один, погорластее, выгнулся далеко за борт и, сложив руки рупором, зычно спросил:

— Гражданин, скажите, кроме шуток! Какая в Палестине жизнь, и почем фунт масла, и сколько там держит червонец?

Возбуждение на встречном пароходе усилилось. Опять посыпался ворох криков, по-русски и по-еврейски:

— Там жизнь как на холерном кладбище!

— Не спрашивайте за масло, если вы не богач из Ротшильдов!

— Вы будете кушать камни с песком, это там дешево, а больше ничего!

На нашем пароходе усилилась растерянная суета. Потом молодежь из „гехолуца“ протолкалась вперед, и писклявая девица крикнула что было мочи:

— Мы вас знаем! Вы коммунистические агитаторы и хотите нас отговорить. Мы вам не верим! Нам известно, что в Палестине хорошо.

— Для буржуев!

— Ну, конечно, не для большевиков и евсеков!

В общем крике ничего нельзя было разобрать, и даже рваные турки-лодочники кругом парохода, известные как шумливейшие люди в мире, оробело стихли. Но все голоса покрыл один голос с палестинского парохода:

— Хаим Факторович, я вас знаю, ваш брат торгует красками в Киеве на Бессарабке! И вы меня знаете, я Певзнер с Житнего базара, я вам лудил самовары, починая замки, я не агитатор и не большевик, хотя бог будет виноват, если я стану большевиком! Уберите этих сморкачей, так я вам скажу честную правду об этой проклятой святой земле!



Старики уговорили гехолуцников отойти в сторону, и тогда слесарь Певзнер с Житнего базара стал ругать обетованную землю всеми словами, которые он знал с детства.

Он рассказал, как польские буржуи строят роскошные дома в Палестине, как они выматывают жилы из приезжих рабочих, как невозможно получить в колониях кров и труд, как даже зажиточные люди покупают мясо на золотники, как мучает приезжих английская полиция и как сотни, тысячи рабочих бегут из Палестины, проклиная сказку богачей о святой стране праотцев.

— Нас едет здесь пятьдесят семей, пятьдесят рабочих с рабочими руками, и у нас уже болят глаза смотреть в ту сторону, когда мы увидим Советскую Россию, потому что там можно работать и иметь свой кусок хлеба! Мы не знали, что такое арабская страна с английской властью, а теперь мы знаем, что это за блюдо, и я вам говорю—пусть старики и богачи плывут умирать на эти камни, а для рабочих есть только один дом, и мы туда едем.

Спутники Певзнера не дали ему кончить, стали махать руками и увещевать наших эмигрантов:

— Мы говорим вам как братья: если среди вас рабочие, переползайте на наш пароход! Вы там наплачетесь перед английским городовым и узнаете, что только в России можно жить и трудиться!

Люди на нашем судне стояли молча, в холодном поту. Только ребятишки на руках визжали, не думая о своей судьбе. Старики утюжили ладонями бороды и подсчитывали, не мало ли золотых десятков завязано в уголке платка.

Еще долго говорили, расспрашивали, ссорились, загорались и потухали пассажиры у обоих бортов. Когда разговор поник и стал вялым,—огромный рыжий мужчина



в бороде возвысил свой голос звонким великорусским говором:

— Вот и я скажу. Некрасовцы мы. Казаки, значит. При Екатерине-матушке, императрице, мучили нас до-тошно. И выехали мы при Екатерине, двести тому лет назад, в турецкие земли.

Казак вздохнул глубоко и задумчиво, как будто это он сам двести лет назад уезжал от Екатерины.

— И теперь, значит, пославши ходоков, мы положение выяснили у советской власти, ходоки вернулись, и едем мы на отведенные земли, сто девяносто два человека, в село Хамис, Воронежской губернии. И скажу от себя беспристрастно: ежели работать и не мучиться—одно только дело, в Россию ехать и никаких!

При свете луны говоривший казался еще выше и крепче. Ноги его будто проросли сквозь палубу и на дне морском крепко упирались в землю. Наши эмигранты поверили ему больше, чем слесарю Певзнеру, и молча разбрелись по каютам.

Скоро опять розовая заря стала вскипать нежными пузырями над Босфором. Утром корабли разбрелись от железной бочки и пошли каждый в свою сторону, каждый в обетованную страну. На одном—старики, женщины, молодые трутни и блудница в страхе и смущении зывали к богу и судьбе. На другом—рабочие и крестьяне во сне шевелили плечами, сжимали кулаки, радостно предвкушая сопротивление машины и земли. Султанские дворцы, мраморные и бесстрастные, привыкшие ко всяким передрягам, провожали оба корабля, не оборачиваясь.



## НА ЖЕЛТОМ БАСТИОНЕ

**Я** БЫЛ в маленькой стране Боснии, о которой у нас ничего не знают. Рядом с Боснией пролегла Герцеговина, в честь которой у нас выпущены дорогие, но неважные папиросы „Герцеговина Флор“. О Боснии у нас нечего прочесть даже на папиросных коробках. Трудно заниматься географией на ходу; но если взять наш Дагестан, перенести его в сухие астраханские пески и приправить крымской пестротой, получится нечто в роде образа Боснии.

Город Сараево, столица Боснии, запрятан в долине речки Милячки, у подошвы высоких гор. В нем пять гостиниц, сотня хороших автомобилей, полсотни церквей и мечетей, несколько табачных и ковровых фабрик, кожаный завод, музей, трехсотлетний публичный дом и такого же возраста тюрьма.

Сараевские жители делятся на три почти равные части. Одна разместилась на нижних, чистеньких и довольно европейских улицах у реки, носит белые штаны, затейливые галстуки, офицерские погоны, заседает в канцеляриях, взимает налоги с крестьян, долго и продуманно отдыхает на верандах ресторанов, танцует в садиках перед гостиницами. Другая—выгибает позвоночника у ткацких ковровых станков, слепит глаза в кружевных мастерских, забивает легкие табачной пылью на сигарных фабриках, выстаивает с утра до ночи у огромных чанов с кожами, тяжело опершись руками в вонючую дубильную жижу. Третья часть не сидит и не стоит, а молча



слоняется от дома к дому, протягивая каждому встречному руку за милостыней, облепляя назойливыми хнычущими роями каждого приезжего, разрывая грязными ногтями мусорные кучи в поисках необглоданной кости, пустой консервной коробки с остатками застывшего жира.

Чиновники, рабочие и нищие—их вместе семьдесят тысяч в Сараеве—и город дремлет, расплавляемый невыносимым октябрьским солнцем, и жизнь остановилась, и не о чем загадывать вперед. Кто поверит, что здесь, в этом затерянном балканском городке, раздался первый выстрел мировой войны? Ведь именно здесь были убиты австро-венгерский наследник престола и его жена, здесь упали первые два высокопоставленных трупа, перекрытые пирамидой из десяти миллионов мертвецов „великой“ мировой войны!

Не много дней прошло, и я уже хотел покинуть крохотную боснийскую столицу, жалкий городок, имя которого написано на первой странице отвратительной окровавленной книги, когда ко мне пришли некоторые люди и тихо сказали странные слова:

— Пойдем слушать Ленина. Сегодня вечером, на мосту, под правым платаном.

В указанный час под ветвями платана сидел босой оборванный мальчуган и смотрел на гладь реки, мучительно ковыряя коричневым пальцем в дебрях носа. Он лениво оглядел меня и не торопясь поднялся. Я пошел за ним издали, миновал ленивое оживление нарядных улочек центра и долгим кружным путем стал взбираться на гору, к средневековым хибаркам, мимо старых, хмуро заколоченных турецких домов.

Шли долго, вскарабкались в крутые переулки Желтого Бастиона, и, наконец, маленький голодранец нырнул в открытое, без двери, отверстие снежно-выбеленного



домика. Над входом свисала зеленая ветка—всесветный простейший знак трактира, харчевни, странноприимного дома.

Переступив порог, я отшатнулся, предположив ловушку. Посредине харчевни сидел ражий королевский офицер. Кругом него шевелилась непонятного вида шпана. Военный смотрел в упор и что-то орал.

Ноги уже сами, без команды, делали кругом-марш, но вдруг издалека мелькнул прежний мальчуган. Он стоял у второй дыры, заменявшей вход во внутренний двор, и, пригласительно склонив голову набок, тихо улыбался. Тут же попались в глаза расстегнутый воротник офицера, невидящий бессмысленный его взгляд и недвусмысленная багровость рожи. Доблестный слуга короля Александра был, несомненно, пьян. Я осторожно прошагал во двор. И, приподняв дырявую цыновку, очутился в сараевском институте Ленина.

Около пятнадцати человек сидело частью на скамье, частью на глинобитном полу, поджав под себя ноги, вокруг худого черного парня в саржевой блузе, подпоясанной гимназическим кушаком с медной пряжкой. Люди, одетые так грубо и бедно, как можно одеваться только на Балканах, сидели молча, подпирая небритые подбородки желтыми, изъеденными кислотой и исколотыми пальцами и беспокойно шевеля жесткими черными усами. Парень в ученической блузе читал из маленькой рукописной тетради, конспиративно обернутой в газетную бумагу. Читал тихо, очень медленно, почти после каждой фразы подымая голову на слушателей.

Понимать по-сербски русскому очень легко, по-боснийски—очень трудно. К тому же я опоздал. Но, вдоволь насмотревшись на строгие лица слушавших рабочих, на гладкие стены низкой комнатенки и на загорелые подошвы уснувшего мальчишки, подчинился медленному



ритму чтения, стал сопоставлять каждое слово, пытаюсь понять, чья и о чем идет речь.

Пробежало несколько знакомых терминов, замерцали какие-то отдельные, сближающиеся в сознании, точки... Волки... инженер... станция „Социальная революция“... Пропагандист прочел по-немецки слова „alle aussteigen“— „всем выходить“... и почти сейчас же, совсем явственно, по-русски—„Тит Титыч“. Остановился—видимо, сам не будучи в силах объяснить непонятное выражение.

Ну, да! Разговор Ленина с буржуазным инженером накануне июльских дней. Инженер готов был бы признать социальную революцию, если бы „история подвела бы к ней так же мирно и спокойно, гладко и аккуратно, как подходит к станции немецкий курьерский поезд. Чинный кондуктор, открывая дверцы вагона, провозглашает: „станция „Социальная революция“, alle aussteigen (всем выходить). Тогда почему бы не перейти с положения инженера при Тит Титычах на положение инженера при рабочих организациях?“

Ленин! „Удержат ли большевики государственную власть!“ Вторая часть брошюры. Здесь слушают брошюру Ленина о захвате власти.

Юноша читал долго, потом сделал перерыв. Начали обсуждать, спорить. Никогда не видал ничего подобного. Спорили тихо, хриплым шопотом, жадно, я бы даже сказал—хищно. Парень с тетрадкой и все присутствующие, кроме двух, были на одной стороне. Остальные два доказывали что-то другое. Сгущенность и накал спора были так сильны, будто речь шла не о захвате и удержании власти вообще и даже в частности в Боснии: по жестам, по страсти и напряжению разговора мерещилось, что решается судьба пьяного офицера в соседней мазанке: сейчас же задушить или подождать часок?



Чтец, доказывая правоту, все время возвращался к тетрадке, повторял отдельные слова, перечитывал заново. Но вдруг, дойдя до высшей точки возбуждения, остановился и с коротким возгласом резко ткнул пальцем прямо в меня.

Вся комната застыла. Долго, немного испуганно смотрели, слышно было тяжелое дыхание дюжины широких рабочих грудей. И потом... начался двухчасовой допрос меня через юношу—действительно ли удержали большевики государственную власть.

Было уже совсем поздно, когда начал спадать всклокоченный пламень вопросов и расспросов. За стеной буянил офицер. Трактирные попрошайки пели для него под зурну сначала королевский гимн „Бога молим за Карагеоргиевичей“, потом плясовую „Кажи, Лено, кого волишь“. Слушатели начали осторожно расходиться. Юноша с книжкой долго провожал меня через черную балканскую мглу.

Долгожданный юнец! Его старший собрат, сараевский гимназист Гаврила Принцип, тринадцать лет назад выстрелом в грудь эрцгерцога Фердинанда попробовал освободить от австрийского ига маленькую Боснию. Он добился только вечной каторги для себя; выстрел его пригодился как сигнал к величайшей всемирной резне. Этот, второй сараевский гимназист, не пожнет мировой славы Принципа, не добивается ее. Но его, рядового коммунистического агитатора, дело будет плодотворнее. Маленькая тетрадка, переведенная с русского, укажет путь к освобождению Боснии. Не старый император Франц-Иосиф и не молодой король Александр дадут сараевским беднякам настоящую жизнь. Босния будет самостоятельной только как член Балканской Советской Федерации. Тетрадка ведет к тому.

В Москве, в снегах—десять этажей Института Ленина сверкают огнями, высятся гранитным утесом над



Москвой. Ротационные машины выбрасывают миллионы листов ленинских газет, журналов, книг. Но ведь это только капля в море! По всей земле, за далекими морями, всюду, где только бьется в тисках угнетения несокрушимая человеческая воля,—всюду втихомолку в лачугах, в подпольных норах, за спиной у телохранителей капитализма растущим грозным шопотом занимаются бесчисленные ленинские институты, всюду предвещающе шелестят нелегальные, рукописные, потайные, неискоренимые ленинские тетрадки.

1927



**СОБСТВЕННО ГОВОРЯ**, он нисколько не набивался с приглашением меня в свои владения.

Возможно, было ему не до того. Но и вообще, о гостеприимстве короля Александра и дружественных ему правителей сведущие люди дали мне перед отъездом вполне точную и исчерпывающую справку.

— Если вас поймают в Югославии,— вас посадят в тюрьму, и вы будете сидеть, пока не умрете. Если вас поймают в Венгрии, вас посадят в тюрьму и в тюрьме убьют. Если же вас поймают в Болгарии или в Румынии, вас убьют по дороге в тюрьму.

С перспективами столь радушного приема поехал в Венгрию. Ничего... Обошлось. Выбрался благополучно.

У братьев-славян дело обстояло сложнее. Иностранцев к ним ездит сравнительно мало, и потому надзор больший. К тому же, в больших помощниках у сербской королевской полиции состоят русские белогвардейцы. Они нашего брата, как-никак, отличают хорошо.

Во всяком случае—к чему утомительные и отнюдь не полезные для дела подробности... Вот граница уже позади, и сквозь черную южную ночь поезд несется к Загребу.

Вагон качается как на море. Пробираюсь по ярко освещенному коридору. Устав от немецкого и итальянского



языков, трепетно ишу скорей услышать или прочесть первое родное, желанное славянское слово.

И вот оно, наконец, наконец, изображено красивым шрифтом по белой эмали на узкой ореховой двери:

„Нужник“.

...Надо привыкнуть, и привыкаешь довольно быстро к этому несоответствию в использовании словесных корней.

Сначала ошарашивают и смешат мелкие, но непреложные факты: духи—на балканских языках—„вонявка“, красавица—„урод“, театр—„позорище“, выход—„вылазница“.

Потом начинаешь полусоглашаться с тем, что „красный живот“, означающий „хорошая жизнь“—это, в сущности, сказано по-русски, только по-старинному.

Наконец, осваиваешься и не видишь ничего странного в том, что „мушка капа“ значит мужская кепка...

В окна струится рассвет, по обе стороны пути подступает тихое, величавое крестьянское утро. Совсем наша средняя Украина—эти чистые просторы неба, эта тучная земля, белые хаты, длинные журавли колодцев, великолепные аллеи высоких деревьев, музыкальная тишина замерших в степи хуторов. Яркие цветки медленно плывут над темной зеленью—кroatки в расшитых плахтах, не спеша, босиком, с коромыслами через плечо ходят вдоль деревенских плетней. Поезд начинает греметь на стрелках,—сейчас Полтава? О, нет!

### 3

В девять часов Загреб еще не проснулся. Никак не может привыкнуть к новой своей роли сонный медлительный город.

Он веками дремал здесь, на границе германской, славянской и венгерской культур. Чуть, в полусне, совсем



не погиб от нашествия татар, неподвижно застыл под австрийским хлороформом и, может быть, именно благодаря вялой своей зыбкости смог легко прожить тысячу лет, послужить спокойной колыбелью для большой и ценной кроатской культуры.

Теперь Загреб дергают за волосы, щекочут подмышками, будят, тормошат, зовут стать большим международным городом. У вокзала выстроили, совсем по американскому образцу, исполинский чудовище-отель „Эспланада“. В мраморном колодце летают вверх и вниз взмыленные лифты; мальчишки, с ног до головы обитые медными пуговицами, проносятся вихрями через вертящиеся двери; коридорные в синих ливреях волокут чемоданы, оклеенные ярлыками заморских стран; алхимики в белых передниках священнодейственно взбалтывают занозистые напитки; их глотают хмурые туристы в сапогах и галстуках цвета свежей бычьей крови. По городу мечутся новенькие такси. В кабаре заезжие негры выступают самоновейшие чечотки.

Но Загреб, настоящий старый Загреб, стоит в полуоборот к энергичной американизации. Он не верит ей, он тихо и вежливо отстраняется. „Эспланада“ кипит в стороне, отдельным чужим островом. На холме, в старом городе, дремлют наглухо запертые одноэтажные особняки. В них помещики, отставные чиновники спокойно ткут ровное полотно отгорающей своей жизни. В просторных кофейнях с утра до поздней ночи сидит кроатская интеллигенция. Одни требуют себе кофе по-турецки, другие — по-венски, третьи просто играют на бильярде, но все грустны, все огрызаются. Вышло не так, как хотелось.

До мировой войны Хорватия держала в шкафу надежду на освобождение. Она потихоньку пестовала и лелеяла свою культуру, спокойно и медлительно ненавидела



монархию Франца-Иосифа, жила неспешной думой о самостоятельной жизни.

Война, развалив лоскутную монархию, высвободила Хорватию. Но как! Ее присоединили к Сербии, родственному народу... Подальше бы от такого родства. Хорватия задыхается в братских объятиях Сербии, ей стало хуже теперь, наедине с королевским Белградом, чем раньше там, в пестрой компании стран и народов, подвластных венским канцеляриям.

— Вы понимаете, что случилось? Пять миллионов сербов, некультурных, неграмотных, грязных, настоящих балканских дикарей, повелевают семью миллионами прочих славян, а больше всего—нами, кроатами, которые чище, умнее, выше их на две головы! Они распоряжаются нами, они делают политику за нас. Разве с этим можно мириться? Ведь это неслыханно! Ведь это невозможно!

Собеседник мой яростным жестом тычет папироску в пепельницу. Лицо его пламенеет гневом. Вот сейчас он, патриотический кроатский адвокат, схватит палку, замахнется ею, покажет, кому следует, волю своего народа.

И, в самом деле, мой адвокат, трагически допив кофе, появляется у бортов зеленого стола с большим кием в руках. Шары слоновой кости сталкиваются с угрожающим треском; бильярд покажет, сколь сильна энергия возмущенных в своем национальном достоинстве кроатов!

Кроме завсегдатаев кафе, есть и крестьянство Хорватии.

Его национально-революционная энергия долго накапливалась в аккумуляторах партии Степана Радича. Крестьянский вождь был поднят низами на большую высоту. Он строил большие планы. Он ездил за советами в Москву. Он долго готовился, долго размахивал большой



крепкой палкой, которую хорватские мужики вручили ему для весьма определенных целей.

Но... хорватский интеллигент соблазнился политическим биллиардом. Невидимая рука из дворца дала знак, игроки вежливо посторонились, новый партнер приблизился и обратил доверенную ему палку в игорный кий. Недолго бегали по урнам парламентские шары—Радич очень скоро проиграл свою, вернее, крестьянскую партию королю Александру.

Селяне уже почти забыли своего любимца. Они ждут других времен, других вождей. Они приходят в город за солью, керосином и новостями. Позади почты, над обрывом, в низенькой харчевне с каменными полами и зеленой веткой у входа я пил с ним сливовицу. Мужички спорили: о чем толковал Степан с большевиками в Москве? Так и не довелось этого узнать в точности.

Ниже, за углом, на площади Загреба, повернувшись спиной к трамвайной и автомобильной спешке, раскинулся громадный пестрый базар. Холщевые палатки, узкие ряды, белая мука, громадные арбузы и дыни, красный перец и огурцы, тяжелые сливы, белые подсолнухи, молоко в больших кринках, возы, на возах бабы с монистами, в больших козловых башмаках с резиновыми ушками, парни в широченных шароварах, смазных сапожках и шапках набекрень. Чем не Полтава? Чистая Полтава.

## 4

Белград на вид—совсем русский город. Вернее, сборная солянка из кусочков русских и украинских провинциальных улиц. Часть над Дунаем—наподобие нашего Нижнего. Большая поперечная улица Милоша Великого—совсем Безаковская в старом Киеве. И так же отлого она спускается, так же упирается в унылый и безрадостный—



совсем как в Киеве—приземистый, сарайного вида вокзал. Основные кварталы напоминают харьковскую Москалевку, только на Москалевке свиньи по улицам уже не бродят, а здесь—похаживают. Наконец, самый центр города, Теразия—изо всех сил тужится походить на кипучий европейский перекресток; даже фонтанчик посредине устроен. Но сильно уступает эта Теразия даже Соборной площади в Одессе.

Главная достопримечательность Белграда—гостиница „Москва“ со своим кафе тоже имеет вид в общем довольно захудалый. Публика, сравнительно с европейскими городами и с Загребом, калибром помельче и поскромнее. И даже главное украшение белградского общества—несчетные офицеры в высоких воротниках облик имеют отнюдь не подавляющий.

Воротники, действительно, аховые. Голова из них выглядывает, как у полузадушенного гуся. Сапоги сверкают, как новенький грош. Но поставить сербского офицера рядом хотя бы с польским—серенький сербский полковник сконфузится и отдаст честь великолепному польскому прапорщику.

Однако вся эта невзрачная человечья мошкарa суется, толчется в тесном городе с невероятным ожесточением. Заняты все места в трамвае, люди густо висят на подножках, усаживаются вшестером вокруг столиков в пивных, толкают друг друга и бегут, не извинившись; поворачивают спину прохожему, спрашивающему дорогу; куда-то спешат, о чем-то спорят, чего-то друг от друга требуют.

Это совсем не похоже на Загреб: темп жизни быстрый, тревожный, напряженный, какой-то прифронтовой.

Чем питается вся эта лихорадка? На что опирается это оживление?

По чести говоря—ни на что.



В Белграде нет ни сколько-нибудь приличной промышленности, ни большой торговли. Да и вообще никаких настоящих экономических или культурных корней.

Есть только политический—вернее, административный—центр. Точка, где сходятся нити управления, откуда посылает власть нового, богато нарезанного щедрой рукой благодарной Антанты и неуклюже склеенного „королевства сербов, хорватов, словенцев“.

Обильно вскормленный тяжелыми налогами, в Белграде раздулся и распух громадный, непомерный правительственный аппарат. А от обилия чиновников и примазавшихся к ним дельцов, взяточдателей, спекулянтов, поставщиков раздулся и сам Белград, став из тихого, задумчивого города очумелым бивуаком бюрократов и паразитов.

Довоенная Сербия—маленькая, осторожно подымавшаяся вверх крестьянская страна с патриархально-помещичьим укладом—умерла 1 августа 1914 года. Умерла вслед за ней главная ее покровительница—царская Россия. Умерла давившая ее тяжелая сила—австрийская монархия. Ушла в могилу знаменитая пятерка руководителей—пять „П“: Никола Пашич, Лазо Пачу, Стоян Протич, воевода Путник и король Петр. Новая эпоха принесла новые взаимоотношения, новые угрозы, новые надежды, новые буквы. На развалинах старой маленькой Сербии встало большое, раздутое водяной, прожорливое и неуверенное в себе государство. У него другие шефы, другие враги, другие болячки, другие доктора.

## 5

Конаки (дворцы)—и старый и новый—в центре города. Это очень неприятно королю Александру. Охранять себя в таких условиях—сложная и мучительная возня,



Александр ждет покушения. Он боится всех. На страх и вытекающие из него мероприятия уходит у него половина рабочего дня.

Александр боится, что его убьют коммунисты. Когда полиция узнает или сочиняет, будто в Белград прибыл крупный партийный работник, король превращается в арестанта, он боится шагнуть за ворота. Все самые жестокие полицейские меры против сербских большевиков проводятся специально по королевскому приказу. Напрасно коммунисты заявляли и устно, и письменно, и на судебных процессах, и в подпольных прокламациях, что партия не занимается индивидуальным террором, что это противоречит ее программе, что король будет уничтожен только вместе со своим режимом, в результате вооруженного восстания пролетариата и крестьянства, по постановлению трибунала Балканской Советской Федеративной Республики. Александр не верит, допытывается еще и еще, роется в протоколах конгрессов Коминтерна, выписывает московскую „Правду“, справляется где-то у кого-то через своих западно-европейских послов, возгорается надеждой и опять потухает, топит припадки ужаса в новых арестах и избиениях.

Александр боится, что его убьют македонцы. Он грозит Болгарии разрывом, если София не перестанет прикармливать пограничных комитатджи. Он подсылает наемных убийц подколоть наиболее опасных из партизан. Он сыплет золотом, чтобы переманить очередного автомомиста, приблизить его, вызвать на предательство и провокацию.

Александр боится, что его убьют сербские офицеры. Эти люди в высоких малиновых воротниках двадцать шесть лет назад, очищая дорогу отцу Александра, Петру Карагеоргиевичу, пробрались в старый конак, зарезали короля Георгия Обреновича и королеву Драгу и изувечили



их трупы. Что помешает им же повторить несложную операцию при первой нужде и удобном случае?.. Он неожиданно и вероломно усылает в отставку командиров дивизий, он повышает до генеральских чинов военную молодежь, он перемещает гарнизоны, устраивает настоящий проходной двор в генеральном штабе.

Александр боится, что его убьет его собственный старший брат. Уже который год отрекшийся королевич Георгий сидит в сумасшедшем доме. Понадобилась большая канитель, чтобы последовательно довести популярного в офицерстве и среди богатых крестьян принца до этой меры пресечения. Нужно было через специально обученный персонал последовательно провоцировать и без того неуравновешенного Георгия на резкие поступки. Но и сейчас молва еще в пользу заключенного. Ползут слухи о попытках освобождения, — кто его знает, не ворвется ли однажды ночью в бронированную спальню короля его возлюбленный брат с маузером в руке?

Александр боится, что его убьют русские эмигранты. Сначала с ними шел трогательный роман, декоративные генералы в императорских орденах и регалиях курили волнующий фимиам. Они объясняли логично и просто, что Александр есть теперь единственный отец и покровитель ста сорока миллионов осиротелых русских людей, что без него России форменная крышка и что после гибели царской семьи, совершенно естественно, само собой разумеется, он является единственным законным сидельцем на кремлевском троне. Но, поглотив максимально мыслимое количество динаров, бумажками и золотом, генералы нахамили. Они обратили взоры свои на Париж и на Кобург, избрали блюстителями престола старую развалину Николая Николаевича и недоросля Кирилла. Да и самый престол, как рассказывают, большевики убрали из Андреевского зала, поставили на месте его дубовую



трибуну и спорят с нее о вещах, от престола очень далеких. Тем не менее, генералы прибрали в опытные свои петербургские руки все провинциальные тайны Александра двора и разгуливают по Белграду с видом таинственно многозначительным и уверенным...

Александр боится—это знает вся страна, на этом построена вся политическая жизнь Белграда. На этом делают свои карьеры очередные дельцы, дежурные министры, Вукичевичи и Маринковичи. Старый Яша Проданович, полусоциалист, парламентский республиканец, некогда веривший, что в Сербии можно мирным путем изжить частную собственность, теперь, глядя на новые времена, рвет на себе седые космы...

Страх рождает, как и всегда, и вспышки наглости. Проект присоединить Россию к Сербии уже увял. Теперь Александр бредит новой мечтой: сооружает блок пяти монархий. По мысли его, Югославия, Болгария, Румыния, Венгрия и Греция должны образовать священный дунайско-балканский союз под верховенством его, югославского государя. Сия лига, тесно сплотившись, будет охранять устои единодержавия, христианства и частной собственности от большевизма и других зловещих опасностей. В Венгрии и Греции королей еще нет—ничего, их можно быстренько подсадить...

Как мельчают люди и дела! В самом деле, это верно, что история повторяется первый раз как трагедия, второй раз—как фарс. Сто лет назад „Священный Союз“ Александра Первого,—большие аграрно-дворянские страны Средней и Восточной Европы сплотились, но должны были отступить перед растущей силой западной буржуазии. И сейчас—последние охвостья помещичьего класса снова и опять тщетно пытаются слепить плотину против новой неотразимой социальной волны.



Русские белогвардейцы не имеют здесь никакой настоящей связи с коренным населением. Они тесно жмутся к государственному аппарату, к министерствам, к учреждениям. Почти все те, кто остался в Югославии, служат на государственной службе. Эти русские чиновники на новом месте одинаково враждебно чужды народу, как и чиновники сербские. Они только гораздо вреднее.

Русский бюрократ, бывший губернатор или председатель казенной палаты, попав столоначальником в скромный сербский департамент, развращает его, как дорогая столичная кокотка убогую уездную блудницу.

Взятки. Разве сербы до прихода белогвардейцев знали, что такое взятки?! Детской игрой было это наивное сование серебряных монет в лапу простодушного чинуши. Петербуржцы привезли с собой большие масштабы. Они показали, что значит обтяпать грандиозное дело с поставкой шпал, что значит пить шампанское на заготовках кислой капусты арестантам, как шить элегантные фраки из старых солдатских подштанников. Раскрытое преступление по службе раньше считалось в Сербии редчайшим скандалом. Теперь непрерывно круглый год тянутся процессы о злоупотреблениях, о взяточничестве, о растратах. И во всех случаях русские обнаруживаются как зачинщики, как искусители, как мудрые змии, соблазнившие малых сих.

Прожженные политические дельцы, кадеты, конституционные монархисты, неунывающие ловкачи—все давно перебрались из Белграда в Берлин, Париж. Осталась самая густопсовая публика, твердокаменные черносотенцы, решившие здесь спокойно дожидаться ухода большевиков или здесь помирать. Белогвардейская „общественность“ съежилась, стянулась, сгрудилась вокруг „Нового Времени“, офицерского собрания и нескольких кабаков.



Дряхлую газету стережет старший из Сувориных сынов, Михаил. Он уже совсем осел, притих, упал духом, перестал мечтать о прошлом и почти забыл его. В самом деле, существовали разве когда-нибудь Эртелев переулочек, громадные ротационные машины, Меньшиков и Розанов, икра во льду и устрицы у Донона? Надо верить, всегда был и будет только этот тихий Топличин Венац, домишки, захудалая типография, где сербская буква „ч“ одновременно сходит и за ять и за мягкий знак. Надо бы помириться с братьями, но где они? Борис Суворин, окончательно махнув рукой на журналистику, энергично спекулирует автомобилями в Париже, Алексей же сидит в белградской тюрьме за незаконную врачебно-знахарскую „деятельность“ без докторского патента.

В офицерском собрании на Негушевой улице некоторое оживление. Видимо, откуда-то подоспела свежая толика денег. Комнаты свежо выкрашены и оклеены, между столиками ходят бравые старички с седыми усами, молодежато ковыряют зубочистками во рту.

Плотно пообедав, я получил от одного такого старичка любезное приглашение поиграть в шахматы.

— В шахматы не играю, в шашки с удовольствием.

— Простите, как величать?

— Михаил Ефимович.

— М-дамм, Михаил Ефимыч, шашки... Давненько я, как это там говорится, не играл в шашки. Последний раз довелось четырнадцать лет назад. С тех пор не приходилось.

— И где же это было? Вы черными?

— Можно черными. Было это, Михаил Ефимыч, на западном фронте, в Восточной Пруссии, во время наступления, когда генерал Ренненкамф, Павел Карлович—царствие ему небесное, расстрелян большевиками в Таганроге—когда он пер победоносно нах Берлин. Мне перед самой войной выходил срок, но я тем не менее, старый



дурак, обрадовался, может быть, потому что я по интендантской части, а часть сия, вам, вероятно, ведомо, в боевом отношении несколько безопаснее, а в деловом отношении несколько выгоднее других. Командовал я кое-какими обозами и, откровенно говоря, уже рассчитывал прислать младшему сыну из Кенигсберга велосипед. И вот, здравствуйте пожалуйста, пришлось в последние годы попасть в такую завирушку... Шашка у меня до того времени болталась на боку безо всякого применения. А тут—как пошло!.. Ну, знаете, были ша-ашки!

— Это когда генералов Самсонова и Мартоса убили?

— Что вы, что вы! Перекреститесь, милый. Александр Васильевич, тот, точно, был убит или застрелился. А Мартос—он живехонек, здесь поблизости, в Загребе живет. Ведь мы с ним вместе в плену были, вот тоже в шахматы играли. А в шашки не приходилось, с тех самых пор. Ваш ход, уважаемый.

Каламбуристый старичок помолчал и сейчас же вежливо возобновил разговор снисходительными расспросами.

— А вы в каком служили? Вот, хотите, сам угадаю. По лицам читаю, как по вывескам.

Я широко улыбнулся и внутренне замер. Английский паспорт со всеми надлежащими визами, подписями и печатями прожигал мне из бокового кармана грудь.

— Ведь вы артиллерист, не так ли? Угадал, угадал, не отпирайтесь!

— Я... этого... В Крыму и на Урале.

— Ах, вот оно что! Крестовый поход против Красной армии? Значит, не из кадровых,—партнер потух и уже гораздо менее любезно передвинул фуку,—инженер, что ли?

— Журналист.

— Ну, что же, и это дело,—старичок был определенно хорошо настроен.—Как говорится, стократ священ союз меча и лиры. Был, припоминаю, поэт-генерал Денис



Давыдов, затем кавалерист-девица Дурова тоже... Кстати—ведь вам это лучше ведомо—в самом ли деле, как недавно писалось, Брусилов, Алексей Алексеевич, перед смертью перешел у большевиков в еврейскую веру, пейсы отпустил и курицу кушал?

— Как вам сказать... Нуждается в проверке. Хотя на-счет курицы—это на него похоже.

Мы еще долго сидели со словоохотливым генералом. Он выиграл у меня партию, и мы расстались почти друзьями.

## 7

По откосу над Дунаем кружатся кривые, слепые, облученные улочки. Из них уныло подвывает самая нищая в мире балканская нищета.

Это не вопиющая скорбь высоких каменных клеток Нью-Йорка и Берлина, не тысячелетний рационализированный голод китайских кули.

Это просто ничего. Высохшая кучка коровьего помета, треснувшая стенка глиняной лачуги, пустая каменная миска, комок грязного сыру, лоскутья серой рубахи, сучковатые струпья на истертых босых ногах.

У балканской нищеты нет пределов, рамок, ухудшений, улучшений. У нее нет даже исторических зарубок: все один и тот же—во времена турецкого ига и сейчас, в дни „великой“ Сербии—этот бездомный, ободраный балканский человек.

Громадные капиталистические державы пристально следят за никогда не заживающими, вечно воспаленными, всегда возобновляемыми кровавыми рубцами границ между крохотными народцами и племенами; в величественных кабинетах на Доунинг-стрите, в дипломатическом дворце на Орсейской набережной в Париже, на ложенном паркете римских министерств—все хитрят, взвешивают, торгуются, ведут сложные интриги вокруг „него“.



А он, сам „он“, подостлав грубую попону, сидит под низким небом, в испарениях сырой земли, овечьей шерсти, наедине с жесткими своими усами, чешет немытую голову и скулит странную песню—простодушный зов к неведомым добрым силам, наивное детское ликование по случаю благополучно прожитого сегодняшнего дня.

## 8

К вечеру эмигранты отряхивают казенные сербские заботы, идут погреться к русским очагам.

Они скупно заселяют несколько белогвардейских ресторанчиков, осторожно заказывают пирожки в „Мон-Репо“, у Лукьянчиковых, слушают за бутылкой пива обветшалого Юрия Морфесси в „Русской семье“, ковыляют на улицу Милоша Великого, в глубину, во двор, в убогий „Уголок“ под трехцветной вывеской.

„Волга“, на улице Краля Милана, торгует дешевле и поэтому бойчее. Гости по ступенькам спускаются вниз, в погреб, дергают „рюмку водки на ходу“, закусывают же, по безденежью, сплетнями.

— У Александры Петровны муж уехал на два дня в Софию, а она уже ночевала в „Родине“ у этого актера, забыл фамилию.

— Не может этого быть!

— Почему же не может? Какой вы, батенька, идеалист.

— Никакой я не идеалист, просто я знаю очень точно, где ночевала Александра Петровна и с кем. Вовсе это не актер, а мой шурин. Я к нему утром прихожу, а они еще прохлаждаются...

— Надежда Дмитриевна, привет, привет! Как живете? Супруг ваш смету провел, не знаете?

— Видимо, лопнуло. Вы, кажется, на нее очень рассчитывали?



— Ну, знаете, это, как в Одессе говорилось: что бы да, так нет.

— Ах, Одесса... В последний раз там так пахли акации... Говорят, будто бы недавно у Фанкони опять открылось шикарное кафе.

— Надежда Дмитриевна, уговор был здесь о политике не говорить! Допивайте скорее, мы еще захватим кино, у меня есть два пропуска в „Кларицес“ на последний сеанс.

Разговор капает мягко и бесцельно—словно лущат горох и сплевывают кожуру на пол. В углу подвыпившие офицеры в сербской форме расстегнули высокие воротники и ругают матерно начальство. Это русские белогвардейцы на службе короля Александра. Надежная защита!

К моему столику давно присоединился немолодой, громадный, пухлый, волосатый, бородатый человек. Совсем такие же вихры и черные волосы на пальцах были у нашего преподавателя истории Вениамина Петровича Куницына, по прозвищу „Буцефал“. Неужели он? Нет, тот, кажется, умер.

Сидеть так дальше—тошно и глупо. Мы смотрим друг на друга, поднимаемся одновременно и, сочувствуя друг другу, выходим на бойкую Краля Милана. Через два квартала он сворачивает в темный переулок, и я бессознательно—за ним.

— Нам по дороге.

— Да.

— Вы где служите?

— Из Загреба приехал.

— А я здесь. В министерстве финансов. Жить можно. Только скучно очень.

— Да...

— Вот теперь только я себе новую штуку завел. Так в нее втянулся—обо всем забываю. Как запойный. Оторваться не могу.



— Что же за штука?

— Стыдно сказать. Радио. Москву слушаю. Сначала было очень трудно. Потом достал новые эти троекратные лампочки. Отлично стало слышно. Несколько раз ловил даже куранты на Спасской башне. Переделали часы, шельмецы. „Интернационал“ они теперь вызванивают. Вместо „Коль славен“—„Интернационал“! Но красиво получается. Есть о чем подумать.

— А еще что?

— А еще—речи вождей, музыка. Пирогов раз пел. Доклады какие-то. О займе о каком-то. Корнеплоды... Очень странно. Пробовал записывать, потом разорвал, ведь если найдут, неприятности будут. Прямо скажу вам—весьма и очень странно.

Он помолчал так же отрывисто, как говорил.

— Если не осуждаете, приходите, дам послушать. Очень интересно. Есть о чем подумать. Приходите седьмого ноября. У них будет годовщина. Пятая или шестая, что ли. Вам это много даст.

— Спасибо, я скоро отсюда уезжаю. Послушаю откуда-нибудь из другого места. Только ведь это не пятая и не шестая, а уже десятая годовщина.

— Разве?! В самом деле. Я считаю по привычке с зимы двадцатого года, когда уехал из Севастополя. Но несомненно—десять лет. Нет, позвольте... семнадцать, двадцать семь—да, ровно десять лет. Странно. Есть о чем подумать.

Мы расстались с эмигрантом у подслеповатого газового фонаря. Клок волос слишком беспокойно для его лет отбился, пополам примятый шляпой. Из ушей тоже торчали седеющие волосы.

— Очень советую, где бы вы ни были, послушайте в радио Москву. Особенно седьмого ноября. Очень странно. Есть о чем подумать.

Мы пошли разными дорогами, и нас поглотила тьма.



## ЧТО МОГЛО БЫТЬ

**ВАС ЖДЕТ** жемчужина Дуная!  
„Столица красивых женщин!“  
„Лучшая в мире кухня!“

„Город любви и цыганской музыки!“

„Приезжайте к нам в Будапешт!“

Предполагал, что так можно рекламировать публичный дом. Никогда не слышал, чтобы подобным образом изображалась столица государства самими его представителями.

Но именно так говорят о Будапеште официальные правительственные венгерские проспекты и путеводители, именно такие объяснения дают чиновники венгерских посольств во всех странах Европы.

Венгерскому правительству нужна иностранная валюта. Попытки раздобыть ее кратчайшим путем—подделывая в будапештских типографиях—кончились (кончились ли?) громадным скандалом. Приходится зарабатывать. Женщины, кухня, музыка—чем не плановая концессионная эксплуатация естественных национальных богатств!

Нынешние хозяева Венгрии зовут к себе туристов из всех стран, кроме, конечно, одной. Если показать красивый советский паспорт венгерскому консулу или пограничному офицеру, их охватит столбняк. Идя спокойствие этих людей, я предъявил для визы паспорт государства, едва ли не наиболее ими обожаемого. Чиновник барахтался и мурлыкал, словно паспорт мой ласково щекотал его за ухом. Он рассыпался ворохом адресов, красиво



напечатанных рекламных карточек и даже попытался шепнуть на ухо несколько игривых советов, но, остановленный надменным моим видом иностранца, во-время поперхнулся и стал рекомендовать музеи.

Курьерский поезд от Вены—уже преддверие Будапешта. Жужжат в проходах расфранченные лавочники,—они везут из Австрии галантерею и тут же, на ходу поезда, самодержавно устанавливают продажные цены. Грузно передвигаются на широко расставленных ногах иссиня бритые личности с тяжелыми нижними челюстями и чудовищными перстнями на волосатых пальцах—конюхи, наездники, коннозаводчики—возвращаются с очередных европейских скачек, где венгерская лошадь, она одна из всех обитателей страны, еще высоко держит знамя своих хозяев. Густо и резко покрашенные дамы роняют взгляды-стрелы—живые предметы экспорта, временно возвращаемые на родину для пересортировки. Великовозрастные англичанки цвета сырого мяса непрерывно жуют всяческую снедь, выбрасывают шелуху в окна на почтительно склоненные головы жандармов. И наконец, поношенные джентльмены, тускло упершись оловянными глазами в стенку вагона-ресторана, кисло сосут через соломинку питье из бокала—стародавние венгерские аристократы, бледные выродки когдатошних рыцарей, ныне—беспредельные владыки безграничных земель и тысяч крестьян-рабов.

Граница. Проверка паспортов. Таможенный осмотр. Едем дальше, ничего не изменилось, только с каждой станцией все больше прибавляется в вагонах расшитых золотом и красками офицеров.

Венгерский гусар—украшение цыганских романсов, венских опереток и бульварных романсов. Черные очи, чардаш, заздравная чаша. Это все держалось до самой мировой войны.



В карпатских боях красавец-гусар героически удирал во все лопатки и победоносно сдавался в плен. Зато он отвел душу, этот душка-гусар, после девятнадцатого года.

Он прошел огнем и мечом по нищим селам своей страны, он пытал крестьян за сочувствие советскому строю, пытал и убивал. Самые блестящие венгерские аристократы, изящные салонные рыцари мазурки, граф Остенбург и граф Вайя, граф Эстергази и граф Зальма, граф Понграша и барон Проней—никто из них не отказался от удовольствия испробовать женщину, зажатую четырьмя солдатами, прикончить из маузера пойманного большевика, обмакнуть лайковую перчатку в рану убитого рабочего. Только четыре месяца венгерской советской республики. И уже семь лет бесконечной, безграничной мучительной расправы... Офицеры выглядят прекрасно, мундиры красиво выделяются на зеленом плюше вагонных диванов. Если бы они поняли мой пристальный взгляд!..

Этот поезд мог бы быть конспектом Венгрии. Но в нем нет самого главного. Крестьяне и рабочие не едут курьерским. Они вообще здесь никуда не едут. Не этого же, сложенного пополам, в белой манишке, лакея надо считать представителем другой стороны. У лакея в руках перечница; изо всей силы, усердно и обильно, он перчит, засыпает красным перцем буквально все блюда на столе. Но никто не в обиде. Ведь перец—главная и неизменная приправа ко всяческой венгерской еде; браво, лакей, все тобой довольны!

Вокзал. Точка. Вещи на хранение, и—налево за угол, в сторону от шикарного разъезда курьерских пассажиров. Красивый Пешт и величественная Буда—это потом. Трамвай торопится, впереди него бежит длинная улица Унарнакер, и вот—грязный закопченный муравейник,



заводский и нищенский район Будапешта. Сюда не приглашают официальные путеводители и выложенные по-сольские чиновники.

Огромные, по последнему американскому образцу, паровые и электрические мельницы.

Громадные ликерные и кондитерские фабрики.

Машиностроительные заводы-гиганты.

И между ними, среди них, буквально бок-о-бок—настоящие навозные кучи, шевелящиеся сугробы живой грязи и засаленного тряпья.

Вся жизнь на улице—в осенней слякоти, на скользких грязных тротуарах. Лучше зябнуть на воздухе до ночи, чем задыхаться в темных тесных конурах,—рабочий жилищный вопрос в Будапеште хуже, чем во всей Европе.

Ползая буквально под ногами у прохожих, размазывая уличную грязь кулачками по лицам, суетятся бледные черноволосые ребятишки. Нищета здесь живописна и жгуча—какой режиссер мог бы затейливее изодрать лохмотья на этой пятнадцатилетней красавице в рваных башмаках, с пустым рыжим котелком в руках? Прошли благодушные времена, больше нет того художника, что увлечется красивым сюжетом и будет писать трогательный портрет с нищенки, осчастливив при этом крупной суммой ее и родителей. Женщину-подростка задушит голодный туберкулез на фабрике, или хладнокровный комиссионер, пристально всмотревшись в белые плечи сквозь прорехи грязного платья, увезет товар за границу. Ведь бедняки Будапешта снабжают своими дочерьми публичные дома от Константинополя до Шанхая.

Грязные, зловещие харчевни. В котлах с темной вонючей жижой кипятится кукуруза. Со времен довоенных средний заработок венгерского рабочего уменьшился ровно втрое; цены за это же время сильно поднялись; по статистике, сейчас каждый трудящийся съедает в день



пищи на одну треть меньше, чем в мирное время. Старик-мукомол доел какое-то жарено на заскорузлой сковородке и яростно соскребаёт грязными ногтями твердые застывшие куски маргаринового жира. Нет, здесь не лучшая в мире кухня!

От рабочего района Герминамец улица Гекели служит перемышкой к „благопристойному“ центру города. Но по дороге—еще один большой квартал, тоже беднота, тоже рабочие, только густо разбавленные мелкими и нищими ремесленниками. Уличная суэта здесь еще яростнее и злее. Древние старухи торгуют горячей снедью. Вереницы безработных—обтрепанных, землистых, робких людей снуют вдоль улицы, пристают к прохожим, добиваются счастья поднести за несколько грошей корзинку домашней хозяйки или тюк товара. Звонки трамваев, грохот тележек, громкий и страстный гомон толпы смешиваются в общий сумасшедший шабаш, которым поведует конный городской на перекрестке.

Гордо подбоченившийся всадник—обязательный символ помещичьей Венгрии. По всем будапештским площадям насованы всякие исторические мраморные и бронзовые всадники. И—единственный город в мире—Будапешт регулирует уличное движение всадниками в униформе. Где уж, как не в Венгрии, полиции быть на коне! У рабочих—коней нет. Они под конем. В разгар белого террора были случаи, когда целые семьи коммунистов, пригвожденные пулями к земле, часами растаптывались в кровавое месиво гарцующими всадниками.

Еще несколько кварталов—суэта меняет свой звук, становится мягкой, шуршащей. Меняется облик улицы, экипажей и толпы, начинается тот Будапешт, что рекомендован знатным иностранцам.

Пестрое чередование роскошных домов и дворцов, на всякий стиль, на всякий вкус. Настоящий учебник для



архитекторов. Шикарно, по-парижски убранные витрины магазинов. Отлично, богато разодетая толпа. И, на ряду с полчищами автомобилей, небывалое для европейских городов обилие конных выездов.

Лошадь и здесь не может соперничать с автомобилем, как орудие транспорта и связи. Но она соперничает как предмет роскоши. Убогие извозчики вымирают, богатые помещики не хотят сдаваться. Роскошные машины вынуждены нетерпеливо фыркать, застопоривать ход, дожидаясь, пока медленно проплывет лакированный кабриолет или запряженная четверкой старинная карета с гербами. Автомобилисты ненавидят седока кареты, седок презирает автомобилистов. Власть здесь пока еще у обладателей кареты. Венгрия—аграрная страна, хозяева здесь—крупные помещики. Они молчаливо правят со своих нескольких тихих улочек, из маленького аристократического квартала, прижатого шумным Пештом к самому берегу Дуная. Дворцы магнатов хмурятся крепко закрытыми подъездами. После девятнадцатого года появилось много красивых бронзовых решеток на окнах. Девяносто земельных магнатов владеют четвертью всей Венгрии. Вместе с девятью тысячами средних помещиков они властвуют над половиной всей обрабатываемой земли. А полтора миллиона батраков, удобряющих эту землю своим потом, не имеют даже трех аршин для могилы. Во время революции рабы не успели последовать примеру своих русских братьев. В следующий раз промедление не повторится. Бронзовые решетки безошибочно определяют будущее.

Кое-кто из обитателей частных дворцов опережает сроки своей участи. Принц Виндишгрец сидит в тюрьме, как фальшивомонетчик, граф Чешени выслан за спекуляцию, два других графа разоблачены, как пайщики крупного предприятия по торговле живым товаром. Это



нисколько не смущает их ближних. Усатый господин в кабриолете сдерживает вожжами норовистого жеребца, словно всю горячую порывистую Венгрию. Он величествен. Разве его же лакей на запятках может сравниться с ним благородством лица и красотой осанки.

Направо отсюда—дунайские набережные, пуп прекрасного Будапешта, главный приют великосветских тунеядцев и приезжих пенкоснимателей. От часу до трех все мобилизовано на Корсо. Это значит—по узкому тротуару над рекой медленно, с упоением и азартом толчется взад и вперед расфуфыренная сверх всякой меры публика. Мужчины одеты крикливее женщин. Костюмы наваринского пламени с дымом, неопиcуемые галстуки, лаковые ботинки, белоснежные гетры. Дамская голизна более или менее аппетитно укутана в шелковую паутину всех цветов радуги.

Англичане и американцы—они все одеты много скромнее будапештских франтов—с саркастическим интересом смотрят на происходящее с террас ресторанов и гостиниц. Тротуар Корсо приподнят так, чтобы показать товар—женские ноги. Тут и зарождаются венгерские головокружительные карьеры: проститутки с дунайских набережных превращаются в украшения лондонских театров, в мировых кино-знаменитостей, в подруг американских миллиардеров. И старый кельнер из „Панонии“, смакуя, в тысячный раз рассказывает гостям, что Лия де-Путти была продавщицей мороженого на улице Андраши, а Габи Дели—дочь истопника с ликерной фабрики, а Люси Дорен... неловко даже сказать, где и с чего она тут начала. Слушатели очень внимательно принимают все к сведению, щурятся, заводят через кельнера знакомство и едут с очередной будущей де-Путти на остров святой Маргариты, официально охраняемый будапештскими властями как „приют любви“.



Пятьдесят шагов отступя—другой центр Будапешта. В огромном стеклянном киоске-кафе в неистовой игре орудует вся „деловая“ шваль столицы. И здесь, в новом ковчеге дунайского гешефтмахерства, нужно иметь один из двух признаков, чтобы считаться человеком. Надо или быть гениальным или иметь доллары. Огромное большинство посетителей киоска причисляет себя к первой категории. Оно обслуживает меньшинство с долларами. Беспокойные гении предлагают все, что только существует в природе. За пять долларов можно иметь дюжину чернорабочих на целый день; за десять—графиню на целую ночь; за пятьдесят—потрясающую пьесу будущего венгерского Шекспира; за семьдесят пять—партию неподражаемых парижских носков. За сто долларов—сведения любой контр-разведки о любой армии, любой документ о любом человеке и о любом правительстве. На советские разоблачения и письма Коминтерна, в виду низкого качества—огромная скидка.

Искал повсюду портреты или какие-нибудь другие внешние следы Хорти. Ведь мы привыкли называть Венгрию—„в царстве Хорти“. Никаких портретов нигде не оказалось. Хорти не любит даже свои, мало знают его, он фигура только представительная, фактически же—на задворках у настоящего диктатора, премьер-министра графа Бетлена.

Зато буквально на каждом шагу, по всему городу, кроме рабочих кварталов, в любой табачной лавочке и лимонадной будке густо понатыканы фотографии здорового бритого мужчины с толстой сигарой в зубах. Лорд Ротермир, директор английского газетного треста,—вот кого сейчас боготворит буржуазная чернь Будапешта.

После войны и поражения Венгрии, как соучастнице Австрии, пришлось изведать на себе тяжелую ручку Антанты. По Трианонскому договору страну обкарнали



до одной трети. Из восемнадцати миллионов населения оставили семь с половиной. Правда, большей части отнятых областей за Венгрией состоять не полагалось. Но кое-какие куски оторваны были с мясом. В результате—около двух миллионов венгров очутились в Румынии, Чехо-Словакии, Югославии.

Занятое резней внутри страны, венгерское правительство старалось держаться во внешней политике пайнкой и не подымало до самых последних времен вопроса о своих границах. Полгода назад лорд Ротермир, посетив Будапешт и полюбовавшись на девочек дунайского Корсо, схватился за голову. Как это так изобидели Венгрию?! Разве же можно! Немедленно восстановить! Присоединить! Преобразовать! Сто сорок редакторов ротермировских газет немедленно откашлялись и ровным голосом начали диктовать стенографисткам передовые статьи о пересмотре Трианонского договора.

В стеклянном кафе-киоске до сих пор высчитывают, сколько получил лорд Ротермир за то, чтобы схватиться за голову.

Сначала держалась версия, будто у лорда есть какие-то очень крупные лично-нефтяные интересы в северо-восточных округах. Но последняя информация выяснила почти достоверно, что лорд схватился за голову, будучи вознагражден сравнительно скромной суммой в пять тысяч фунтов, плюс духовный подарок—неувядаемая слава защитника Венгрии... Так всегда поступают лордовы враги: разносят слухи, будто лорды дороги, будто к лордам не подступись. Отпугивают покупателей, скрывают от них, что отличному лорду—пять тысяч фунтов цена.

Пока что будапештской мещанской мелкоте вбит в голову шумный лозунг. Он должен отвлечь внимание от хозяйственного кризиса, от ужасающих налогов, от крестьянских волнений, от полицейских бесчинств. Долой



Трианон, и да зравствует добрый лорд Ротермир!—это разрешено кричать на улице, и даже рекомендуется.

Франция сегодня поддерживает чехо-словаков и сербов, она жметя и морщится на ротермировскую кампанию. Это бесит здешних националистов, выводит из себя настолько, что заставляет разбалтывать старые тайны. Редакция газеты „Мадьяршаг“ сверкает в ранних сумерках целой иллюминацией. Окруженная десятками лампочек, красуется на витрине копия давнишней ноты французского правительства—предложение прирезать венграм лишние куски, если они примут участие в походе на Советскую Россию. Сколько лежал бы еще под спудом этот пахучий документик, если бы не драка вокруг Трианона!

Прохожие, поглазев на газетную сенсацию, торопятся весело провести вечер. Великолепный широкий проспект полукольцом опоясывает богатый кипящий Будапешт.

Внутри—десятки театров, сотни ресторанов, тысячи экипажей, десятки тысяч гуляк.

Снаружи—сутулые тени бедняков придвигаются с окраин и полукольцом, неслышно, наблюдают. Греются у жаровен с каштанами, подолгу стоят в темных боковых переулках, пока конный городской не разгонит кучку лучом карманного фонарика. Так осенние волки, еще робкие, но уже понемногу сатанеющие от голода и злости, замирают, присев на краю деревни, не мигая глядят на избяные огни и думают свою решительную думу.

Надо устраиваться на ночь, сообразно сегодняшнему моему чину и положению—на виду в большой гостинице. Отель „Риц“ заселен гостями из Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Они полулежат в длинных креслах салона, священнодействуют за хрусталем и белыми скатертями. Лукавый Будапешт расточает свои прелести, баюкает цыганской музыкой, волнует тяжелым токайским вином



и взглядами черных красавиц. Земляки лорда Ротермира и сэра Чемберлена принимают все как должное—разве не от них целиком зависит этот публичный дом в государственном масштабе! Они здесь у себя, так же, как в изысканных кабаках Вены и роскошных притонах Шанхая. Нет, будь что будет, пойду в „Унгарию“.

Швейцар в „Унгарии“ вежливо отводит мне комнату, но он немного удивлен. Иностранцы почти никогда не останавливаются в этом старом торжественно-мрачном отеле. Здесь—подлинная Венгрия, в прошлом и в настоящем.

Здесь, в стремительную весну девятнадцатого года, жил венгерский Совнарком. Здесь, как в ленинградской „Астории“, топали по коридорам красноармейцы с пулеметными лентами через плечо, валялись тюки агитационной литературы, сорванные императорские гербы. Здесь, в исполинской кухне, построенной для изысканнейших венгерских обжор, варили в голодные дни тощий гороховый суп вожакам советской революции, и отсюда, похлебав горохового супа, наркомы непринужденно, без шляпы и охраны, выходили на улицу, через мост, в здание правительства. Не было никаких гарантий от покушений; большевиков охраняла от ненависти буржуазии только ее собственная трусость.

Это было ее самым слабым местом—наредкость миролюбива была венгерская революция, особенно в первый свой период. Да и всего, за все время существования советской власти, венгерские белогвардейцы насчитали 444 „большевистских жертвы“. В это число вошли буквально все люди, умершие по всей Венгрии за полгода неестественной смертью: жертвы трамвайного движения, наводнения и даже несколько красноармейцев, расстрелянных красным командованием за грабежи.

Зато эти, нынешние, не поскупились. Десять тысяч убитых, шестьдесят тысяч арестантов! Вот входят и



раздеваются благородные мадьярские аристократы, крупные джентри, земельные магнаты, затянутые офицеры с холеными подусниками. Они прихорашиваются перед зеркалами медленными кошачьими движениями, церемонно раскланиваются друг с другом и вливаются в зал, откуда гремит мазурка. Мстительно раздуваются ноздри на лакея, случайно на ходу задевшего за край сюртука.

Ему не нужен фокстрот, он наслаждается старым вальсом и бурным чардашем, этот милый, веселый раскрасневшийся танцор. Он резвится, как дитя, этот такой знакомый и понятный классовый враг, победивший помещик.

Ведь это он, милый танцор, раздавив неокрепшую власть крестьян и рабочих, засекал на Маргаретенринге людей насмерть бичами из воловьих жил, полосовал свинцовыми палками, резиновыми и железными шестами, вешал кверху ногами и бил подвешенных.

Это он с друзьями насиловал в Келендорфе жен на глазах их мужей, заставлял арестованных, под угрозой смерти, насиловать своих сестер.

Это он в Сиофоке варил трупы замученных жертв и, угрожая револьверами, принуждал арестованных съедать их.

Это он в Кецкемете живьем сдирал кожу с профессора Гудей, ковырял у него в мозгу кусками проволоки и в заключение повесил его вниз головой.

Это он обстругал мясо до костей у Зольтана Самуэли, брата народного комиссара Тибора Самуэли, а самому Тибору пустил пулю в спину, обманув всю Европу басней о самоубийстве...

И это сейчас он, разгоряченный танцор, целует руку у дамы, и глаза его, красивые и страстные глаза, смотрят на даму с добродушным укором: ах, дамы! Как из-за вас страдает бедное мужское сердце!



А ведь все это могло быть у нас! Реакция в аграрной стране, промышленность скомкана и продана за гроши иностранному капиталу; помещик торжествует и упивается победой; кровные рысаки на улицах; вино и цыганская музыка в роскошных кабаках, многие тысячи изуродованных жертв белого террора на холодной бескрайней равнине—разве это не точная картина послесоветской эпохи в России, если... если наша революция не выжила бы, не прошла бы, крепко уцепившись за надежную руку самой твердой в мире партии?

Тысячи блестящих туристов, воодушевленных делегатов от буржуазии всего мира, в курьерских поездах спешащих в Москву скорей увидеть скованную, повергнутую во прах революцию. Яростный разгул, английские нефтяники на тройках с колокольцами по Тверской, биржевая сволочь у Филиппова, опять дворянские балы в Доме Союзов, черное горе рабочих улиц в Сокольниках, на Симоновке, на Красной Пресне...

Это все могло быть в России, если бы пролетариат и партия хоть на один месяц, на один день поколебались бы, выпустили бы оружие из посинелых отмороженных рук, поддались бы на уговоры, пожалели бы кого-нибудь, уступили, поскользнулись.

Это все могло быть в России, и это случилось здесь,— вот мазурка хочет заглушить крики пытаемых, каблучки великолепных танцоров уже девятый год утаптывают в могиле побежденных.

Зал плывет и качается перед глазами. Бегу наверх, в номер, срываю одежду, зарываюсь головой в подушки, сдавливаю виски около ушей, чтобы не пропустить в мозг яростные иглы музыки оттуда, снизу. „Унгария“ душит вышиной старинных комнат, тенями ушедших отсюда и замученных революционеров. Кто жил в этой комнате? Самуэли? Ракоши? Может быть, сейчас убежать



из этой мраморной клетки? Позвонить слуге и уехать? Нет, это глупо: одним неосторожным шагом или словом можно погубить себя, угодить в настоящую клетку... Надо остаться, надо перетерпеть. Ведь где-то, на Востоке, далеко, но есть же шестая часть света, откуда угнетатели изгнаны навсегда! Ведь это же не бред, что в Москве, вот уже совсем скоро, будут праздновать десять лет советской власти. Ведь и я скоро доберусь туда, снова увижу всю эту, сказочную для „Унгарии“, явь своими глазами!

Сон приходит в кошмарах, пробуждение—резким толчком поздним утром. Выхожу на набережную, стынут глинистые мутные волны „голубого“ Дуная. Величественный мост—я иду в Буду, где высокомерно туманятся каменные громады венгерского Кремля. Молчит длинный дворец, уланы в фантастических накидках караулят входы.

Кто здесь? Какая форма правления в этой стране? На серебряной монете написано—„королевство Венгрия“.

А король? Лондон пока не разрешает. Нет подходящего кандидата, да и в соседних странах рано еще подымать переполох. Хорти считается „хранителем“, здесь во дворце старый адмирал дремлет на ступенях трона, опершись на окровавленную шпагу.

Ведь и это тоже могло быть у нас! Царская семья вся перебита, но помещики все равно объявили бы Россию монархией и клыкастый генерал дежурил бы у трона, пока из-за границы не прислали бы самодержца.

Все могло быть. Но не случилось. Неужели это правда? Неужели отсюда, из страшных низин, от подъезда Хорти, можно взобраться вверх, до великих деревянных ступеней на Красной площади?



**В** РАТУШЕ сегодня собрание городского совета. Прекрасная ратуша! В ее высоком, величественном готическом зале, на великолепных креслах, при потрясающе удобном парламентском оборудовании для фракций, стенографисток, журналистов, публики—была бы счастлива заседать Лига Наций.

В венской общине у социал-демократов большинство. Оно заливают всю левую сторону, центр и выплескивается направо.

Председательский трон вознесен далеко в вышину. Нужно иметь очень много важного достоинства и очень мало юмора, чтобы достойно заседать на этом алтаре. Обер-бургомистр Карл Зейц по виду вполне соответствует. Живописно выделяясь на темном дубовом фоне, отражая аккуратной седой бородкой блики настольных электрических светильников, он являет собой настоящего жреца. Не лукавый ли сие жрец Калхас из оперетки „Прекрасная Елена“?

У Карла Зейца много хлопот. Он—не только бургомистр такой махины, как город Вена. Он еще, по совместительству, председатель австрийской социал-демократической партии. Неудобное совместительство!

Зейц старается выходить из положения как может. Честное слово, это не так легко.

Вот, например: с каким трудом удалось наладить отношения с полицией! Сколько понадобилось усилий, уступок и поблажек, чтобы господин Шобер, наконец, заявил



кому-то из журналистов, что, мол, с господином Зейцем мы работаем единомышленно.

И сейчас же после этого—проклятое июльское восстание!

Бедный Карл Зейц,—ведь ему все-таки жаль рабочих, этих заблудших сынов своих, не ведающих, что творят.

В самый решительный момент он, Карл Зейц, поставил на карту все свои лучшие отношения с начальником полиции и позвонил по телефону.

— Господин Шобер? Это Зейц говорит. У меня к вам большущая просьба! Если можно, вы, перед тем как стрелять в толпу, попробуйте 'сделать им еще одно предупреждение. Вдруг одумаются!.. А? Пожалуйста!

Видимо, и Шобер ценил хорошие отношения с Зейцем. Он подумал и согласился.

— Как говорится, только для вас. Но уж после этого предупреждения—сами понимаете...

— Конечно, конечно! Спасибо вам большое! А то—прямо душа болит. Услышал бы я эти выстрелы проклятые и спросил бы себя: а все ли ты, Карл, сделал, чтобы предотвратить кровопролитие? Теперь уже могу ответить себе: все. Вы должны понять,—я ведь не только бургомистр, я человек. Наконец, я ведь и председатель партии!

Этот разговор мной не выдуман. Он зафиксирован подробной историей венских событий июля 1927 г. И после разговора залпы венской полиции по рабочим гремели уверенно и точно.

Июльская кровь уже в прошлом. Зейц и его люди получили возможность вернуться к спокойной „созидательной“ работе. Ах, если бы эти сумасшедшие дураки не срывали своими восстаниями великое, упоительно-медленное дело!

Докладчик от социал-демократов читает длинный реферат по вопросу об обязательном введении в венских



школах полотенце для вытирания рук. Доклад длинен, умен, блестящ. Он рассматривает вопрос со всех буквально точек зрения; безупречные аргументы переплетаются в красивый, хитрый узел. Полотенце как фактор гигиены. Полотенце как важное звено в нарастании предпосылок народного просвещения. Полотенце как символ морально-этической профилактики („надо подходить к каждому делу с чистыми руками“). Полотенце как путь к внедрению коллективистических навыков в школьном возрасте („целая школа должна научиться пользоваться одним полотенцем, и чтобы все при этом были довольны“). Полотенце как средство борьбы с безработицей („каждое приобретенное для школы полотенце открывает доступ к производству нового полотенца, то-есть расширяет поле для привлечения новых рабочих рук“). Полотенце как путь к поднятию благосостояния неимущих кругов населения („пользование ребенка полотенцем в школе сокращает расходы по статье стирки белья в бюджете его родителей на дому“). Полотенце как слагаемое в международной политике Австрии („приезжие иностранные делегации при осмотре школ неоднократно обращали внимание на отсутствие полотенца“).

Доводы растут числом, выравниваются стройными штабелями, выстраиваются высокой пирамидой. Бургомистр Зейц вполне спокоен,—пирамида будет доведена до конца. Он покидает свое место в алтаре, чтобы освежиться в буфете. Его примеру следует половина членов социал-демократической фракции.

Через час пирамида подходит к концу. На вершине ее уже реет законопроект об ассигновании на школьные полотенца. Зал опять полон. Верховный жрец на месте, бодро вытирается платочком после буфета. Вот сейчас начнется классовая борьба.



Берет слово осанистый старикан с крайней правой скамьи, видный оратор от христианской партии.

Старикан говорит бодро, пожалуй, не хуже самого докладчика. Полотенца! Скажите, пожалуйста, заговорили о полотенцах! А где они, уважаемые господа-социалисты, где они были с этими полотенцами целых восемь лет? Ведь помнится,—старикан язвительно покачивает локтями, шея у него трясется,—помнится, что при кайзере Франце-Иосифе полотенца в школах-то были! Восемь лет безрассудного правления, восемь лет безбожия и беззакония, все эти восемь лет несчастные дети, жертвы неразумного поколения своих отцов, провели без полотенец в школах! Восемь лет правители сего города, подобно Понтию Пилату, умывали руки на горести и беды жителей, и восемь лет бедные дети не умывали рук, ибо даже полотенец не было, чтобы вытереть оные беззащитные детские руки! Ведомо ли тем, кому сие ведать надлежит, что руки отроков и отрочиц, надлежащим образом не вымытые и не вытертые, рожают побуждение к тому библейскому пороку, от которого истекает ряд последствий, начиная от расстроенного здоровья и кончая неизбывными муками в аду? Это подтверждено даже светилами медицинской науки, но об этом не хотят слышать и знать еретики и безбожники, заправляющие благочестивым градом святого Стефана!

Оратор не из последних демагогов. Он отлично знает, старый чорт, что большинство здесь сидящих социал-демократических депутатов, начиная со своего председателя Зейца,—не безбожники, а хорошие верующие католики. (Говорят, что даже Отто Бауэр состоит лойальным членом венского синагогального братства.) Зейцу, седому пройдохе, так же наплевать на школьные полотенца, как и его противникам. Но говорение в этом зале есть самоцель. Ради него стоит допустить несколько передержек.



У старика розовеет лысина, прыгают очки, он не принадлежит себе, он весь во власти странного удовольствия словоиспускания—одной из разновидностей тех скрытых физиологических страстишек, учеными рассказами о которых прославился земляк здешнего обличителя, знаменитый венский профессор Фрейд.

Обличительный оргазм дошел до своей завершающей точки, старичок—с трудом, но кончил... Ему возражает, не в меньшей степени веско и с еще большим пылом, худой, чернявый интеллигент слева. При чем здесь Франц-Иосиф! Какое это имеет отношение?! Пусть христианская партия скажет открыто, мужественно и прямо,—она против полотенец или за полотенца! С этим вопросом уже потеряно столько времени, вокруг него сломлено столько копий, но решить-то его надо! Ведь надо же решить!..

Зал слушает внимательно, все поглощены публичным грехом словоблудия. Предыдущий оратор взобрался по ковровым ступеням наверх и что-то дошоптывает лично Зейцу. Обер-бургомистр ласково треплет по руке еще взволнованного обличителя. Две седых головы, социал-демократа и социал-католика, дружно склонились над какой-то бумагой. И этот уют хотели нарушить безмозглые июльские мятежники!

...Конечно, социал-демократы обслуживают трудящихся Вены не только полотенцами. В борьбе с жилищным кризисом венский муниципалитет достиг более чем крупных результатов. Венскими объединенными домами можно в самом точном смысле слова любоваться.

Я потратил целый день на разъезды и осмотр каменных громад, сооруженных лучшими архитекторами Европы. Надо поучиться и перенять для России эти спокойные, просторные линии фасадов, этот излом передней стены, благодаря которому каждая квартирка имеет не менее одной солнечной комнаты. Надо изучить и практически



ввести у нас эти детские ясли и площадки при домах, эти дворы-сады, эти коммунальные прачечные, где каждая хозяйка, потратив час, может иметь все свое белье чистым, сухим и выглаженным.

Надо поучиться... К концу дня, уже усталый, я заинтересовался устройством парового отопления, но никак не мог найти труб, сколько ни рыскал глазами по всей двухкомнатной рабочей квартирке.

— Простите, а где тут у вас проходят трубы центрального отопления?

Проводник, местный социал-демократ, помедлил с ответом.

— Отопления центрального здесь нет.

— То-есть как? В этом только доме?

— О, нет. Ни в одном из коммунальных домов у нас центрального отопления не заведено.

— Это невероятно. Такое современное устройство, всевозможнейшие удобства, а самого основного—нет! Отчего же?

— Видите ли... Нашим жильцам очень часто нечем платить за квартиру. Мы предъявляем иск о выселении. Дело тянется долго—и не можем же мы во все время судебного разбирательства обогревать неплательщика нашим теплом, возить его на лифте!

— Постойте, в самом деле, ведь у вас и лифтов-то нет. То-то я так измучился, таскаясь весь день пешком на девятые этажи! Но ведь неплатежи—это единичные случаи. Стоило ли из-за них обесценивать такие замечательные постройки?

— Почему же единичные? Несмотря на низкую квартирную плату, неплатежи у нас повальные. Еле успеваем заводить дела. Сами понимаете, при нынешней заработной плате...

— Но я не вижу и печей. Они у вас что—заделаны в стены?



— Печей тоже нет. Каждому жильцу предоставлено право купить себе железную печь и отапливаться, как ему нравится. Ведь многие приходят сюда только вечером; ночью можно согреться под одеялом—вот и уходит минимум дров. Пойдемте, я вам лучше покажу общий вид всего здания со стороны южного фасада. Замечательный вид.

Мы пошли и еще раз любовались общим видом. Было в самом деле очень красиво. Громадное бело-коричневое здание из многих корпусов, расставленных замкнутым четырехугольником. Настоящий дворец! Но он же и крепость. Вся система многочисленных подъездов устроена так, что выйти на улицу можно только через один ход. Это позволяет одному шпику контролировать поголовно всех входящих и выходящих. Нечего уже говорить о том, что ежели трехтысячное население одного из этих рабочих домов-городков попробовало бы, скажем, выйти на демонстрацию, нежелательную кому-нибудь извне,—весь дом со всем населением можно запереть при помощи наряда в пять полицейских.

Венские социал-демократические отцы города совершенно не поощряют рабочую жилищную кооперацию. Они стараются даже ущемлять ее. Новые рабочие дома принадлежат муниципалитету. Этим преследуется цель привязать „осчастливленных“ жильцов навеки собачьей преданностью, заставить бесконечно голосовать за партию Отто Бауэра и Карла Зейца.

Затея оказалась дырявая. Пролетарии вышли из свежестроенных для них дворцов-казарм и двинулись в уличные бои. Восемьдесят лет не был рабочий класс Вены на баррикадах. Он вышел драться именно тогда, когда, согласно чаяниям многих, он должен был окончательно заснуть на мягком плече благодетелей из Второго Интернационала.



Пламя, в котором сгорел великолепный венский дворец юстиции, не потухло еще и сегодня. Еще и сегодня крепкие сапоги затаптывают живые тлеющие уголья. В окружном суде разбираются дела участников июльских событий.

Большая толпа у подъезда. Только с большим трудом можно протолкаться внутрь. Приятно, что процессы июльских дней вызывают такой большой интерес. Странно только, что публика собралась такая щеголеватая, явно богатого вида.

Недоразумение быстро разъясняется. Скопление народа вызвано не „июльскими делами“, а громким процессом какой-то мужеубийцы, о которой не переставая, взасос пишет вся венская пресса. Миновав битком набитые коридоры, где пожилые дамы со слюной в голосе передают друг другу подробности из спальни подсудимой, находим лишь в самом верхнем этаже небольшую камеру, в которой может поместиться не больше тридцати человек публики.

Первые скамьи заняты репортерами и той, во всех странах одинаковой, породой среднего возраста средне потертых людей, чьи медленные, сонные движения, в полном несоответствии с пытливо бегающими глазками, заставляют всякого мало-мальски опытного человека переходить на другой тротуар. И в Австрии тоже эти люди носят гороховые пальто!

Позади шпиков тесно сгрудились родственники арестованных. На судейском троне восседает осанистый мужчина с эмалированной лысиной и прекрасной оперной бородой. Рядом с ним, по правую и левую стороны— две невзрачных личности канцелярского облика. Все трое в черных мантиях. Это и есть судилище надворного советника Черни, зловеще прославленное во всех рабочих кварталах Вены. Здесь идет расчет за июльские дни.



Перед скамьей подсудимых стоит, зажав пальцами борт засаленной шляпы, молодой рабочий. Он просидел уже полгода в предварительной тюрьме и только теперь удостоился чести предстать пред высоким судом советника Черни.

— Подсудимый Бриксль, признаете ли вы себя виновным в насилии и действиях, направленных к ниспровержению существующего строя в Австрийской республике?

— Я остановил автомобиль, господин судья, а больше ни в чем не виновен.

Опросом свидетелей устанавливается, что Вилли Бриксль, двадцати шести лет, житель города Вены, по профессии булочник, во время обстрела безоружной рабочей демонстрации криками заставил остановиться шофера, самовольно открыл дверцу автомобиля и, схватив за руку сидевшую внутри даму, мадам Шпунт, удалил ее, чтобы посадить в машину двух раненых и отправить их в городскую больницу.

Судья Черни сидит в своем кресле бессменно сорок лет со времени его апостолического величества, кайзера Франца-Иосифа. Смену режима в Австрии он воспринял как дуновение ветерка. Ни один волос его роскошной бороды не шевельнулся от подобной смены.

— Вы говорите, подсудимый, что не применяли насилия. Но обвинительный акт указывает, что вы схватили мадам Шпунт за руку!

— Я не хватал, господин судья. После того, как мы остановили карету и открыли обе дверцы, а второй раненый кричал, что умирает,—я совсем легко взял эту мадам, чтобы помочь ей выйти на тротуар. Она вышла, и совсем даже не жаловалась, когда увидела кровь. Ведь она и не писала на меня никаких заявлений, это все только донос полицейского.

— Вы говорите, подсудимый, что, мол, „мы остановили автомобиль“. А имени своего сообщника ни на



предварительном следствии, ни сейчас сообщить не хотите. Кто же эти „мы“?

— Но ведь я вам говорил, господин судья, что не знаю этого человека. Не знаю! Видно, рабочий какой-то. Посмотрел, как и я, что из парней речкой бежит кровь,— вот и помог мне погрузить их в машину. Совсем случайный человек! Ну, как вы этого не можете понять, господин судья!

Чтобы два совершенно незнакомых человека, да еще рабочих, внезапно объединились для помощи раненым и без всякого предварительного уговора, движимые одним порывом, высадили даму из автомобиля?! Этого надворный советник Черни понять не может. Не так он воспитан и обучен, чтобы понимать или хотеть понимать подобные вещи. Несомненно, здесь злостное сокрытие сообщников. Испуганный лепет социал-демократического защитника, ершистый наскок прокурора—судья Черни и его заседатели надевают колпаки, поднимаются, чтобы через десять минут вернуться с приговором. Вильгельм Бриксль за насилие, угрозы и уличные беспорядки приговаривается к двум месяцам строго-карцерного тюремного заключения. Четыре месяца в тюрьме до суда—не в счет.

Следующий подсудимый, рабочий Филипп Шваб, обвиняется в активном сопротивлении действиям конной полиции. С этим делом, сразу чувствуется, что-то неладно. Судья Черни несколько раз перелистывает папку Шваба, затем смотрит вопросительно на государственного прокурора. Тот с преувеличенно занятым видом что-то яростно разыскивает в своем портфеле. Подсудимый и защитник выжидательно бездействуют, не обнаруживая ни малейшего намерения что-нибудь говорить. Убедившись в полном саботаже сторон, судья вздыхает и приводит к присяге единственного свидетеля по делу,



коротконового полицейского, с бычьей шеей и густым ежином волос.

— Вы подтверждаете, что Шваб оказал активное сопротивление конной полиции?

— Вполне подтверждаю, господин судья.

— Расскажите, как было дело.

— Очень просто, господин судья. Мы едем втроем на конях, а этот стоит посредине улицы и девочку за руку держит. Мы к нему: „Разве не видишь, что тут ходить запрещено?“ Он что-то бормочет, даже разобрать невозможно. Ну, поставили мы его между двумя конями, а я, третий, сзади поехал. Он спрашивает: „Куда меня ведете?“ И в это время девочка как шмыгнет в сторону, — только мы ее и видели! По девочке не стреляли, ей всего лет пятнадцать, не больше. Решили, господин судья, что этот, наверно, ей отец. Пусть за нее и отвечает. Вот, значит, и сдали его, расписка у нас имеется.

В камере хохот. „Обвиняемый“ тоже улыбается, очень конфузливо, как бы извиняясь за то, что послужил причиной подобного недоразумения. Прокурор отказывается обвинять. Защитник вызывающе молчит. Суд удаляется на совещание и выносит оправдательный приговор: „За недоказанностью обвинения“. А полгода в тюрьме, полгода разорения и голода семьи? Это — не в счет.

Третий в череду сегодняшних обвиняемых — пианист из кинематографа, Антон Гохберг, осуждается так же молниеносно, как был оправдан Шваб. Без всяких свидетельских показаний, на основании личного признания, суд устанавливает, что Гохберг, остановившись на тротуаре Мария-Гильферштрассе, кричал во всеуслышание, обращаясь к толпе и указывая на проходивший полицейский патруль:

— Сметите их к чорту, этих собак, этих убийц рабочего класса!



А затем, обращаясь к проезжавшим шоферам, повторял неоднократно:

— Сегодня всеобщая забастовка! Вы не имеете права никого возить! Остановитесь! Вылезайте из машин!

Эмаль лысины надворного советника багровеет. Он пронизывает взглядом ободранного пианиста, шумно подымается, не дослушав последнего слова защитника. Приговор готов через пять минут. Три месяца строгого карцера, без права пользования тюфяком. А предварительное заключение? Не в счет.

Видный социал-демократ, защищавший Гохберга, огорченно качает головой. Можно подумать, что социал-демократия грудью отбивает участников июльского восстания от расправы буржуазии. О, нет! Адвокаты-социалисты защищают здесь пролетариев только за деньги. Настоящее же отношение партии к работе надворного советника Черни на-днях выразил просто и крепко на одном собрании видный социал-демократ, член парламента Рихтер:

— Нужно, чтобы присудили к тюрьме побольше народу. Во-первых, эти приговоры будут лишним позором для правительства Зейпеля. А во-вторых, рабочие перестанут соваться во всякие восстания.

Именно так, буквально так выразился о жертвах рабочего движения ответственный деятель австрийской социал-демократической партии. И после этого партию еще обвиняют в неясности лозунгов и извилистости политики!

Вот—последний и самый тяжелый из сегодняшних государственных преступников. Машинист Иоганн Фальк обвиняется в нарушении гражданского мира, в попытке вооруженного грабежа и кражи.

Согласно обвинительному акту, некий господин Негар, купец, проезжая в своем автомобиле мимо оружейного магазина Калецкого, увидел у дверей магазина



возбужденную толпу. Несколько человек пытались сорвать железные шторы. Из толпы неслись крики: „Нам нужно оружие! Дайте оружие! Кровавые полицейские собаки убивают наших братьев!“

Господин Негар в интересах общества и государства поспешил на своей машине в ближайший полицейский участок. Он вернулся назад с отрядом. Несколькими выстрелами толпа была разогнана. Шторы остались целы. В арестованном на месте происшествия Иоганне Фальке господин Негар опознал одного из кричавших и царапавшихся в железную дверь оружейного магазина...

Приведенный из тюрьмы Иоганн Фальк страшен на вид. Он стоит в полоборота к судьям в черных мантиях, он часто оглядывается по сторонам и назад, где сидят шпики и публика.

Он еще не пришел в себя. Июль мятежным своим жаром еще раскаляет голову. Где же оружие? Железная штора осталась заперта, но ведь откуда-нибудь оружие должно было появиться!

Оружие не пришло. Его не было. Оружия не стало перед самым июлем. Социал-демократы, ведавшие большим, тщательно запрятанным складом в десять тысяч винтовок, почуяв в воздухе грозу, выдали оружие Антанте. Рабочий класс, вышедший на улицу, был невыносимо беззащитен перед полицейскими Шобера!

Есть многие тысячи рисунков и карикатур, изображающих режим государства, где огромная и влиятельная социалистическая партия помогает католическому священнику самолично править страной и угнетать трудящихся.

Но лучшую, самую злую, беспощадную и верную карикатуру придумал социал-демократ Карл Реннер, бывший австрийский канцлер.



Он изобразил орла, самого настоящего императорского орла, только без короны на голове. Вместо нее орлу надет католический клобук.

А в лапах старый орел цепко держит... он держит в правой лапе серп, в левой—молот.

Карикатуру на австрийский режим не нужно долго искать в журналах. Она размножена в совершенно неслыханных для карикатуры количествах. Она мелькает на официальных бланках, на марках, она ехидно подмигивает с фасадов правительственных учреждений. Ибо то, что надумал и изобразил Карл Реннер, есть не что иное как официальный государственный австрийский герб.

Но уже никакая, даже эта карикатура не в силах передать настоящее положение вещей. На гербе сегодняшней Австрии надо изобразить живых людей: вождя социал-демократов Зейца, шепчущего в телефон советы полиции, и рабочего Иоганна Фалька, под ливнем пуль скребущегося окровавленными пальцами в дверь оружейного магазина...



**В** БЕРЛИН приехал Джимми Воккер. Все газеты, даже коммунистические, напечатали утром снимки: Джимми Воккер стоит, растопырив носки, вытаращив глаза, прижав к груди зеркальный цилиндр и белые перчатки. Рядом с ним, похожим на зловещего, узловатого петрушку, раскорячилась каракатица-жена в бальном платье.

Читатели всех газет долго, пристально смотрят на портрет Джимми Воккера с женой. Отрываются к снимкам Сакко и Ванцетти и опять долго вглядываются в Джимми. Все три имени крепко соединены в головах четырех миллионов, населяющих Берлин.

Джимми Воккер или, как его здесь называют, Валькер, приехал с визитом. Он, Джимми, с честью занимает место обер-бургомистра города Нью-Йорка. Сейчас городской голова американской столицы объезжает Европу.

У Джимми Воккера есть свой талант, который знаменит во всем мире. Джимми славится застольными речами. Его произносимые за компотом изречения считаются—кроме шуток!—лучшими образцами этого вида ораторского искусства.

Вы пробовали произносить изящные речи за компотом? Бьюсь об заклад, что у вас ничего путного не выйдет и после первого блюда.

Предполагалось, что Джимми будет организована торжественная встреча. Вдовствующий без кайзера Вильгельма Берлин нашел себе другого повелителя. Новый



хозяин равен сейчас по курсу четырем золотым маркам и двадцати пфеннигам. Джимми сверкает вокруг своего чела сиянием доллара. Нужно ли разъяснять, как представляется Джимми берлинским торгашам?

Но Джимми попал не в пору.

Поутру я стоял на Бюлов-Платце, там, где нищие домики рабочих растоптаны новыми небоскребами контор. Один из новых высоченных домов, черный, с белыми окнами, отвоеван. Из окна четвертого этажа свешивается огромное красное полотнище. Здесь сидит центральный комитет немецких большевиков.

За углом движется колонна демонстрантов. Их еще никто по-настоящему не созывал, главная демонстрация назначена на вечер. Но как только примчалась, впереди утренних газет, весть о казни Сакко и Ванцетти, толпы со знаменами стали рождаться на всех окраинах сами собой.

На перекрестке рабочие остановились. Сразу, несколькими струями из переулков, учетверились в числе. У стены на возвышении вырос оратор, начался митинг.

И сразу же кругом выросла аккуратная, синяя с серебром каемка.

Трудно даже понять, откуда так быстро подросла полиция. Может быть, на этом аккуратном грузовичке со скамейками в несколько рядов? Нет, на грузовичке никак не могут поместиться восемьдесят или больше полицейских, быстро окружающих митинг. Их перевозочные средства скрыты где-то позади. У грузовичка другое назначение.

Полиция стоит и ждет. Как актер за кулисами на выходе, у щитка с электрическими лампочками, в ожидании реплики.

Ждать долго не пришлось. Через пять минут после начала митинга оратор перешел с американской



„электрической“ юстиции на германскую. Он не ищет воображаемого собеседника. Буржуазия, ее строй, ее защита стоит тут же, в двух шагах от слушателей, внушительно темнеет мундирами. Рабочий на возвышении протирает руку к синей каемке:

— Я не боюсь вас! Я знаю, вы не успеете еще подохнуть своею смертью, как мы дадим вам по шее и свалим в одну кучу с американскими палачами!

Реплика подана, новое действующее лицо вступает в игру. Полицейские прокладывают себе путь в толпе к центру митинга. Кто пробует помешать—получает на память удар здоровенной резиновой палкой по голове.

Толпа ревет единым резким ревом ярости. Еще секунда—синие мундиры будут растерзаны.

Но эта секунда—томительно, до боли под сердцем—не наступает. Синий клин проникает до центра черной человеческой икры. Оратор крепко взят за шиворот, его осторожно и настойчиво изымают наружу, как занозу.

В оцепенении негодующего крика демонстранты наблюдают, как арестованного усаживают на заднюю скамейку грузовичка. Что дальше?

Дальше—полиция опять прокладывает себе палками и наведенными дулами револьверов путь в толпе и методически отбирает еще с десятков человек—зачинщиков, активистов.

Завязывается драка. Арестованные увертываются, стараются создать толчею и отбиться. Синие мундиры приготавливаются или делают вид, что приготавливаются стрелять. Толпа начинает бежать.

Организаторы останавливают бегущих резкими окриками:

— Спокойно! Стоять на месте.

Толпа все-таки бежит.

Можно бежать напрямик.



Но посреди мостовой, почти во всю ее ширину, разбит большой газон зеленой травы и две клумбочки с цветочками.

Ни один человек не осмеливается шагнуть на траву. В дикой тесноте, давя друг друга, сбивая с ног и топча подростков, толпа протискивается по двум узеньким боковым тротуарчикам. Если всю эту сцену снять сверху на киноленту, получилась бы наглядная диаграмма по тактике уличных боев и по психологии пролетарской массы западных городов.

Новая порция демонстрантов изъята и размещена на грузовичке. Толпа опять прихлынула. Колонновожатые выстраивают людей для дальнейших походов. Знамя опять впереди. Но полицейские сплошной шеренгой перерезывают улицу.

Подкатывают дрожки... Нет, не дрожки. Это в девятьсот пятом году подкатывали у нас дрожки, с вороным конем и с резвой пристяжной. Здесь теперь подкатывает четырехместный автомобиль с шофером в военной форме. Но из автомобиля выходит старый знакомый. Коренастый, багровый пристав с животом. Оказывается, есть еще такие, живы. Как же!

Розовый жир приветливо, как свежая ветчина, свешивается у пристава-майора сзади через высокий воротник. Щеки чисто выбриты, сапоги начищены, пуговицы сияют. Городовые докладывают ему что-то шопотом и с бесшумным прищелкиванием каблуков. Он слушает, потом тяжело выходит вперед и глядит—совсем как у нас в те поры—не глазами смотрит, а животом, на колонну рабочих. Живот задумчиво и немного сонно смотрит на толпу. Толпа пристально, жадно, тревожно смотрит на живот.

Джимми Воккер приехал ужасно неудачно. Не то, чтобы на его приезд никто не обращал внимания. Наоборот,



пришлось убрать Джимми от чересчур тревожного внимания берлинских рабочих. Окруженный шпиками и наружной охраной, Джимми трусливо высадился не на центральном вокзале, как все пассажиры дальних поездов, а в другом месте, на окраине города. Оттуда он задами добирался на автомобиле к себе в гостиницу.

С торжественным приемом Джимми Воккера вышла ерунда. Редакторы, увидев через окно рабочих демонстрантов и полицейские патрули, отложили в сторону свадебные передовицы о великих заслугах американской нации, заготовленные специально к приезду гостя. В магистрате социал-демократы тоже пришли в смущение. Как на грех, американский клуб назначил банкет в честь Джимми в залах самой черносотенной гостиницы „Кайзергоф“. В другое время „отцы города“ за милую душу наливались бы вместе с американским дядюшкой. Но сейчас! Кто поручится, что в самый разгар компотной речи с улицы не полетят на стол тяжелые булыжники? Да и сам Джимми,—что он скажет за берлинским компотом? Об этом уже сегодня возбужденно судачат вечерние газеты.

Пока Джимми с супругой переодевались к обеду, площадь Люстгартен наливается народом. В гигантскую гранитную чашу непрерывными потоками плавно входят десятки тысяч.

Рабочие и служащие движутся в абсолютном, образцовейшем порядке. Даже английские демонстрации во многом уступают немецким. Единый организованный ритм владеет огромными коллективами, они передвигаются точно и гладко, занимают свои места и затихают в спокойных выжидательных позах. Не больше двадцати пяти минут понадобилось для того, чтобы совершенно пустынный вечерний Люстгартен принял в себя и удобно разместил сто двадцать тысяч человек.



В центре площади большой гранитный пьедестал памятника какому-то из Фридрихов служит главной трибуной. Здесь—деловая суeta, разговоры группами, хмурые цекисты в дождевиках и с портфелями, хроникеры партийной прессы. Кругом—высокими утесами вздымаются берлинский кафедральный собор и королевский дворец. На их уступах—тучные гроздья безмолвной полиции. Между берегами тихо плещется человеческий прибой.

Главное, что придает особый смысл и значение всем пролетарским демонстрациям в Германии, это, конечно, „RFB“. Рослые, крепкие люди в одинаковых костюмах военного образца, в высоких сапогах и фуражках с революционным значком—красные фронтовики—каждый миг напоминают, что классовая борьба в этой стране давно перешагнула ступень агитации и стоит на пороге иных способов воздействия. В союзе красных фронтовиков сейчас есть уже сто тысяч человек. Почти каждый из них—бывший солдат мировой войны, отлично обученный, побывавший в боях. „RFB“—это настоящая германская красная армия... только без винтовок. Надо полагать, что вместе с винтовками получена будет и власть.

Внезапно на площади вспыхивают фонари. Только теперь можно по-настоящему охватить глазом все величие этого стодвадцатитысячного траурного собрания. Оно связано единым порывом. И даже группа черных анархистских знамен не кажется сегодня чужой среди красных флагов. Только социал-демократы отсутствуют, как всегда, когда пролетариат приходит сказать свое слово в Люстгартен. Ведь сегодня „Форвертс“ с усмешкой профессионального убийцы съязвил над еще теплыми трупами казненных: „Мы не знаем, к чему коммунисты призывают сегодняшнюю демонстрацию. Ведь митинг уже ничем не может помочь Сакко и Ванцетти“.



Резкие фанфары возвещают начало. Толпы встрепнулись быстрой рябью и застыли. Несколько оркестров красных фронтовиков играют советское „Вы жертвою пали“. Сто двадцать тысяч человек обнажают головы.

Опять фанфары. Митинг начат. Здесь не работают громкоговорители, но сразу целых тридцать ораторов в разных местах площади говорят собравшимся о смысле расправы американской буржуазии над двумя безвинными итальянскими рабочими.

Разноголосый взволнованный говор несется над головами. Белые молнии, вспышки магия в разных местах будоражат, увеличивают напряжение. Оно и без того велико. Гнев рабочего Берлина клокочет и клубится. Немецкий рабочий не дошел еще до раскаленных чувств, какие вырвались на Елисейских Полях Парижа. Он не идет выщвыривать буржуа вместе с их мебелью из ресторанов. Он остерегается пока ступить ногой на цветочную клумбу. Это дело его темперамента, более медленной воспламеняемости, более тяжелого перехода к действию.

Но ужас, горе тому, на кого опустятся эти сжатые в минуту скорби по Сакко и Ванцетти немецкие рабочие кулаки. Они много весят, когда пущены в ход.

— Месть, месть, месть!—в разных местах троекратный призыв массы заканчивает речи ораторов.

Здесь говорят кратко,—нам бы взять пример. Ровно через десять минут после фанфарного сигнала оркестры начинают „Интернационал“. Речи автоматически прекращаются музыкой. Докладчик должен уложиться ровно в шестьсот секунд. Если у него что-нибудь осталось досказать,—он может это сделать у себя дома с родными.

Отряды военной организации с оркестрами впереди маршируют к себе в районы. Рабочие колонны расходятся



с песнями. Вся площадь—совсем знакомое, пестрое кипучее море людей, знамен. Вот громадный собор стал съезживаться, уменьшаться, никнуть к земле, расцвечивался куполами, скромно приземился стареньким Василием Блаженным. Замок кайзера добродушно расплылся, побелел, гостеприимно распростерся перед демонстрантами,—совсем наш добрый толстый ГУМ. Мы на Красной площади, не так ли? И позади нас—кремлевская стена?

Позади...

Колонны уходят туда из Люстгартена. Они движутся по улицам, и их берет в тиски вечерний уличный Берлин. Рвутся вперед длинные змеи, лакированные светящиеся позвонки—автомобили. Пляшут они, струится молочный и фиолетовый свет над подъездами кабаков и великосветских притонов. Женщины—дочери и сестры тех, кто пришел отслужить пролетарскую панихиду по двум удушенным электрическим током—стоят здесь, предлагая свою жалкую подкрашенную наготу. Они с удивлением смотрят на знамена, не знают, как к ним отнестись. Испуг и надежда в глазах нелепо подкрашены карандашом для ресниц.

Вечер к концу. Завтра утром над фабриками опять будут царить Джимми Воккер и его берлинские лакеи. Впрочем, и Джимми и его друзья уверены только в завтрашнем утре. Но не в послезавтрашнем.



**СУРОВОЕ** полотно революции не соткано в один неизменный колер. По нем пестро пробегают самые разноцветные нитки. Сухая, прямая, как жердь, фигура старого аристократа, с неимоверно высоким воротником, со старческими франтовскими усиками, уместилась в рамках истории социалистического государства, запечатлелась на целом этапе советской внешней политики.

Ульрих, граф Брокдорф-Ранцау. Родовитый аристократ. Дипломатический сановник. Бывший министр. И первый полномочный посол Германии в Советском Союзе.

Встарину придворные историки красноречиво изображали, как целые эпохи складывались под влиянием богопомазанной личности какого-нибудь монарха. В наше время здравый смысл и диалектика дают возможность сделать обратное: по линии жизни одного человека восстановить весь рисунок времени, в котором он жил. Жизнь старого графа, вдруг умершего в неприветливой, строгой дворянской своей квартире,—яркий тому пример.

Граф Ульрих начал жизнь свою совсем как полагается добропорядочному немецкому аристократу. Он изучал римское право в древних стенах Лейпцигского университета, затем постигал высокие тайны офицерской премудрости в прусском гвардейском полку. Влекла его дипломатическая карьера, и вот она начинается с должности секретаря германского посольства в Петербурге.

Плавное, не спеша, разворачиваясь и поднимаясь кверху, движется служебный стаж графа—первоклассный образец



биографии верного престолу и дворянским традициям служаки. Дальше—Вена, Гаага, Будапешт и, наконец, Копенгаген, где Брокдорф-Ранцау пробыл послом при датском короле до самого окончания мировой войны.

У Брокдорфа были отличные связи при дворе кайзера. Он и в самом деле заслуживал хорошее к себе отношение со стороны императора: в графе всегда чувствовался искренний, убежденный монархист, человек, преданный до конца своему классу и верящий в него. Самый облик графа считался воплощением стопроцентного германского аристократизма; недаром высокопоставленные берлинские франты перенимали все жесты Брокдорфа, его манеру держать цилиндр и перчатки, недаром самые дорогие сигары в Германии имеют на своих золотых колечках тщательно отпечатанный профиль графа Ранцау.

Все так бы и шло. Посол его величества германского кайзера нормально состарился бы, представляя своего повелителя при дворе какого-нибудь другого дружественного монарха. Но вся система полетела к чорту.

Десятого ноября восемнадцатого года под зверским проливным дождем к пограничному столбу между Германией и Голландией подкатил автомобиль. Пожилой мужчина, очень бледный, с седеющими, вздернутыми по-вильгельмовски вверх усами, вышагнул из машины и нетвердо пошел через лужи. Он приблизился к голландскому, похожему на кондуктора, пограничному чиновнику и, отцепив саблю, картинно, на вытянутых руках подал ему.

Мужчина с вильгельмовскими усами был Вильгельм. В момент неслыханного разгрома германской армии, в зареве начавшейся революции официальный владыка всей средне-европейской коалиции держав думал только о том, как бы ему спасти жизнь, перемахнувши через границу.

— В эти дни я осиротел!—рассказывал впоследствии Брокдорф-Ранцау, вспоминая в Москве, после какого-то



официального обеда, об обстоятельствах, при которых кончилась война.

Было немного комично слышать такие слова и по такому поводу в столице революционной страны, казнившей своего бывшего царя. Но посол с таким искренним гневом и презрением подымал вверх свои костлявые руки с длинными пальцами, с фамильной печатью в виде перстня! Такая обида и злость воина, обманутого своим классовым вождем, слышалась в этих словах!

Всю жизнь чистосердечно поклоняться монарху, обожествлять его, служить ему всеми помыслами, верить в его благородство и храбрость и в самый ответственный момент, когда решается судьба родины и династии, увидеть этого монарха удирающим через границу, как последний трус, как последняя сволочь, предающим все и всех, вплоть до собственной жены-императрицы, за одно спасение своей шкуры! Этого с избытком хватило, чтобы сразу истребить в Ранцау всякую любовь, всякое уважение к кайзеру, заменить послушную преданность Гогенцоллернам жгучим презрением к ним.

Новоиспеченное республиканское правительство Шейдемана ищет представительную фигуру на пост министра иностранных дел. Предстоят „мирные“ переговоры поверженной на колени Германии с победоносной огнедышащей Антантой. Брокдорф-Ранцау, блестяще квалифицированный дипломат с двадцатилетним стажем, приглашается социал-демократами в качестве спеца.

Старый тигр Клемансо, наступив на горло поверженного врага, садически измышлял все новые и новые унижения для немецкого национального самолюбия. Первому министру иностранных дел Германской республики предстояло лично, от имени всей побежденной страны, испить чашу этих унижений.



Когда текст мирного договора был (без участия германских представителей) полностью заготовлен, в Париж отправилась делегация во главе с графом Ранцау. Клемансо назначил местом подписания мирного трактата Версальский дворец, тот самый зал, где после франкопрусской войны 1871 года немцы-победители провозгласили прусского короля Вильгельма Первого германским императором. И седьмого мая девятнадцатого года, в годовщину потопления немцами „Лузитании“, Брокдорф-Ранцау принял от Клемансо страшный счет.

Условия версальского договора известны. Подобных не знала история. Германская делегация, прочтя предложенный ей текст договора, справедливо заключила, что „требования, которые хочет предъявить немецкому народу Антанта,—самые жестокие, какие когда-либо предъявлялись к любому государству с тех пор, как Рим продиктовал мир Карфагену. Это—смертный приговор для Германии. Мы должны не только быть осужденными на политическое бессилие, но и на хозяйственное разорение и на порабощение“.

Германия и за ней весь мир содрогнулись, узнав содержание версальского трактата. В стране был объявлен на неделю национальный траур. Социал-демократическое правительство устами Шейдемана заявило, что „отсохнет та рука, которая это подпишет“. Однако подписывать приходилось. Единственное, что могло поколебать или отстранить занесенный над Германией меч Антанты, был бы мощный революционный отпор. Но он был пресечен в корне самим же шейдемановским правительством. Спартакское движение было утоплено в крови. Клемансо не боялся ничего, он был неотразим и никак не склонен к милосердию. В этот трагический момент граф по-своему выдержал характер.



Перед жерлами французских пушек он заявил, что версальский договор „невыполним и неприемлем“ („un erfüllbar und unannehmbar“), что он не подпишет такого договора. И немедленно вышел в отставку.

Канителиться было некогда. Упрямого графа сейчас же заменили. Социал-демократы,—те же, что кричали насчет руки, которая отсохнет, подмахнули договор без лишних слов. Версальский трактат подписал Герман Мюллер, тот самый... кто ныне, в должности социал-демократического главы правительства, собирает последние рабочие гроши на постройку броненосца отогревающейся немецкой военщины. Старорежимный граф оказался прямее и последовательнее в отношении своей родины, чем меньшевистские воротилы, не переставшие орать о благе отечества и народа.

Три года ничего не было слышно о Брокдорф-Ранцау, кроме того, что он отказывается от всех предлагаемых ему должностей по дипломатическому ведомству.

И вдруг, сейчас же после рапальского советско-германского договора, газеты с величайшим удивлением, как острейшую сенсацию, сообщили имя графа Ранцау, как вновь назначенного посла в Москве, при большевиках.

Граф Ульрих в советской Москве? Не шутка ли? Не издевательство?

Самый высокосортный, самый надменный из немецких аристократов, кумир дворянских гостиных, белая кость, голубая кровь, заносчиво подстриженные гвардейские усики—и большевистские косоворотки, кожаные куртки, рестораны с бумажными скатертями, глава правительства без единого титулованного предка?!

Нет, это была не шутка. Граф Брокдорф-Ранцау опубликовал в газетах интервью. Он заявлял, что с величайшей охотой принимает назначение в Москву. Что, более того, он считает этот пост единственно для себя



приемлемым. Что он, на основании всего тридцатилетнего опыта своей работы и понимания международного положения, видит в Советском государстве единственную державу, с которой Германия должна чем скорее установить дружественные отношения, в которой можно найти единственную поддержку против appetitов стран-победительниц.

Брокдорф заявил, что считает рапальский договор величайшим достижением для Германии после версальских унижений и что признает вопросом своей чести всеильную и полномерную работу на сохранение и укрепление этого договора.

Сопровождаемый почтительным недоумением правых и откровенно злобными насмешками социал-демократов, старый аристократ отправился на трудную работу, в мучительно непривычную, неслыханную, невероятную для него обстановку.

Проездом через одно прибалтийское государство Ранцау сделал маленькую демонстрацию в стиле старых эффектов бисмарковской дипломатической школы.

Когда вагон посла остановился на вокзале маленькой балтийской столицы, в него вошли секретарь местного советского полпредства и представитель местного правительства. Первый—чтобы по ритуалу кратко приветствовать, второй—чтобы, как это было ранее условлено, отвезти графа для визита к местному премьер-министру.

Обоих ввели в салон. Навстречу вышел Ранцау, очень мрачный, с рукой на перевязи. Ледяным тоном граф сказал, что посетить местного главу правительства он не может, так как ушиб руку, нездоров, чувствует жар; он, граф, вынужден безостановочно проследовать в Москву.

Оба визитера, выразив сочувствие, сконфуженно удалились. Но при выходе советского секретаря тихонько позвали назад в вагон. Там весело, заговорщически



улыбаясь, комически размахивая совершенно здоровой рукой, его, пораженного, снова встретил граф.

— Я совершенно здоров! Но я считал своим священным долгом, едучи в великую Советскую Республику, не наносить никому никаких визитов по дороге!..

Самолюбивый, аристократически заносчивый, прославленно-непреклонный граф прибыл в страну лаптей и смазных сапог.

И... оказался самым лояльным, самым благожелательным, самым уживчивым и потому самым приемлемым и самым долговечным из послов буржуазных государств в красной Москве.

Шесть лет проработал Брокдорф на труднейшем месте представителя капиталистической державы при пролетарском правительстве, и только смерть помешала дальнейшему успешному его пребыванию на этом месте.

С ним сработались, установили живой, полезный для дела контакт. Его начали, и в Берлине и в Москве, считать даже незаменимым для трудной и деликатной возни, именуемой взаимоотношениями двух дружественных стран. И когда наркоминдельские работники, только что пришедшие с бюро ячейки или с шефской комиссии, обнаруживали в передней привычного высокого старика в необъятной шубе, долго, с побряхтыванием снимающего какие-то особенной конструкции глубокие калоши с застежками, они... нисколько не испытывали прилива бурной классовой ненависти, приличествующего при появлении особ графского происхождения.

Почему Брокдорфу удалось много и успешно потрудиться для установления приличных отношений между Германией и Советами?

Может быть, в старом графе на закате его жизни проснулись симпатии к большевизму, тяга к переустройству жизни на новых социальных началах?



Может быть, в нем заклокотал если не скрытый коммунист, то хоть член профсоюза или кустарь-одиночка?

Нисколько. Ни на каплю,—хотя западная печать и уличала его беспрерывно в большевистской психологии и называла не иначе, как „красный граф“.

Красных графов не бывает. Это чепуха. Ранцау был и остался до последнего вздоха феодалом, дворянином, монархистом, убежденным правым националистом.

Но он постиг одну важную и правильную вещь. Только одну,—и этого было для него достаточно.

Ранцау сообразил и крепко запомнил, что СССР является, как к нему ни относиться, огромной силой, с которой надо стараться ладить и дружить.

Именно СССР, а не Россия, не царская Россия, песенка которой спета навсегда.

СССР—единственная страна, где не считают, что сильней Антанты зверя нет.

Единственная территория, население которой не боится французского офицера, английского окрика, американского нажима.

Единственная держава, правительство которой разговаривает с нынешними хозяевами Европы как равный с равным.

Не ссориться, а дружить, не отдаляться, а приближаться и, если можно, опираться на такую страну. Стоять поблизости этого крепкого детины на случай, ежели нападут в темном переулке. Вот, что казалось старому графу самым важным, самым жизненно необходимым для его родины, которую он представлял.

И уже исходя из твердого своего практического убеждения, Брокдорф-Ранцау вел свою работу с величайшей добросовестностью старого служаки.

Брокдорф никогда не использовал своего положения старшины дипломатического корпуса для всяческих интриг и натравливания других послов и стран на советское



правительство. И даже в трудные моменты конфликтов с его страной он всегда доброжелательно стремился не к обострению, а к смягчению трудных положений. Никак нельзя сказать этого обо всех уважаемых коллегах Брокдорфа, представляющих в Москве иные, не менее важные, чем Германия, государства!

Старый граф понимал всю противоречивость своего личного пребывания в пролетарской столице. Понимал и выходил из положения с большим достоинством и с большим уважением к советскому правительству, при котором он аккредитован.

Как волновался он, представляясь и вручая верительные грамоты в Кремле! Высоченный, мраморно твердый воротник его совсем размок. Бумагу с текстом речи он держал вверх ногами и долго не мог понять, почему ему ничего не удастся прочесть. Он сделал председателю ЦИК старинный прусский реверанс, какие сейчас приняты излишними даже при буржуазных церемониях. И с особым, подчеркнутым почтением, придавая торжественный смысл каждому слову, произнес Михаилу Ивановичу официальный текст приветствия.

По окончании церемонии в дипломатических кругах заинтересовались таким взвинченным состоянием всегда холодного, великосветски неподвижного дипломата.

— Ведь вы, граф, славитесь своей невозмутимостью. Вам приходилось ведь не раз представляться королям. Отчего же такое волнение перед Калининым в пиджачке?

Брокдорф отвечал очень оживленно, буквально в таких словах:

— Да, я стоял перед королями и, что еще хуже, перед победившим Клемансо. Но Калинин в пиджачке, рабочие и крестьяне, сидящие в Калининне, управляющие своей страной так смело и независимо, — это самая большая сила, перед лицом которой мне приходилось становиться за всю жизнь.



**Е**СТЬ несколько сортов этих мазей, один сорт другого хлеще. Называются они: „Экцельсиор“, „Манифик“, „Марс“ и еще как-то в этом роде.

Мазь служит для того, чтобы после работы мыть руки. Любая грязь, копоть, смола, каменноугольная пыль, всяческие пятна—все должно бесследно пройти после мытья с мазью. Руки станут чистые, желтоватые, словно вываренные в кислотах. Так оно и есть. В мазях много разных кислот, они-то и выедают рабочую коросту с рук.

За последнее время на германских фабриках и заводах пошли поблажки. Администрация выставляет целый большой ящик с мазью. Бери, мойся, сколько хочешь.

Расход на мазь, конечно, небольшой. Гривенник за кило, если не меньше. Но разве цена важна? Важна не цена, внимание важно. Безусловно, мазь является полужидким продуктом, в котором химическим способом сгущены внимание и забота хозяев о своих рабочих!

Да что мази! На одной огромной лейпцигской фабрике владелец зашел в своих заботах о пролетариате еще гораздо дальше.

Во всех отделениях фабрики строжайше запрещено курить. И вот, когда после гудка рабочие выходят на улицу, в воротах, у контрольной будки, зажигают на десять минут свечку. Каждый выходящий может совершенно бесплатно, не тратясь на спичку, закурить от хозяйского огонька.



Расход на свечку в течение десяти минут—не ахти какой большой. Копейки полторы. Но ведь совершенно добровольно! Без всякого нажима со стороны союза, по собственной своей хозяйской инициативе. Как не оценить!

Ценят мало. Совсем почти не ценят. Криво усмеваются на свечку. Посмотрев на нее искоса, словно на какой гнусный болотный светляк, закуривают от собственной своей спички или зажигалки.

На юг от Берлина поезд, пожрав за три часа несколько сот километров, устало пробирается через чащу фабричных труб. Здесь, вокруг Лейпцига, весь в стальной паутине металлургический Битерфельд, и огромная пролетарская столица под буржуазным владычеством—Галле, и закопченный, совсем черный Вейсенфельд, так названный, видимо, в шутку (Вейсенфельд—белое поле).

Средняя Германия вся стоит на буром угле. Добывает его из-под своих ног, кормит себя и других, перегоняет в свет, в тепло, в силу, в деньги.

Бурый уголь—скромный собрат эlegantному, блестящему, чудесно черному антрациту. О нем меньше говорят, его меньше знают, за ним меньше славы, и почти всегда величаво-трагический облик Рура заслонял стиснутые бурые будни средне-германских горняков.

Далеко внизу, пятьдесят метров под землей, десятки тысяч людей хмуро откалывают и таскают наверх рыхловатые тусклые глыбы. Бурый уголь борется с черным, все больше одолевает его сравнительной дешевизной. Он питает паровые машины, бодрит моторы, заваливает топки электрических станций. Уже не одну решительную битву выиграл бурый уголь у черного. И в поисках невзрачного на вид минерала все больше терзают люди землю, все больше нарываят почва пузырями, все чаще зияют провалы шахт там, где только что краснели



черепичные крыши сельских домов, зеленели огороды, пробегали отдельные шоссе.

Люди на буром угле долго молчали. Они вымещали свои чувства киркой по каменной подземной толще.

Какие чувства—не трудно догадаться. Свекла, третьесортный маргарин и химически состряпанный из всякой дряни искусственный мед—вот все, что гостит в желудках шахтера и его семьи целыми десятилетиями. Мясо видеть только на картинках; придя после работы, не иметь куска своего же угля, чтобы согреть холодную лачугу,—разве это значит для вейсенфельдского горняка отличаться от своего рурского или английского собрата?

Бурый уголь очень суров к человеку с киркой. Дает ему только головку свеклы да водянистые комья тощей немецкой картошки. Зато веселые люди там, наверху, умеют выжимать из бурой породы целые ручьи золота. Никогда еще акции средне-германских угольных компаний не были так плодородны. Бурый уголь с успехом перегоняют в технические масла, в бензин; деньги плывут, множатся, бухнут, растут горой.

Сейчас же после войны кто-то из угольных магнатов Галле и Вейсенфельда, видимо, сдуру или спьяна, опубликовал некоторые цифры из своих бухгалтерских книг. Теплая компания наживает ежедневно на каждом рабочем от 63 пфеннигов до 4,77 марки. В среднем каждый рабочий приносит хозяевам в день 2,16 марки, на наши деньги—ровно рубль.

Горняки не могли больше терпеть. Они запросили себе прибавки двугривенный в день. Только двугривенный из целого рубля прибыли. Восемь гривен—пропадай в пасти у хозяина... Нет. Хозяин потребовал в свою очередь от правительства разрешения на поднятие цен на бурый уголь в той же самой сумме. Мазь для рук—



пожалуйста. Свечку—можно. Но двугривенный! Пусть бастуют.

Расчет, который я привел, есть расчет устарелый и довольно далекий от действительного положения вещей. Со времени конца войны разработки бурого угля технически непрерывно совершенствуются. Добыча стремительно возрастает. А заработная плата с тех пор стоит.

В некоторых копах средняя добыча одного рабочего, благодаря новому оборудованию, возросла вдвое. Предприниматель добывает из мускулов горняка в два раза больше благ, чем раньше. А заработная плата—стоит!

Но мало того. Цена бурого угля возросла за то же время уже с 45 пфеннигов за центнер до 85 пфеннигов. А заработная плата—стоит! Значит, надо взять мой первоначальный расчет и усугубить его вчетверо. Тогда получится то, что есть.

Горняки положили свои кайла, пошли домой. В дни забастовки слишком накладно истратить пятак на кружку пива, расточительно зажечь лампочку в конуре, согреть печкой ребятишек, зябко заползших на кровать под кучу тряпья. Настоящий черный день, еще чернее, чем там, под землей. В гнилой осенней стуже рабочие собираются кучками у уличных фонарей. Здесь, держа газету плоско, на уровне глаз, под даровым верхним светом, они прислушиваются к далеким, но близким раскатам.

Раскаты на Севере, новый растущий вал рабочего движения, многозначительные выборы в Гамбурге и Кенигсберге, оживление, грозный и бодрый рокот после краткого затишья.

Раскаты на Востоке—всемирный съезд избранников от миллионов пролетариев из всех частей света ко дню рождения крепкого десятилетнего первенца, громадного рабочего государства. Манифест, провозглашение



семичасового рабочего дня для рабочих шестой части света...

Глаза пристальнее всматриваются в строчки говорящих столбцов, и руки поднимают газету выше к фонарю—твердые руки горняков, на которых никакая мазь не может замазать и вытравить долголетние черные письма—угольные морщины.



**Г**ОСПОДИН ДИРЕКТОР был очень любезен.

— Вам предоставлено право говорить с заключенным о чем угодно.

Я благодарственно поклонился.

— Пожалуйста, пожалуйста. Мы в этом отношении не ставим никаких препятствий. Единственно, чего я просил бы вас не касаться в разговоре,—это политического строя Германии. Подобная тема запрещается нашими правилами.

— Ну, что поделаешь. Постараюсь не касаться.

— Очень прошу. И вообще разговор не должен касаться никаких политических вопросов.

— Но разве...

— К сожалению, это никак не может быть допущено. Не я пишу постановления, и не я в праве их отменять.

— Но ведь это очень ограничивает разговор!

— Отчего же. У вас остается еще столько интересных тем! Кстати, совсем упустил из виду: обмен мнениями и осведомление об условиях пребывания заключенного в тюрьме тоже при свидании не разрешаются.

— И об этом нельзя?! О чем же можно беседовать?

На лице директора опять засияла сама любезность.

— Я ведь вам сказал—о чем угодно! Не забудьте только еще, что какие бы то ни было поручения, ни свои, ни чужие, вы не можете в разговоре ни принимать, ни передавать. Впрочем, не беспокойтесь. Если разговор



перейдет границы дозволенного, я вас останавливаю. Ведь я,—тут директор превратился в одно сплошное добродушие,—ведь и я буду присутствовать.

Оставалось только согласиться. Беда с этими гостеприимными хозяевами! Всегда они стараются не оставлять гостей друг с другом наедине, без присмотра.

Господин директор нисколько не напоминает шекспировских тюремщиков. Его корректный сюртук, крахмальный воротник и пенсне принадлежат скорее всего средней руки коммерсанту, на крайний случай—старшему врачу в большом сумасшедшем доме, вернее всего—пастору из богатого прихода.

К тому же и свидание происходит в молитвенной комнате при тюрьме. На стенах—картины церковного содержания, в углу, за занавеской—исповедальня для католиков, над дверью выведен золотом по белому мрамору евангельский текст.

## 2

Как попал я сюда?

Об этом еще не пришло время рассказывать. Опустим занавес над началом путешествия и подыдем его в том месте, где провинциальный поезд высаживает пассажира на перрон захудалой станции, откуда зыбко тащит его дальше, совсем в глушь, убогая узкоколейка.

Тяжелые плечистые крестьяне садятся в вагончик прямо с поля, с косой и бутылкой молока в руках. Они устали и молчаливы, но охотно прислушиваются к чужим разговорам. Новости отсвечивают здесь тускло. Каждое событие звучит глухо, как далекий удар колокола. Кажется, что все на свете уже когда-то было: и сонная болезнь, и океанские перелеты, и мода на широкие штаны, и большие налоги. Всякое случалось; мудро качаются колосья, медленно бежит мимо окон запоздалое жнивье.



Лавочник на средней скамье словоохотлив. Особенно удал он со своими шутками по женской части. Но спутницы не обижаются. Они возбужденно визжат, когда весельчак хлопает их по широким спинам и грудям, выражая желание превратиться в младенца, если для него найдутся кормилицы.

Вдруг деревенский юморист становится серьезен. Он показывает в окно.

— Мы проезжаем Зонненбург! Вы знаете, что здесь теперь такое?

Лавочник наклоняется ниже. Он косится на чужих и шопотом рассказывает своим:

— Здесь, в Зонненбургской тюрьме, сидит...

Громадные соломенные шляпы таинственно соединяются в кучку. Шопот не слышен—вагончики, гремя, подъезжают к платформе.

Липовая аллея, зеленая рощица—крохотный городок дремлет под солнцем. Главная и почти единственная улица. Она концами своими теряется в крестьянских полях. На главной улице—школа, мясник, редакция „Зонненбургского Вестника“ (пятьсот экземпляров, заметки в хронике о рождении поросят и продаже лошадей уважаемых граждан Зонненбурга), сапожник, гробовщик и теперь непременно для любого, самого дремучего немецкого захолустья автомобильная мастерская с ярко раскрашенной бензиновой колонкой у входа. Каждые четверть часа у колонки круто останавливается разгоряченная фиолетовая или пепельная машина; шофер сует резиновую соску в жаждущие баки, господа и дамы в дорожных шлемах рассматривают сквозь дорожные очки, безмолвно и холодно, как марсиане, почтительный городишко. Они проносятся дальше, пыльным, шуршащим видением, и опять в Зонненбурге деревенское благодушие, и жандарм на велосипеде осторожно объезжает



стороной городскую площадь, чтобы не вспугнуть курицу у гранитного чурбана в честь Бисмарка. Если курица ошалевает и вывихнет ногу, об этом напишут в „Зонненбургском Вестнике“, объявят сочувствие хозяину курицы, выразят надежду, что господин жандарм будет впредь осторожнее ездить на велосипеде.

И есть гостиница—конечно, „Отель Кронпринц“, и старый хозяин играет в общей комнате с гостями в карты, и на стене—вечно юный кайзер, вздымающий мир на кончики своих усов.

Хозяйская дочка свежо улыбается.

— Недавно бог смиловался над Зонненбургом. Ведь мы такой бедный городок! Никто не заезжает, не останавливается у нас. Сейчас у нас расквартировали целый отряд. Военные много пьют пива, папа имеет партнеров, а господа офицеры очень милы со мной.

— А зачем же Зонненбургу военный отряд? Ведь отсюда—три года скачи, ни до какого государства не доскачешь.

Гоголевская шутка и здесь имеет успех. Но лицо девушки освещено тысячелетним пламенем сенсации. С таким оживлением доисторический человек сообщал ближнему о том, что у водополя появился диковинный зверь.

— Как? Вы не знаете?! Ведь здесь, в Зонненбургской тюрьме, сидит...

Я сам знаю, кто здесь сидит. Надо отойти от Зонненбурга триста метров по шоссе, уже видна тюрьма, целый громадный белый замок в зеленой чаще. Надо пройти через три двора, через караулы и контроли, надо беспрекословно подчиниться надзирателю, миновать с ним целую систему безупречно белых и безупречно стальных решеток. Мимо двери проведут целую стаю плененных волчат—молодых коммунистов в тяжелых арестантских куртках с нашивками на рукаве, одной или двумя, в



зависимости от срока наказания. Потом директор еще раз повторит свои предупреждения и ограничения; подымется легкая суета; кто-то в полкрика, как перед выводом львов в цирке, проверит всех сторожей у выходов. Появится большой, слегка взволнованный конвой, и впереди него совершенно спокойно, непринужденно, легкой домашней походкой войдет в исповедальню среднего роста очень крепкий, атлетического сложения, но очень стройный, подвижной человек.

Голова выстрижена наголо, под машинку, как у всех арестантов. Большие грубые башмаки, как у всех арестантов. Желтая куртка, как у всех арестантов. Только нет на рукаве нашивок о сроке заключения. Для этого человека не хватило нашивок. Он осужден на пожизненную тюрьму.

## 3

„Мой отец был батраком-поденщиком на лесопилке. Работа всегда бежала от него, и мы, семья, скитались из деревни в деревню. Я не успел толком поучиться в сельской школе, с одиннадцати лет я уже был не едоком, а кормильцем. Нанимался сторожить гусей, был настухом, смотрел за лошадьми при молотилке. Родители мои были и остались по сей день верующими, без молитвы мы никогда не ложились спать. Но молитвы не помогали отцу. Он зарабатывал десять марок в неделю, а нас было восьмеро. У моего отца была только одна радость: в воскресенье он усаживался в сторонке и долго, медленно курил свою единственную за неделю сигару. Он ничего никогда не ждал и не требовал от жизни, он до сих пор не понял того, что я делаю; может быть, еще когда-нибудь поймет. Я хотел стать слесарем, но родителям не на что было меня учить“.

Так начинается автобиография Макса Гельца, знаменитого революционера-пролетария, имя которого



настораживает ухо каждого немца шелестом надежды или шорохом опасности. Биография такая простая и такая громкая—множественно единая биография всякого революционного рабочего, последовательно взошедшего из подземелий рабской покорности на боевые высоты классовой войны.

„Шестнадцати лет я пробрался в Англию. Хотел во что бы то ни стало там учиться. Днем посещал техническую школу в лондонском предместьи. Ночью мыл автомобили в гараже вместо шоферов, которые обязаны были это делать. На медяки, которые я от них получал, должен был жить, платить за учение, покупать книги. Очень голодал. Не хватало даже на сухой хлеб. Однажды после трех дней полного голода меня подобрали на улице...“

Потом Гельц был сторожем, прислуживал в заводской столовой, подымал при пивной кегли по тридцати копеек за вечер—все для того, чтобы доучиться и устроиться квалифицированным рабочим на механический завод. Это удалось. Но сейчас же твердая рука свыше схватила человека-пешку, бросила в миллионную кучу ему подобных и послала умирать.

Восемнадцатый год. Гельц был среди уцелевших. С потоком серых шинелей он возвращается с фронта. В заводском городе—пятнадцать тысяч жителей, из них пять тысяч безработных. Сын батрака не унаследовал безответности отца. Война положила конец терпению его и многих. В ноябрьских грозах едва ли не самые сильные громы гремели в области Фохтланд, где Гельц стоял во главе совета безработных. Фохтландское восстание—стремительная лавина гнева и ярости угнетенных—перепугало насмерть всю германскую буржуазию. Вождь фохтландских мятежников переправился через границу, германское правительство требовало от чехо-словацкого



выдачи Гельца, как уголовного преступника, газеты называли его, честнейшего человека, не иначе как „атаманом бандитов и разбойников“. Чехо-Словакия отказалась выдать Гельца, засвидетельствовав этим политический характер его деяний.

Восстание 1921 года в Средней Германии—Гельц снова во главе вооруженных рабочих. Вскоре после поражения он, старанием предателя, попадает в руки полиции.

Как расправиться с ненавистным бунтарем? Пристрелить „при попытке к бегству“? Такое намерение было, но разбилось об опасность ответного массового террора. И с Гельцем было поступлено точно так же, как с Сакко и Ванцетти, только без физической смертной казни.

Немецкого революционера решено было похоронить заживо. И именно—как уголовного преступника, как вульгарного грабителя, как обыкновенного убийцу.

Стряпня обвинений против Гельца не уступала по бесстыдству работе знаменитого судьи Тайера из штата Массачузетс. Полиция печатала в газетах объявления, в которых предлагала пятьдесят тысяч марок—буквально: „тому, кто может дать показания как свидетель обвинения против Макса Гельца“. Нужно ли удивляться тому, что очень скоро нашелся охотник на столь приличное вознаграждение и клятвенно показал, что Гельц самолично убил с целью грабежа помещика Гесса в Ройцгене...

22 июня 1921 года чрезвычайный суд без участия присяжных заседателей приговорил Гельца к пожизненному тюремному заключению. Буржуазная пресса бурно приветствовала приговор... Гельц в ее изображении был чудовищем из чудовищ, редкостным экземпляром человеконенавистника, массовым истребителем мирных граждан, настоящим красным сатаной.

Главный свидетель обвинения, представленный на процессе как безукоризненно правдивый человек, начал



вскоре давиться своими пятьюдесятью тысячами марок. Его замучила совесть, и в официальном заявлении он взял все свои показания обратно. Он лично явился в верховный суд и объяснил им, как и зачем он лгал при разборе дела Гельца...

Мало того. Отыскался настоящий убийца ройцгенского помещика. Это был рабочий калиевых копей, по имени Фрие. Несколько лет он терзался мыслью, что другой человек, и тоже пролетарий, томится в тюрьме за его преступление. Не раз хотел он пойти открыться властям; близкие отговаривали его, говоря, что себя он сделает несчастным, а Макс Гельцу все равно не поможет. Смерть жены показалась убийце первым наказанием за двойное преступление. Он не выдержал, явился в Берлин и со всеми мельчайшими подробностями описал прокуратуре совершенное им убийство. Но дело... до сих пор еще не поставлено на пересмотр.

До сих пор сыщики и следователи осаждают соседей Фрие, добиваясь от них показаний о том, что убийца помещика есть „ненормальный индивидуум“ и страдает „манией самообвинения“. А в ответ на поднятую в связи с полным и несомненным восстановлением невиновности Гельца кампанию за его освобождение министерство юстиции опубликовало классическое „разъяснение“:

„В виду возможного (!) выяснения истинных виновников убийства помещика Гесса разъясняется, что осужденный Макс Гельц все равно не будет освобожден, так как за ним имеются преступления и по другим статьям“.

Главари фашистских восстаний, белые террористы, официально осужденные за монархические мятежи, давно амнистированы. Иные из них уже расселись в депутатских креслах республиканского немецкого парламента. А Макс Гельц сидит, все сидит, уже седьмой год, в безупречном каменном ящике, за зловещим ажуром стальных



решеток. Каждый коммунистический митинг, каждое рабочее собрание настойчиво требуют свободы для зонненбургского узника; каждая мало-мальски революционная демонстрация протестует против юридической расправы, совершенной классовым судом над политическим противником. А Макс Гельц все не снимает желтой арестантской куртки, ничего не видит, кроме клочка неба через оконный квадратик, кроме пустыни асфальтового двора на прогулке.

## 4

— Ты знаешь, господин директор не разрешает говорить об условиях, в которых тебя содержат. Поэтому я просто спрашиваю: как ты себя чувствуешь?

Гельц щурится и в совсем молодой, лукавой улыбке показывает два ряда отличных крепких зубов.

— За последнее время—гораздо лучше. Только ревматизм меня сильно беспокоит. А так—ничего.

До самого последнего времени, в целой веренице тюрем, по которым из каких-то соображений таскали осужденного, он подвергался всевозможным ущемлениям и придиркам. Гельцу пришлось провести ряд голодовок, выдерживать целые войны с тюремными чиновниками, страдать от их произвола. Но все это нисколько не отразилось на его лице. Никакой нервности. Никакой истерии. Оживленное, здоровое, мыслящее лицо, большие черные иронические глаза с бодрыми смешинками в глубине их.

— В первые годы я не был таким. Тюрьма сначала очень повлияла на меня. Потом я взял себя в руки. Я отлично понял, что заключенный умирает в тот момент, когда ограничивает свой мир тюрьмой. Чтобы жить и не опускаться, вне зависимости от сроков, надо иметь интересы и стремления по ту сторону стены. Они у меня есть.



Гельц содержится на самом обычном арестантском режиме, без всяких послаблений. Единственная, но важнейшая для него льгота, добытая целой серией голодовок и протестов, это разрешение пользоваться книгами, читать и писать. Гельц использовал эту возможность полностью, до отказа.

— Встаю в четыре часа, ложусь в восемь. Два часа трачу на гимнастику, обтирание холодной водой, отдых. Остальное все время—за столом, с пером и книгой в руках.

Целые кучи книг прочитаны, изучены, проконспектированы. Гельц вертит в руках список своей библиотечки, занимающей половину всей его камеры.

— Хочется читать буквально все без разбору. Ведь мы все, революционные рабочие,—недоучки, а я так совсем неучем вошел в движение. Приходится ограничиваться, читать по системе, чтобы лучше и больше успеть.

На столе у Гельца лежат труды по психоанализу в соседстве с „Проблемами китайской революции“ Бухарина, агрономические книги рядом с „Вопросами ленинизма“ Сталина; Горький, Форель, Дарвин, Каутский, все ленинские тома. Он беспокоится: говорят, в новом издании Ленина есть неопубликованные раньше статьи, а на немецком языке всего этого еще нельзя достать.

Мы говорим долго, до сумерок, и очень много обо всем, и господин директор, усевшийся в стороне надутым классным наставником, забыл о том, что нас надо перебивать. Он слушает, сам полный интереса, нашу пространную, совсем по-русски нескончаемую беседу о международном политическом положении, о будущих выборах в Германии, об Америке, о Лиге Наций, о засухоустойчивых культурах пшеницы, об омоложении, об опасности войны, о новых театральные постановках,



о Сибирско-Туркестанской железной дороге, о боксе, об автостроительстве в СССР.

При каждом упоминании имени советской страны Гельц становится все более как-то строже, тверже, серьезнее. Что-то в нем выпрямляется. Иронические блески уходят из глаз, уступают место металлическому отсвету.

— Ведь десять лет! Уже совсем скоро будет десять лет! Именно это—самое лучшее, самое дорогое, что есть для меня на свете. Пойми, попробуй это понять по-настоящему, и тогда ты по-настоящему согласишься мне: вся моя жизнь, каждая моя мысль, каждое дыхание принадлежат Советскому Союзу!

Этот крепкий, даже внешне, по облику, настоящий борец, весь из стальных мускулов отлитый, ничуть не сокрушенный семью годами строгого одиночного заключения, сейчас по-настоящему взволнован.

— Господин директор! Вот вы совсем других убеждений, чем мы оба. Но ведь и вы, не правда ли, вы не станете отрицать, вы подтвердите, что советская власть имеет за свои первые десять лет огромные, неслыханные достижения!

Господин директор словно просыпается от сна. Он опять принимает свой установленный инструкциями вид.

— Попрошу вас, Гельц, не высказывать и не предугадывать мои мнения, особенно по общеполитическим вопросам. Это дело мое, а не ваше. К тому же я считаю, что ваше свидание слишком затянулось.

Мы прощаемся. Гельц деловито, практически нагружает своими текущими мелкими заботами. У него всегда есть тучи этих забот—не о себе, а о соседях по тюрьме, о политических и об уголовных. Со всеми он ухитряется как-то держать связь, обо всех печься, писать по их делам письма, оказывать большую помощь, делать маленькие дружеские сюрпризы.



— Тут сидит уже шесть лет один несчастный чертяка. Его закатили на восемь лет за соучастие в ограблении поезда. Я убежден, что это—не профессиональный преступник. У него нет ни адвоката, ни родных, ни одного человека во всем мире, кто подумал бы о нем. Он еще ни разу ни от кого не получал никаких передач. У меня очень большая просьба—нельзя ли послать этому фрукту хоть какой-нибудь пакетик? Только, пожалуйста, безымянный, не то он догадается, что это мои штуки. И затем, если можно—неприменно вложите туда какую-нибудь брошюрку по птицеводству. У парня болезненный интерес к разным птичкам!

— До свидания...

— Да, я надеюсь, что мы увидимся. Говорят, меня хотят амнистировать, чтобы избежать скандального пересмотра процесса, который должен же когда-нибудь состояться. Я склонен верить в возможность такого маневра, это похоже на правду. Если я выйду—я сначала поработаю с полгода в организациях, в ячейках, освоюсь с живой жизнью, и тогда, уже „осмысленным человеком“, а не свежим арестантом, приеду к вам. Иначе не будет никакой пользы.

Господин директор наблюдает, как двое мужчин троекратно целуются, жмут друг другу руки, уходя, долго, слишком долго смотрят друг на друга. Это не запрещено между близкими родственниками. А эти?.. Они—не родственники, но, видимо, чем-то очень близкие. Надо будет для следующего раза справиться в циркулярах.

В тюрьме уже знают. Когда повторно звенят замки и решетки, выпроваживая редкого гостя, молодой звонкий голос откуда-то издалека, из пятого этажа камер, доносит долго, протяжно, до конца легких:

— Да здравствует Москва!



**В** САМОМ центре современного Берлина радиусы великолепных улиц, направленные со всех сторон, вдруг перерываются. Вместо примелькавшейся бесконечной вереницы огромных домов, блеска зеркальных витрин, черной гущи пешеходов, ослепительного сверкания миллионов огней—вдруг в глаза ударяет свежая зелень аллей, кустов, тенистая прохлада леса, уют старинного помещичьего сада.

Стремительный поток автомобилей не прерывает своего бега, он продолжает мчаться по безупречным асфальтовым дорогам сквозь зелень дальше, на запад, на восток, на север. Струя движения в этом месте становится только тише, она не бурлит, а шуршит. Шофера не дают гудков, здесь не на кого наехать, здесь две встречных ленты машин гладко трутся друг о друга. Тиргартен—огромный парк в сердце германской столицы, он пронизан сквозными артериями громадного делового города, но заботливо сохранен до последнего кустика, он блистает чистотой, последними достижениями лесоводства и садоводства.

Среди зелени краснеют острые крыши, белеют мраморные ступени подъездов. В Тиргартене много особняков, здесь—гнездо старого аристократического, дворянского Берлина. В дни валютного хаоса новый герой, спекулянт, крепко схватил за горло обитателей Тиргартена, он вытряс их почти из всех домов. Только сейчас великосветским зубрам удалось отдышаться. Они поделились



Тиргартеном с новыми богачами, поделились и помирились.

Старый генерал Гофман—один из тех, на кого молилась вильгельмовская знать при своем режиме и даже после него. Гофману выпала историческая участь заключать перемирие с Советской Россией. Это он, Гофман, стучал слабеющим бронированным кулаком германского милитаризма на мирных переговорах в Бресте.

Германский Ноябрь по своим плодам—это даже не наш Февраль. Генералы и монархисты—даже не в оппозиции, они у власти, на высших политических постах страны. Но тяжелый, острый каблук победителей невыносимо вошел в тело Германии. Под каблук подкладывали вату, заливали его золотом, водянистыми речами в Лиге Наций,—каблук давит, забыть о нем, заглушить боль невозможно.

Тысячи планов, тысячи комбинаций придуманы политиками и экономистами Германии, чтобы как-нибудь разрешить вопрос послевоенного капиталистического бытия. Планы обсуждаются на конференциях, о них спорят в Женеве, в Локарно, в Туари, в Канне, о них ряд лет уныло бубнит германская пресса. Они известны все наперечет, их безнадежно перебирает каждый мелкий буржуа, каждый замызганный чиновник, просыпаясь поутру, готовясь начать безрадостный день.

Только два плана предназначены для особых групп, имеют особых сторонников.

Один план—его повторяет в уме германский пролетарий, идя домой после жалкой получки, видя плачущих голодных детей. О нем взывают сто тысяч уст на коммунистических демонстрациях у бывшего императорского дворца. Этот план ясен.

Другим планом, посоленным отборной армейской бранью, щедро облитым пивом, угощают себя посетители ресторана „Вильгельмия“, украшенные корпорантскими цветными



ленточками, дуэльными шрамами и зверскими проборами от бровей до шейных позвонков. План Гофмана. Старый генерал взлелеял и продумал его до мелочей в старом особняке Тиргартена, среди гобеленов, вышитых подушек, собачек, жалованных августейших портретов и оленьих рогов на стенах.

## 2

Гофман видел зимой 1917 года бегущую русскую армию. Он наблюдал воткнутые в землю штыки, потоки серых шинелей, устремившихся от линии фронта далеко в глубь страны. Он обходил оставленные окопы, опрокинутые орудия, покинутые крепости. Русские солдаты бежали, торопились с фронта не потому, что были трусливы. Они были счастливы бросить проклятую войну за интересы своих угнетателей, счастливы овладеть землей, фабриками, заводами. У них хватило сил, прекратив своими руками трехлетнюю войну империалистическую, начать сейчас же, без отдыха, новую трехлетнюю гражданскую войну—для других, совсем других целей.

Гофман был генералом—и только. Вид отходящей, бросающей оружие русской армии потряс его до конца дней. Этого забыть он уже не смог. И он вообразил...

Гофмановский план спасения Германии был прост, страшен и красив. Страна откупается от победителей огромной для них и легкой для себя ценой. Немцы спасают союзников, Европу, весь мир от нависшей опасности большевизма и за это получают назад все, отобранное у них. Великое задание осуществляется последовательными этапами.

Первое. Германия, Франция и Англия заново связываются рядом экономических конвенций, торговых договоров и соглашений. Отчасти это уже сделано. Металлургическая и поташная промышленность Германии и Франции уже связана тесным соглашением. Правда, Англия



не принимает в нем участия, но... скоро примет. Зато между Германией и Англией принципиально уже заключен союз химической промышленности. Для чего нужно объединить химические силы,—всякому понятно.

Второе. Политическое сближение всех трех стран.

Третье. После закрепления экономических и политических предпосылок начинаются открытые действия. Рапнальский договор расторгается—под тем предлогом, что СССР нарушил свои обязательства и вмешивается во внутреннюю жизнь других стран. Англия и Франция, в свою очередь, разрывают всякие сношения с правительством Советов. „Вместо него“ назначается российская директория из трех виднейших вождей русской эмиграции.

Четвертое. Для привода всей директории в Москву, то есть для свержения большевистской власти, образуется специальная армия в полмиллиона человек. Для нее Германия дает триста тысяч человек, Франция и Англия—по сто тысяч. Командует армией, конечно, Гофман.

Пятое. Для покрытия всех расходов по экспедиции в Россию выпускается специальная валюта, „лесная марка“, обеспеченная необозримыми русскими лесами и гарантированная тремя державами, участвующими в походе. Кроме того, размещается специальный заем, обеспеченный русскими железными дорогами и идущий на их расширение. Заем делится поровну между Германией, Францией и Англией; первая половина его будет покрыта через десять лет, а вторая—через тридцать. Иначе говоря, три государства—Германия, Англия и Франция—образуют нечто в роде смешанного общества с интересами в России.

Вот и все!

Официальные правительственные германские круги вслух высказались о гофмановских затеях как о глупых,



неосуществимых, недопустимых. Но... три депутата рейхстага в сопровождении известного германского капиталиста и политика Арнольда Рехберга поехали с гофмановским планом в Лондон. Они были приняты министром Черчиллем и Террелем, товарищем министра иностранных дел.

Во что вылился разговор? Не могу знать. Еще не было случая, чтобы Чемберлен или даже его заместитель, беседуя с германскими монархистами о походе на СССР, приглашал Кольцова в качестве слушателя и собеседника.

## 3

О „лесной марке“ и займе в счет русских железных дорог легче говорить, чем иметь их. Но генерал Гофман обладает редкой для своих лет кипучей энергией. В ожидании чисто военных побед спаситель Германии пробует проявить себя в издательской области.

Мы знавали многих издателей, разных категорий и разных повадок. Нам попадались люди, не издававшие ничего, кроме дурного запаха, которые все же мозолили уши всем встречным, превознося свои издательские доблести. Гофман и его помощники были не в пример серьезнее и скромнее. Они печатали такие ценные издания, как червонцы, но нисколько при этом не рекламировались, а, наоборот, избегали всяческого шума.

Первые фальшивые червонцы намечено было изготавливать в Берлине, в типографии Кеслера. Специалистами, знатоками советской денежной системы явились граф Орлов-Давыдов, князь Авалов-Бермонт и русский генерал Лампе. Дело пошло вначале очень скверно, организаторы не могли достать хорошей бумаги с соответствующими водяными знаками, но больше всего страдали от недостатка оборотных средств на оборудование производства. Дело начало gloхнуть, ему угрожала судьба всех



благих начинаний, гибнущих без финансовой поддержки, без настоящей опытной хозяйской руки.

В середине 1926 года спасительная помощь появляется. Новые, солидные люди на горизонте.

Фабрика фальшивых червонцев реорганизуется. Предприятие переводится на паевые начала: мастера—участники в деле, на чай не берут. Подводится финансовая база. Граф Орлов-Давыдов, князь Юсупов, известный черносотенец Крупенский—все дают по малой толике.

Как самый крупный вкладчик, князь Феликс Юсупов становится одним из руководителей дела. Впрочем, за него не только его пай, но и крупные способности, таланты, отличные связи. И прежде всего он знает, на кого и где можно опереться во всяком деле, основанном на пакостях Советскому Союзу. Работники фальшивочервонного предприятия—Юсупов, Кедис, Карумидзе, сам генерал Гофман—выезжают в Лондон, они возвращаются оттуда бодрыми, уверенными в себе и успехе. Юсупов даже спросонья может сказать адрес, где всегда можно получить солидную сумму на любое мало-мальски стоящее антисоветское начинание.

Адрес: Лондон, главная контора нефтяной компании Ройял Детч Шелл, кабинет сэра Генри Детердинга.

## 4

Сэр Генри никогда ничего не делал даром. Это не в его правилах, не в его понятиях. Известная всему миру непримиримая фанатическая ненависть сэра Генри к Советскому Союзу тоже никогда не относилась к разряду бескорыстных принципиальных чувств. Все в жизни—товар. И ненависть—товар. Сэр Генри торгует главным образом нефтью. Но он неоднократно предлагал советским торговым представителям за границей уступить за



сходную цену и свое святое чувство. Он охотно соглашался лишиться своей густой черной ненависти, отдать ее в обмен на столь же черную, не менее густую, маслянистую бакинскую нефть. Идеальный товар сэра Детердинга оказался неликвидным. Пришлось вкладывать его в предприятия.

Детердинг внес через Юсупова на фабрику фальшивых червонцев в общем немалые суммы. За деньгами ездили сам Юсупов и секретарь его, миляга Грамматиков. Доходность дела представлялась сэру Генри несомненной. Фальшивые червонцы должны были возместить убытков от конкуренции советской нефти с детердинговской, не говоря уже о расстройстве червонной эмиссии. Кроме того, русские эмигранты оказывали деловому англичанину ряд маленьких, но незаменимых ответных услуг. В ноябре 1927 года Юсупов ездил с Детердингом в Испанию, где у него были хорошие связи с аристократией Мадрида. Там князь помогал своему нефтяному другу в организации бойкота советского керосина.

И вообще... с русскими можно делать дела. Сэр Генри знает это по опыту своей собственной семейной жизни. Не так давно его покой смутила нечеловечески шикарная женщина, жена белогвардейского генерала Багратуни. Аромат духов несравненной Лидочки кружил сэру Генри голову больше даже, чем гудрон № 2 грозненский. Англичанин зачастил к Лидии в отсутствие мужа. Багратуни, неожиданно нагрянув, показал всю силу генеральского гнева, помноженного на кавказский темперамент. Тогда сэр Генри полез в карман за чековой книжкой, и... разгневанный муж превратился в добрейшего посаженного отца. Единственно, чем слегка утомляет новая лэди Лидия Детердинг своего нового друга жизни,—это подачками бедной и назойливой кавказской белогвардейшине. Но и эти подачки сэр Генри окупает с большой



лихвой. Для него и кавказская эмиграция—выгодное место для вложения капитала.

## 5

Если раньше трудно было ответить сразу, в двух словах: что объединяет грузинских меньшевиков, ратующих за границей за „независимую Грузию“, с густопсовыми монархистами, вздыхающими о „единой, неделимой России“, то теперь эти два слова найдены:

— Фальшивые червонцы.

Грубая, нечуткая натура автора не позволяет ему останавливаться на тонких психологических путях, соединивших под одним столом белые гетры лондонского нефтяника с патриотическими ботфортами германского генерала, лаковыми штиблетами русских великих князей и мягкими чувяками грузинских социалистов. Предоставим это дело будущему эмигрантскому Достоевскому, а сами зарегистрируем только факт: „комитет освобождения Кавказа“ вошел в благородную коалицию фальшивомонетчиков.

Правда, когда липовые червонцы стали сюжетом международного скандала, белые грузины, от страха потеряв брюки, начали отрицать все и даже... существование самого комитета. Это уже лишнее. Если у бедняг отшибло память, пусть они возьмут себя в руки и вспомнят:

Комитет был организован для консолидации всех кавказских эмигрантских сил для борьбы с советской Грузией в 1925 г. В состав комитета вошли: от Грузии—меньшевик Ной Рамишвили, национал-демократы Кедиа, Вачнадзе, Ассатиани; от муссаватистов—Мамед Эмин Расул-заде и от горцев—Сеид-бей Шамиль. В Константинополе находится центральный комитет организации. Он имеет представителями: в Париже—Кедиа (недавно отколовшегося) и Рамишвили, в Берлине—Шалву



Карумидзе. У комитета есть в Париже свой печатный орган на французском языке—„Прометей“, с редактором Георгием Гвацова. Журнальчик помещается на улице Сабо, № 3, в стенах французской книжной фирмы „Восточно-американское издательство“...

Если уж на то пошло, мы можем вспомнить и характерную фразу из пункта 3 постановления, принятого на организационном заседании „комитета“ 18 апреля 1925 г. в Константинополе.

„Об установлении контакта с дружескими державами—завершить переговоры, начатые с одной из дружественных держав, и установить контакт с остальными...“

Можно вспомнить и о кое-каких реальных благах, которые комитет от этой державы получал. Можем вспомнить и о... ну, ладно, это как-нибудь в другой раз.

Во всяком случае непосредственный глава фальшивочервонной фабрики Садатирашвили на допросе в германской полиции назвал себя уполномоченным „комитета освобождения Кавказа“, а своего соратника Карумидзе—германским представителем того же комитета.

Как рассказывают германские газеты, Садатирашвили на допросе заявил, что заработки от фальшивых червонцев должны были пойти, ну, конечно же, конечно, на поддержание „освободительного движения на Кавказе“, да и самое наводнение СССР фальшивыми деньгами, вызвав в стране экономический кризис и беспорядки, должно содействовать целям того же „освободительного движения“.

## 6

Люди, деньги, связи—теперь все приготовлено, все объединено вокруг „издательства“ фальшивых червонцев. Вот это организация! С такими возможностями дело можно поставить по-настоящему.



Известный книгопродавец, типограф и патриот предложил свое предприятие во Франкфурте-на-Майне как базу для фабрики денег. Окно книжного магазина Белле, на Браубахштрассе, знают все франкфуртцы. Всегда в этом окне вызывающе пестрят монархические лозунги, эмблемы и портреты. Кайзер на коне, кайзер без коня, кайзер в морской форме, кайзер на охоте. Не раз и не два прохожие из рабочих запускали камнями в черносотенное окно. Но за окном! Что было за окном!

За окном, в самом магазине, в момент обыска полиция нашла 17 огромных ящиков с готовыми фальшивыми червонцами, с вошеной бумагой для печатания. Работа была поставлена блестяще. Бумага—на нее одну было затрачено пятьдесят тысяч долларов—нисколько не уступала бумаге настоящих червонцев. Великолепные клише для печати изготовлены были в Париже юсуповской группой...

К моменту пуска фабрики на полный ход в ней приняли участие почтеннейшие люди. Уважаемый деятель баварских правых кругов доктор Вебер, он же секретный агент мюнхенской полиции... Виднейший специалист-типограф Шнейдер... Придворный советник доктор Ракете... Имея в виду расширение предприятия, Ракете собрался ехать в Будапешт, в мировую столицу фальшивомонетчиков, чтобы там открыть параллельное печатание. Его арестовали в день отъезда.

Все уважаемые немцы, помогавшие печатать червонцы, являются членами фашистских организаций и руководились святой целью избавления Европы от большевистской опасности. Но, кроме святой цели, работа их поощрялась солидными процентами с дела.

Один из виднейших участников фальшивочервонной аферы, инженер Белл, скрылся, повидимому, в Швейцарию. Жаль, жаль! Интереснейшая личность. Вот бы с кем посидеть часок-другой, поговорить по душам!



Энергичный инженер мелькает повсюду. Мы наблюдали его в Турции выходящим из английского посольства в Константинополе. Он мелькал перед нами на Балканах, куда хлопотливые Карумидзе и Садатирашвили направили его по фальшивомонетным делам. И, наконец, инженер Белл — член фашистской организации капитана Эрхардта; он связывает фальшивочервонную коалицию с мрачными убийцами знаменитого „Консула“. Короче говоря, в инженерере дружественно скрестились „линии“ английской военной разведки с германскими фашистами. Лучшие заветы старого генерала Гофмана начинают осуществляться!

## 7

Кого же не хватает для полного комплекта?

Ясно, кого.

Старого Арона Симановича. Разве без него могло бы обойтись хорошее коммерческое дело, где участвуют столько симпатичных людей? Можно печатать червонцы до прихода Мессии, но ведь кто-нибудь должен же их сбывать! Не для того ведь их печатают, чтобы набивать матрацы и спать на них!

У входа в фашистское кафе „Вильгельмия“ висит грозная надпись: „Жидам вход воспрещен“. Но если нужно для дела, Арон Симанович всегда явится лестным исключением.

Князь Юсупов некогда уколошил незабвенного Гришу Распутина, у которого Симанович состоял главным секретарем. Но если нужно для дела — и князь Феликс и старый Арон всегда готовы забыть неприятные инциденты прошлого.

У Арона подросток хороший сын Соломон. Он почти с детства приучился работать у папы в деле. И вот должно же случиться горе! В Париже арестованы оба поколения Симановичей с фальшивыми деньгами на руках.



От распутинского секретаря уголовные нити повели к двум грузинским „освободителям“—Челокаеву и Эристову. А от них—к грузинскому „министру иностранных дел“, к самому Чхенкели. Как видите, и грузинская социал-демократия участвует в кое-каком едином фронте!

## 8

Шум вокруг дела о фальшивых червонцах разбушевался как лесной пожар. Немецкая печать, приводя подробнейшие детали всей истории, назвала скандал одним из величайших в истории международных подлогов. Но было бы преувеличением сказать, что скандал разыгрался во-всю. Невидимые, но настойчивые руки во время скомкали, замазали дело, затормозили следствие, напустили туману и тишины.

В самом разгаре всей сложной международно-уголовной каши тихо помер его превосходительство генерал Макс Гофман. Ну, что ж! Великий план похода на Россию пропетиторован до конца. Немцы-патриоты дали связи и технику, французы и англичане сделали свои внушительные вклады в дело и покровительство, русские и грузинские эмигранты занялись черной работой, держали себя вполне достойной директорией. Замазывают следы дружно все вместе, под покровительством полицейских властей трех „союзных“ в этом деле стран. Разве только—вместо вооруженных армий на Россию пробовали двинуть в поход фальшивые деньги... Разве только—настоящим хозяином в деле оказался не немец, а англичанин... Все равно! Важен принцип делового сотрудничества. Мирно спи, старый Гофман,—не до тебя уже теперы!



# ЗАПИСЬ О ПРЕЗИДЕНТЕ

**П**РОЧТЯ сегодня газеты, возьми записную книжку. Приходо-расходную, политическую.

Разверни. Пометь справа, где расход:

10 июня 1924. Мильеран, Александр. Президент французский. В отставку. Примечание: обещает вернуться, чтобы возобновить борьбу за Францию и свободу.

Мильеран—не мелкое насекомое. Это фигура. Крупный зверь, цепкая пасть, беспощадные твердые челюсти волка, выдержанная стойкость классового ненавистника, смертоносная гибкость змеи.

Перелистай книжку назад. Сегодня выведенный в расход бывший президент Третьей Республики оставил на страницах темные, цвета побуревшей крови, следы. Выписывая Мильерана, карандашиком отметь на полях:

Мильеранизм. Лицо, исполнявшее заглавную роль в этом движении (движение земноводного, вползающего на брюхе в приемные высших мира сего—ведь оно тоже движение), это лицо первым вступило в буржуазный кабинет, называя себя социалистом. Мильеран открыл плеяду социалистических камер-лакеев, министриабельных революционеров, ныне расцветших пышными гроздьями в ряде стран. Эберт и Носке, рабочее королевское правительство Англии—продолжатели и потомки Мильерана, первого кровосмесителя социализма с буржуазной властью.

Война. Лакированные башмаки Мильерана легко перешагнули через труп Жореса. Ведь бывший социалист



стал военным министром и имел возможность показать, как нужно колотить проклятых бошей-немцев!

Победа. Версаль. Мильеран—один из самых жестоких, самых неумолимых, самых изощренных истязателей Германии. Реванш! Еще золота! Еще крови! Еще чужой земли! Еще чужого унижения! Еще военного садизма! До хрипоты, до судороги побежденного, до звона в ушах победителя.

Севрский договор. Аккуратными белыми пальцами министр иностранных дел затянул петлю на шее Турции, завязал красивым, аккуратным бантиком. Как в кондитерской. Хорошо еще, что у турок остались свободными и вооруженными руки. Хорошо, что (спасибо большевикам) быстрее стало кровообращение у народов. В три года Турция успела сорвать и севрскую веревку, и палачей. Но помнят Мильерана на Востоке.

Интервенция, блокада. Их историю нельзя выпустить без портрета Мильерана. Самый яростный враг советов, он был чуть ли не первый, кто завел тугую пружину иностранного насилия над советскими республиками. Пружина отскочила, больно ударила по лбам. Но лбы металлические, сразу не прошибешь!

Польша. Помещичья, генеральская Жечь Посполита осиротела без Мильерана. Вельможи в Бельведере, воеводы в генеральном штабе—разве не им больше всех лить слезы об ушедшем? О том, кто натравил Польшу на Россию, послал завоевывать Киев, шептал ласковые, ободряющие змеиные слова, насылая на большевиков...

Врангель. Его мнил себе Мильеран наместником в побежденной, очищенной от большевиков, офранцуженной Российской империи. В августе 1920 года в Париже „болярин Петр“ был воспет как руководитель „настоящего, надежного и, наконец, устойчивого правительства в России...“ Ах, как трудно теперь делать предсказания.



Врангель не дожид до зимы, и не более трех зим продержался его хозяин Мильеран. Благодарные потомки соединят фигурной скобкой два имени в черном списке неудачников, пробовавших Россию вспять повернуть.

Католичество. Бывший социалист хотел безбожную Францию вернуть на путь веры. Мильеран воскресил политику конгрегаций, покровительства католическим попам. Начал дружить с папой. Впервые за десятки лет отправил французского посла в Ватикан. В самом деле, кто может быть набожнее чем усердный буржуазный выкрест из социалистов?

Монархизм. Крепко надушился королевскими лилиями Мильеран, избранный в президенты. Его первые послания к палате и заявления гласили о назревшей необходимости предоставить президенту всю полноту исполнительных и законодательных прав, которыми он не пользовался до сих пор. Безработные герцоги, осколки бонапартизма, потомки Бурбонов, благородные отпрыски выцветших родов—они приободрились. Чем чорт не шутит, что, если попробовать?! Король из социалистов, это даже пикантно. Ну-ка, Мильеран!

Но игрок не рассчитал: парламентская машина, устаревший аппарат с расхлябанными колесами, не послушалась Мильеранова руля. Вильнула влево... Откос! И Пуанкаре, выскочивший на ходу, подает первую помощь ушибленному собрату.

Выведем в расход. Надолго ли? Хорошо бы навсегда.

Во Франции в правительстве преобладают люди, специально для парламентского режима приспособленные. Если человек, хоть смолоду, не был адвокатом,—не держать ему подмышкой министерского портфеля. Еще бы! Парламентский строй—это такой, когда человек, коему нечего сказать, говорит речь. Попробуйте-ка без тренировки.



У хорошего адвоката политическая и судебная карьера нежно сплетаются одна с другой. Рука руку моет, и обе грязные. Знаменитый русский златоуст Василий Маклаков так и прыгал с ветки на ветку: в государственную думу попал, отличившись на нескольких процессах, новые хлебные дела (защита изнасилвателя миллионера Тагиева) получил, отличившись в думе. За днями дни — и вытянулась узорчатая карьера на „социальном базисе“ то ли фабрикантских гонораров, то ли восторгов кадетских дам.

Французские адвокаты крепко держатся за свое ремесло, не прерывают связи с ним и, получив пробоины в политических бурях, чинят их в тихой пристани бракоразводных дел.

Гроза Европы, корифей французской реакции, всемогущий президент Мильеран, — по-вашему, куда делся он, принужденный левым блоком к отречению от президентского престола?

Готовит легионы фашистов для восстания?

Пишет агитационные листовки против Эррио?

Составляет мемуары для потомства?

Собирает почтовые марки?

В угрюмом молчании возделывает свой огород?

Путешествует по Восточной Африке?

Побежденный президент вернулся к занятию более будничному, но более выгодному. Он засел за адвокатуру.

Какому купцу не будет лестно поручить свое дело опытности бывшего президента? Если этот человек подписывал Севрский договор, повелевал Германией, как хотел, чиркал синим карандашом французскую конституцию, исправлял ее по вкусу, — что стоит ему выиграть дело о какой-то там неустойке за недоставленные в срок подтяжки и носки! А если даже и проиграет дело, —



разве плохая реклама для фирмы—юрисконсульт из бывших президентов?

И Мильеран взялся за дела, и были ему клиенты, и были ему гонорары, и были ему почтительные заметки в судебных отделах парижских газет. Первым процессом Мильеран провел иск какого-то музыкального издательства к авторам оперетки. Потом пошли суды помельче, а в общем—дело наладилось.

Новейшая адвокатская деятельность Мильерана проходит с трескучей газетной рекламой, все повышающей гонорары экспрезидента. Но один процесс он предпочел провести в почти секретном порядке. И только теперь, после решения суда, последний успех Мильерана стал известен миру.

Бывший французский президент на-днях защищал иск к государству в пользу... самого себя.

Мильеран заявил, что, в виду преждевременного, досрочного увольнения с поста главы государства, ему причитается получить компенсацию в размере... двухгодового президентского жалованья.

Кого истец вызвал свидетелем в доказательство своей правоты? Ну, конечно, Пуанкарэ. А Пуанкарэ—тоже адвокат, и не плохой. Он произнес на суде замечательную юридическую речь.

„РКК“ при французском правительстве, видимо, очень охраняет интересы бедных увольняемых служащих. Выслушав свидетеля Пуанкарэ, она постановила выдать бывшему президенту Мильерану компенсацию за два года, т.-е. 1 200 000 золотых франков, т.-е. четыреста тысяч рублей золотом.

Вот она где, охрана труда! Вот она, защита интересов трудящегося человека!



И это—без всякого там профсоюза. Исключительно на основе добровольного оберегания интересов безработных президентов!

Ура! Да здравствует французское казначейство, гражданский суд, бывшие президенты, адвокатское сословие и благородные свидетели. Ура, ура! И еще разик—ура!

1924



# ПУАНКАРЭ-ВОЙНА

## 1

**П**РЕЗИДЕНТ французской республики Раймонд Пуанкарэ стоит на возвышении в черном сюртуке, с протянутой вперед рукой. Он говорит:

о доблести, о чести умереть за прекрасную Францию в славной войне против подлых немцев.

Его речь вздымается красивым, ровным фонтаном: воспитаннейший из ораторов Франции второго десятилетия.

Позади президента—призрак в алом плаще. Череп, оскал мертвых зубов. Конечно, это смерть, это на фоне ее рубинового одеяния так четко выделяется щегольской сюртук сановника.

Она наклонилась к его уху и шепчет:

— Адвокат, не горячись. Оставь немного слов и для своей собственной защиты!

Это изображено на рисунке лучшего из немецких сатирических художников Олафа Гульбрансона. Напечатано во время войны, до сих пор именуемой в Европе великой войной.

## 2

И художники иногда бывают пророками.

Пересаживаясь в кресло, Раймонд Пуанкарэ описал хороший круг.

В начале круга—он сам на кресле председателя совета министров.



Внутри круга—его президентство, Вивиани, Думерг, „великая война“, Рибо, Бриан, ужасы Вердена, германское наступление, тигр Клемансо, „война до полной победы“, Мильеран, опять Бриан—и, замыкая круг, опять он в прежнем кресле председателя совета министров.

Ленивый Бриан чуть-чуть отпустил золотую узду платей, стягивавшую, вздымавшую на дыбы побежденную Германию, слишком мягко разговаривал в Канне, допустил эту проклятую Геную, где французам пришлось сидеть впервые рядом с большевиками. Он не угодил послевоенной французской буржуазии. Его убрали из Канна, как мальчишку.

Нужен новый премьер с жесткой рукой для обшаривания немецких карманов, глухой к английским нащупываниям, привычный к свисткам и грозному недовольству низов.

Клемансо слишком стар и надоед дикарской бесцеремонностью. Тигру пора на покой. Лучшей кандидатуры, чем Пуанкарэ, нельзя себе представить.

Вот газетные сведения о членах кабинета Пуанкарэ.

По профессиям: 10 адвокатов, 3 журналиста, 3 инженера, 1 финансовый инспектор, 1 капитан дальнего плавания.

Десять адвокатов! Адвокатский кабинет! Юридическое бюро!

В старой России были распространены, главным образом, два вида адвокатов.

Во-первых, адвокат „идейный“. Ему соответствуют слова: судебная реформа..., совесть... господа присяжные заседатели... идеалы правосудия... Катюша Маслова... Таганцев, Плевако... дело Бейлиса.

Во-вторых, подпольный „аблакат“. Жалкое нищее существо, полная протавоположность первому. Его место—в прихожей мирового, за мокрым столиком трактира.



Удел—грошовые делишки по краже пальто, изготовление документов, наивное лжесвидетельство.

У нас любовью и обожанием пользовался душка-адвокат первой категории: правдолюбец, трибун, руковздыматель. Потому и дана была душке-адвокату власть в первые месяцы революции. Подпольный же „аблакат“, за графин водки подчищавший метрики, был в загоне и презрен.

На Западе, наоборот, захирел и впал в ничтожество идейный юрист, а вместо него высоко вознесен и сияет в ореоле признания подпольный аблакат из неразборчивых.

Если правильно передать западное понятие адвоката, оно будет гласить нескладно, но точно.

„Человек, доказывающий что угодно за процент с нелепости“.

К адвокату идут здоровые—с его помощью доказать болезнь. Больные, чтобы объявиться здоровыми. Неверные мужья—доказать вероломство жен. Дезертиры—доказать иностранное подданство. Получить наследство, страховую премию, расторгнуть невыгодную сделку, посадить в сумасшедший дом... Богатые—чтобы приbedниться и не платить по долгам. Нищие—чтобы притвориться богатыми и получить кредит.

Адвоката очень мало занимает принципиальная, или, боже упаси, моральная сторона дела. Ему важны только две стороны: степень нелепости и размеры последствий в случае доказуемости ее. Чем больше нелепость, тем выше процент адвокатского гонорара; чем шире ее последствия, тем больше процентная сумма. Если, например, человек, в случае признания его верблюдом, получает миллион, то такой процесс—золотое дело для адвоката. Ясно, что и лучшим адвокатом считается тот, кто ухитрится доказать наиболее дикую и выгодную нелепость.



Как представитель идейности и правосудия, адвокат в общественном мнении Запада совсем не фигурирует. Летопись мирового мещанства — кинематографические драмы показывают героев: фабрикантов, инженеров, ковбоев, рабочих, офицеров, кокаинистов, убийц, но никогда — адвокатов.

Сутяжничество и адвокатура наименее процветают в странах с мощной промышленностью, отличным сельским хозяйством, оживленной внешней торговлей. Зато они вздымаются на гнилых полях спекуляции, при экономическом застое, отсутствии производства и сбыта товаров, при государственном худосочии и малокровии.

Довоенную Францию кто-то назвал „страной улыбающейся промышленности“. Прошло десять лет, и ласковая кличка все так же удачна для колыбели корсетов, вставных челюстей и резиновых изделий. Прекрасная Франция никак не может навести серьезного стиля на свою индустрию.

Но веселые товары все менее нужны обнищавшему миру. Вставные челюсти недурно стали делать в Германии, патриотизм англичанок заставляет их носить отечественного происхождения парики, и даже — о ужас! — неподражаемые презервативы залежались в парижских магазинах.

Франция беспокойно озирается, старая ростовщица с крашеными губами. Она живет капиталом, процентами с оскорбленной национальной гордости и крови 1 700 000, уложенных на Марне и Сомме. Но „боши“ плохо платят, эти каторжные немецкие колбасники.

Десять адвокатов не случайно вошли в кабинет Пуанкарэ. Надо доказать самую большую нелепость и на самую большую сумму. Надо добиться, чтобы Германия, не могущая платить, платить могла бы. Если даже не смогла бы, то все-таки заплатила бы. Обязательно сделать так. Во что бы то ни стало. Иначе — дело плохо.



Нелепость велика, но велики и гонорары. Какую лучезарную карьеру может сделать в Париже умный адвокат!

## 3

Пуанкарэ думал вернуться к власти окруженным общим благоволением, любовью народа, удачами и новыми победами над уже лежащим немцем.

Он надеялся, что его не забыли.

Вышло не так. Лежачего не бьют, а если и пытаются бить, то выходит очень неудобно даже для бьющего.

А кроме того, сама добрая Франция очень испортилась за годы войны. В частности храбрые солдатики, пролежавшие четыре года в окопах, восприняли или усвоили образ Пуанкарэ совсем иначе, чем этого ему бы хотелось.

Да, да, его не забыли. Но память о нем создалась особо-определенная.

Пуанкарэ—это война. И только. Война вся в Пуанкарэ. Весь Пуанкарэ—война.

О нем пишут французы, прошедшие весь ужас бойни.

„Этот маленький человек стал символом ужасной вины, вины всего капиталистического мира, вызвавшего войну“.

С его именем солдаты связывали все то, что они более всего ненавидели: „попы“, „генеральный штаб“, „война до победного конца“, „отечество“.

Он был для них олицетворением одного из тех, „которые затыкают всем рты“. Французский двойник германского кайзера.

„Маленький крест и большая могила—это для нас“—говорилось в запрещенной фронтовой песне. Ему же—хвалебные статьи в газетах, поздравительные телеграммы и прекрасная жизнь важного барина.

Иногда, когда он сползал с автомобиля, чтобы сделать смотр обреченным отрядам, по его адресу слышался явственный свист.



Он знал, что за оскорбление отомстит контр-разведка, и, не обращая внимания, проходил мимо.

У нас, в России, вопрос о „виновниках войны“ был решен могуче, величественно и просто. Весь рабочий класс встал против всего другого класса, истинного виновника войны, затеявшего ее, питавшегося ею—и сломил его вместе с войной. Одной рукой, почти в одно и то же время, были сломлены и повергнуты во прах и сама война, и весь виновный в ней класс. Вопросы об отдельных людях—„виновниках“—у нас не возникало. Не нужно, не интересно, скучно.

На Западе, где война не была умерщвлена, а издохла естественной смертью, неостывшее возмущение масс и кровавая скорбь пострадавших концентрируются на отдельных лицах, конечно, игравших внешнюю направляющую роль, но по существу—пешек в руках господствующего класса, его военных партий.

В Германии—Вильгельм, Людендорф.

Во Франции—Пуанкарэ.

Ненависть сгустилась вокруг этого человека. В нее влились и непримиримость угнетаемого класса, и смертельная обида измученных войной людей, и накипевший протест против мещанства, тупости, надменности паразитического сословия адвокатов, правящего страной.

Пуанкарэ—собирательное лицо. Это образ эпохи, класса в эту эпоху. Подобно тому, как король французских и вообще всех европейских спекулянтов Луи Лушер олицетворяет послевоенную буржуазию в роковом апогее экономического могущества и денежной славы, так Раймонд Пуанкарэ—ее политический лик. Третья республика—раззолоченная, но поблекшая от пороков распутница в захваченном не по праву фригийском колпаке, со всей энергией угасающих сил, накануне апоплексического удара, указующая перстом на угнетаемых и беззащитных:



— Распни его!

„Я видел некогда Пуанкарэ в Тулузе, через которую он проезжал „со своей супругою“, возвращаясь с больших маневров.

Городское управление, состоящее из социалистов, отказалось принять его. Встречала префектура, соорудившая в честь президента красно-желтую триумфальную арку. Дюжина трубачей, наряженных в театральные средневековые костюмы, приветствовала маршем из „Аиды“.

В тот момент человек этот был в буйном восторге. Он только что видел маленькую войну и едва мог скрывать свою радость.

По-военному, вместо сабли, салютуя своей тростью, префект Педро Гойярд открыл дверцу автомобиля и склонился перед президентом.

Оркестр играл лотарингский марш, и от звуков этой музыки черты лица Пуанкарэ сделались тверже: это был его гимн. Он чувствовал себя Жанной д'Арк и Наполеоном одновременно.

И в эту минуту мне стало ясно, какая ужасная воля сидит в этом маленьком теле. Идея, внедрившаяся в сознание посредственного человека, вытесняет в нем все остальное. Она превращает его в неограниченного тирана, который все себе подчиняет“.

... Мы, русские, помним еще один парадный визит и парадную встречу.

В июле четырнадцатого года французский президент прибыл на броненосце для встречи с русским царем.

В маленьком городке Балтийский Порт начались празднества в честь важного гостя.

Его величество Николай II тоже принимали вместе с Раймондом Пуанкарэ парад почетного конвоя.



Ее величество, Александра Федоровна, была очень мила и любезна с французом. В честь его придворный оркестр играл Марсельезу.

Именно в эти дни рабочие Путиловского завода начали выходить на улицу.

Неприятность, которой не было имени! В дни приезда французского президента, в торжественные, пышные, расшитые золотом дни „франко-русского единения“ — рабочие волнения в столице.

Петербургскому корпусу жандармов пришлось потрудиться. Зная о приезде важного гостя, голодные путиловцы нисколько не хотели утихомириться. Наоборот, они — о наглость! — добавили к лозунгам своей демонстрации и имя некоронованного главы Третьей Республики.

Еле-еле умяли скандал. Собственно, не умяли, а просто обе стороны, жандармы и Пуанкарэ, уговорились ничего не замечать. Президент проехал два раза по нескольким, очищенным от рабочих, улицам, снимал цилиндр, изящно улыбался. О, эта улыбка Раймонда Пуанкарэ, она многого стоит!

Президент умчался из Петербурга раньше срока. На горизонте низко нависли тучи. Пахло динамитом, мерещились дредноуты и скорострельные пушки. Близилась война, та, которую он всегда представлял пьедесталом своей настоящей славы.

## 4

Вот типичный скандал вокруг имени Пуанкарэ.

Он происходит чисто по-французски.

В редакцию „Юманитэ“ доставлен сенсационный снимок.

Пуанкарэ посещает кладбище павших под Верденом бойцов.

Лес крестов с фамилиями мертвых солдат. На фоне его впереди — Пуанкарэ рядом с американским посланником.



Позади—пара почтительных спутников: важный бородач-генерал и седовласый чиновник.

На снимке очень хорошее освещение. Лица прекрасно получились. Президент улыбается. На кладбище великих человеческих жертв Раймонд Пуанкарэ улыбается своей неизменно кокетливой бездумной улыбкой. Ему хорошо. От сытного завтрака, любезного разговора с долговязым американцем, от хорошей погоды и прекрасного воздуха на этом живописном кладбище среди бесконечных рядов крестов, которые он как-то в высокопарной речи назвал „мертвыми батальонами“—от всего этого он в хорошем настроении, и почему не улыбаться ему, хозяину среди живых и мертвых покорных слуг?

Редакция коммунистической газеты назвала замечательный снимок: *L'homme qui rit*. Человек, который смеется. Напечатанная в виде открытки, улыбающаяся маска „Пуанкарэ-Войны“ в течение двух недель была распространена в 100 000 экземпляров. Одна из сенсаций, какие любят и какими могут жить только французы.

Четвертого июля во французской палате депутатов происходили дебаты в присутствии председателя совета министров.

На повестке—вопрос о политике правительства в Тунисе. Докладчик Тетенже вносит запрос о большевистской пропаганде во французских колониях. В разгаре своего обличительного пыла он смотрит на скамью коммунистов и грозно замечает:

— Господин Вайян-Кутюрье, кажется, улыбается?

Вайян-Кутюрье с места веско и на всю палату слышно отвечает:

— Я часто улыбаюсь, но никогда не улыбался перед лицом мертвых.

Фраза падает тяжелой глыбой на министерскую скамью. Пуанкарэ-Война вскакивает и, побагровев, кричит:



— Объясните это отвратительное выражение!

Встав с места, повернувшись к премьеру, бледный от волнения, но владея собой, Вайян-Кутюрье чеканит слова:

— В то время, когда правительство „считало долгом“ бежать из Парижа перед наступлением, мы, солдаты, накапливали достаточно ран и боли, чтобы теперь возмущаться официальной фотографией, на которой мы видим вас, г. Пуанкарэ, улыбающимся перед крестами кладбища, некогда названными вами выстроившимся мертвым батальоном! Мы видели улыбку человека, об ответственности которого за ужасы войны мы еще поговорим!

Правая оглашается криками злобы. Несколько минут в палате стоит невероятный шум. Сквозь рев своих приближенных Пуанкарэ отвечает, что Вайян-Кутюрье, вероятно, не посмеет повторить своих слов, в которых трусость соединена с ложью.

Кутюрье спокойно замечает:

— Пока вы обвиняете в трусости меня, который сражался в то время, пока вы не смогли даже заключить мира, я могу только хохотать. Но вы не посмеете отрицать, что для бывших воинов, от имени которых я говорю, которые помнят 1 700 000 смертей, для них ваша улыбка перед могилами—оскорбление.

Растерянный Пуанкарэ пытается что-нибудь сказать в оправдание. Он лепечет о своей непричастности к началу войны. Он добавляет даже с несвойственной для его годов резвостью, что на кладбище он не улыбался, а только шурился от солнца... Апломб не оставляет его даже в минуты позора.

Палата бурлит котлом. Тунисские дела смяты. Пошечина горит на лице Пуанкарэ-Войны. Депутаты ждут продолжения. Премьер-министр требует немедленных



объяснений от коммунистов. Пусть сейчас же будут открыты прения о виновниках войны! Пусть воссияет истина, а с ней и белоснежное миролюбие Раймонда! Видит бог, он никогда не хотел кровопролития!

Вайян-Кутюрье не смущен. Объяснять, так объяснять. У него сейчас под рукой нет необходимых документов, но он готов говорить по памяти. На фронте у него бывали положения потруднее. Он готов.

Рассудительный Рауль Перэ, председатель палаты, лучше понимает положение. Спасая потерявшегося Пуанкарэ, он предоставляет Вайяну-Кутюрье слово лишь по личному поводу, а дебаты о виновниках войны переносит на завтра.

Весь трудящийся, живой и экспансивный, уличный Париж восхищен. Вот когда, наконец, высекли Пуанкарэ-Войну! Вот когда он получил несколько пощечин в счет двенадцати пуль, обещанных его шкуре!

Наутро „Юманите“ печатает два увеличенных клише с пресловутого снимка. Надпись:

„Кто улыбается от солнца, а кто щурится от него“.

На клише ясно видно, что президент и американский посол улыбаются, не смотря на солнце. Сопровождающие же их генерал и чиновник—видимо, в менее радужном настроении—от того же солнца щурятся... Мелкая уловка Пуанкарэ пропала даром.

У палаты толпы рабочих. Люди хотят хоть краем уха послушать, как будут сечь премьер-министра коммунисты Кашен и Вайян-Кутюрье. Конная полиция разгоняет. Она всегда и во всех странах делает одно и то же, эта конная полиция.

Пуанкарэ защищается. Адвокат собирает последние крохи красноречия, истощенного на восхваление бойни, чтобы доказать непричастность к ней. Верная правая рукоплещет, дрессированное большинство голосует. Премьер



ущелевается, конные гвардейцы разгоняют толпу. В сенате обомшелые сановники дряхлыми голосами приветствуют обиженного этими отвратительными коммунистами председателя совета министров. Пока еще все на местах в Третьей Республике...

И опять поворот колеса, и опять полный круг, и опять Пуанкарэ-Война у власти, уже в новом обличьи—экономического вождя страны, восстановителя осыпавшегося франка.

Но... он переутомился. Об этом пишут все парижские газеты.

В самом деле! Мы об этом никогда не думаем, а ведь это все кой-чего да стоит! Ездить портить себе кровь в Геную. Не отпускать руки от шиворота Германии. Гнать тридцать тысяч репарационных комиссий. Занять Рур и не выпускать его из зубов. Читать в газете разоблачения. Слышать на улице и в палате оскорбления. Тревожно засыпать, еженощно оглядываясь вороватым взглядом на Восток.

Мы об этом не думали. Пуанкарэ казался несокрушимым по здоровью и энергии, этот стальной управдел буржуазной Франции со своими нафабрёнными речами и каллиграфически-кудрявыми тостами.

Генуя, несмотря ни на что, не испортила ему настроения. Репарации только раздражили его аппетит, уход Ллойд-Джорджа и укрепление Керзона развеселили его. Разоблачения коммунистов заставили его прикусить губу—не больше.

Почему же теперь заскрипел этот отлично смонтированный механизм, засбоил и закачался отменный рысак из родовой конюшни Третьей Республики, из славной семьи Клемансо, Мильерана, Барду, Додэ?

Парижские журналисты наперебой недоумевают:



— Пуанкарэ нервничает! Гладкий, выутюженный Пуанкарэ-Война переутомился! Не кашляет ли он? Не переработался ли?

В качестве средства от переутомления Пуанкарэ потребовал... расширения полномочий правительства. И вручения ему диктаторских прав.

В сущности, это по-своему справедливо. Парламент очень, очень утомлял Пуанкарэ. В парламенте ему приходилось выслушивать излишнюю и ненужную критику. В парламенте ему приходилось встречаться и выслушивать разные вещи от коммунистов—единственное место, где от коммунистов нельзя убежать и отгородиться стеной жандармов. Пуанкарэ резонно и потребовал избавления от хлопотливого соседства. Без парламента, из кабинета, можно куда удобнее управлять и страной и иностранными вассалами.

Французский Манилов, толстенный Эдуард Эррио (в сущности, очень наивный человек) вздумал спорить с Пуанкарэ о парламентаризме. Пуанкарэ, мол, опозорил парламентаризм и потому должен уйти в отставку. На это диктатор, будучи, по причине нервности, очень откровенен, да к тому же наслушавшись лучших образцов парламентарского обхождения от коллеги Муссолини, бахнул, что парламентаризм сам себя дискредитировал, и ему, Раймонду Пуанкарэ, на все это наплевать. Он сам себе парламент.

При дальнейших дебатах премьер-министр настолько вышел из себя, что выбежал из зала заседания, но вскоре, впрочем, вернулся назад.

Он переутомился, неутомимый Пуанкарэ-Война с напыщенной лысиной и улыбкой—мертвецким оскалом зубов.



Оно переутомилось—правительство Пуанкарэ, правительство десяти адвокатов, десяти усердных стряпчих Ротшильда, Шнейдера и Люберсака!

Она переутомилась, послевоенная Франция, восседающая на теле побежденного, старая ростовщица с крашеными губами!

Они все устали, им пора на покой.

Пора, пора!

1927



## ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ В ВЕСТМИНСТЕРЕ

**В** ДВУХ ШАГАХ отсюда—не умирающая ни на миг сутолока старого Лондона. Могучий поток экипажей, автомобилей, автобусов, сотни тысяч прохожих омыают твердыню Вестминстерского дворца. Потокотом отшлифованы снаружи гранитные стены, внизу темные от времени, наверху законченные белым инеем древних белых плит. Лондонская уличная толпа, не похожая ни на какие в мире, организованная в непрерывные сверлящие струи, пробившая себе протоки под землей, раздробленная в обособленной устремленности каждого атома-человека, она не останавливается ни на миг у стен парламента.

То, что происходит там, в Вестминстере, признается важным и подагрическим джентльменом в цилиндре, и шофером двухэтажного „басса“, и пожилой дамой, которую мода заставила обнажить выше колен костяные конечности в шелковых чулках.

Там, в палате общин, достопочтенные мистеры и сэры, одинаково верные королю и Соединенному королевству, разбирают дела родины.

Там правительство его величества слушает запросы и критику оппозиции его величества, министры короля отвечают согласно обычаям и законам за свои поступки. И если они слабы, если честь великой Британии и славное королевское имя, и великие основы собственности плохо защищены министрами,—тогда встанет первая скамья королевской оппозиции и пересядет на скамью



королевских министров, а королевские министры займут свободные места критиков.

Король и страна не останутся без кабинета. Старый джентльмен может спокойно дойти до собачьей выставки за углом, шоферу линия жизни все равно определена расписанием автобусов. Даме ничто не грозит по пути к Оксфорд-стрит, где витрины законодательствуют миллионам не хуже палаты лордов.

Лишь у самого входа во дворец толпа оставляет свои брызги. Здесь сегодня чувствуется волнение. Здесь у подъездов шевелится трепет театральной премьеры. Нет, это съезд перед торжественной обедней в кафедральном соборе. Роскошные лимузины заглушают рокот у обомшелого сводчатого подъезда, монументальный бобби-полицейский отгоняет зевак, как благопристойный служка с паперти. И посетитель, войдя в прохладные готические залы вестибюля, становится тих, как мраморные статуи борцов за конституцию.

После длинного безмолвного вестибюля—огромная круглая зала: главные кулуары. Позади—храм, а здесь—подобие торговли в храме. Несколько сот человек лондонцев изнывают здесь в ожидании входных билетов. На каждое заседание нижней палаты испокон веку выделяется только пятьдесят билетов для гостей. Билеты распределяются по жребию между депутатами, и друзья наиболее удачливых ждут возможности попасть в святая святых мирового парламентаризма.

Здесь же—вообще место встречи депутатов со своими избирателями и клиентами. Полисмэн выкликает имена членов палаты, и затем они сами выходят поговорить между двумя шпалерами публики к своим посетителям. От всего этого получается беспорядочный шум, но церковная высота сводов вытягивает его вверх, делая благочинным, как рокот молящихся во храме.



Еще несколько проходов, пара крутых лестниц, тяжелые двери в деревянной резьбе, и вот она, палата—полутемный, торжественно-сумрачный алтарь. Вот и сама обедня английского капитала по истлевшим листам „великой хартии вольностей“.

Маленькая ложа представителей иностранной печати расположена низко. Но глаз должен сначала привыкнуть к слабому освещению через расписные решетчатые окна, чтобы опознать всех заочно знакомых персонажей английского политического действия—кроме тех, кто действует за стенами парламента.

В центре палаты, перед главным столом, под балдахинном восьмисотый год скучает в парике, заложив ногу на ногу, спикер. Его долг—в течение семи веков поддерживать порядок и острить. И то и другое делается до того бесстрастно, что не производит никакого впечатления.

Налево—места правительственной партии, и впереди них, на первой скамье—само правительство. Оно велико. Старая скамья была рассчитана на меньшее количество народа с портфелями. Министры сидят тесно, сжавшись, часть их расположилась стоя в проходе. Крепко стиснутый с обеих сторон Макдональд, судя по лицу, не совсем владеет собой в привычной обстановке. Он бледен, измучен, поднял лицо кверху и далеко куда-то ушел глазами.

Газеты говорят, что беда подстерегла премьера внезапно. Он устал после возни по турецкому и англо-советскому договору, он захлопотался по германским и ирландским делам, и он, партийный кормчий по извилистому парламентскому фарватеру, нежданно наскочил на камень в необозначенном месте.

Как кончится сегодняшняя игра? Для начала заседания предзнаменования плохие. Либералы до сих пор не



проявляют твердой линии поведения, но консерваторы выжидают и каждые несколько минут покидают свои скамьи для каких-то таинственных совещаний.

Плохо и то, что в палате сегодня так весело. Это дурная примета, когда в палате весело. Смех сопровождает самые тяжелые катастрофы в британском парламенте.

А сегодня—не подрядил ли кто хохотать почтенных членов высокого собрания? Пуще всего веселится сама рабочая партия. Каждая фраза оратора встречается ею взрывом смеха. Немного реже, но не менее заразительно веселятся либералы. Только консерваторы в гробовом молчании белеют лысинами и блестят опущенными на нос цилиндрами справа.

И лишь раз хохочут консерваторы продолжительно, громко, зловеще. Это когда кто-то из престарелых депутатов, задав правительству десятка два вопросов по иностранной политике, деловито прошамкал, что остальные вопросы министру иностранных дел он позволит себе предложить в следующую среду.

— Какой оптимист!—язвительно кричит кто-то сверху. Макдональд, словно проснувшись, улыбкой подтвердил сомнительность своего положения. И спикер, охлаждая ребячливое настроение парламента, строго заметил, что, повидимому, палата интересуется чем угодно, кроме своих сегодняшних дел.

Рядом с Макдональдом, в позе полного непринуждения и беззаботности, расположился Томас. Министр колоний чрезвычайно бодр. Он поминутно обращается к Макдональду, вызывая его из тяжкого раздумья всякими вопросами, бумажками, шутками и наблюдениями.

Сверх-достаточно написано в наших газетах о политических убеждениях и классовой платформе британского „рабочего“ правительства. Уже, вероятно, всякий пролетарий знает, как ходят на поклон, в прямом и переносном



смысле, к королю и к буржуазии рабочие депутаты, ставшие министрами, как стоят навывтяжку во время придворных приемов, суетливо стараясь запихнуть, словно грязный носовой платок, выглядывающий кончик социалистической программы. Знают у нас—по снимкам в журналах—и мантии, и парики новоиспеченных рабочих лордов, и шлейфы разодетых попугаями рабоче-министерских жен, и их сынков в атласных панталонах и лаковых туфлях. Так сказать, уже не рабочая аристократия, а аристократия из рабочих.

Министра колоний Томаса надо порекомендовать особо. Не просто министр из рабочих парламентариев. Не просто помощник гениального Макдональда в его опыте „пролетарий—в придворную ливрею“.

Томас-весельчак.

Юморист. Рубаха парень. Душа общества!

Таких людей вообще надо ценить. Мало таких людей на свете. А тут еще министр. Подите-ка, поищите второго.

По должности своей Томас как-то делал отчет в парламенте по договору с Ираком, Месопотамией тож.

В будущей черной, с кровавыми пятнами книге о послевоенном империализме история с Ираком будет миленькой виньеткой... Дабы не упустить нефтяных фонтанов Моссула, англичане наклеили на них пышный ярлык автономного государства, купили по дешевке безработного короля Сирии с женами, собаками, ручным леопардом, десятью сменами белья и кудрявой бородой. Король царствует и любит по очереди своих жен, министры правят при помощи английских советников, инженеры руками арабов качают нефть, арабы восстают, арабов расстреливают с аэропланов—механизм работает как часы...

Об этой самой „ирацкой“ комбинации докладывал в палате рабочий министр Томас. Даже председатель либералов не выдержал. Встал и с полным удовольствием



уличил рабочее правительство в „продолжении капиталистической политики запугивания арабов“.

Томас ответил на нападки с полным хладнокровием и добродушно улыбаясь. Когда спросили, почему члены багдадского парламента, высказывавшиеся против договора Ирака с Англией, не были полицейской силой допущены в парламент, он съязвил насчет того, что, мол, мало ли кто в нашей палате заседания пропускает, мы ведь до этого не касаемы...

На другой же день остроумный Томас удостоился выступить в высшем обществе, на банкете южно-африканских банкиров, капиталистов и политиканов. Тут, видимо, по причине одной-двух бутылочек, любимец публики был совсем в ударе. Рабочий министр очень понравился избранной южно-африканской знати.

Разговаривал Томас на сей раз о своей собственной рабочей партии. Давно так не смеялись богатые южные африканцы.

— Я имел возможность заранее ознакомиться с повесткой дня предстоящей конференции рабочей партии.

В зале улыбки. Подталкивание друг друга локтями. Многие, не дожидаясь дальнейшего, прыскают в кулак.

— Само собой разумеется, что в ней имеется ряд резолюций, осуждающих кабинет!..

Общий хохот. Наиболее смешливые вытирают проступившие слезы. В углу долго, мешая оратору, визжат хорошенькие дамы.

— Есть и резолюции, подробно излагающие, как министры рабочего правительства изменили делу рабочего класса, и одна из резолюций требует исключения меня, Томаса, не только из рабочей партии, но также из кабинета!

Взрыв хохота, подобный громовому удару. Толстяка в первом ряду отпаивают водой. Кто-то на диване в



судорогах дрыгает ногой, как умирающий. Тишина не может водвориться в течение десяти минут.

— Но!—Томас многозначительно подымает палец, призывая расходившееся собрание к серьезности.—Но! Мы никогда не достигнем значительного результата в области политики и промышленности Англии, пока не избавимся от классовых предрассудков и узко-партийного духа! Ура!

Часть публики продолжает гоготать, другая часть делает знаки первой, призывая аплодировать. Неразбериха заканчивается вихрем аплодисментов. Хлопают рабочему министру алмазные короли, угольные магнаты, их жены и дети—очаровательные, элегантные создания...

Бедный Томас. Какой он остроумный и какой дурак! Не понял, милый человек, что смеялись... над ним самим. Над ним, уже окрестившимся в буржуазную веру и позорящим, издевающимся над товарищами по своей оплеванной партии, еще стоящими у врат в королевский, министерский рай.

Сегодня ноги министра колоний протянуты высоко вверх и покоятся на поверхности священного центрального стола, где лежит свод законов и покоится золоченый королевский жезл. Такая вольность считается допустимой в палате. Но обоснована ли она именно сегодня? Судя по румянному, довольному лицу Томаса, он думает так удобно располагаться на министерской скамье еще не раз.

Этого нельзя сказать о Клайнсе. Ему, совместившему высокое звание лорда—хранителя печати с хлопотливыми обязанностями парламентского организатора правительства, не до смеха. В продолжение всего заседания Клайнс недвижим, поворачивая голову и пощипывая седые усы лишь при входе в палату крупных вожаков враждебных партий.



Обычная вермишель мелких парламентских запросов окончена. Начинается главная атака.

Сэр Роберт Хорн, министр торговли в правительствах консерваторов, ведет тяжелый обстрел рабочего правительства. Одна за другой оглашаются методическим англичанином тетрадки со справками, докладами, газетными вырезками. Ровным голосом, без повышений, как уверенный в себе классный наставник, Хорн отчитывает провинившихся школьников. И перед этим методическим, не оставляющим никаких иллюзий и надежд, брюзгливо прокурорским тоном вянет преждевременное веселие парламентской левой, ежится веселый Томас, ободряются либералы в углу.

Либералов трудно понять в эти дни, и здесь, сегодня. Есть ли у них силы для нанесения удара, о котором они мечтают?

Ведь удар надо нанести до конца. Ведь надо выдержать выборы, а что может дать для них растерявший свои прелести Ллойд-Джордж? Отдохнувший, крепкий, украшенный этим особенным стариковским цветом лица, каким наделены все либеральные лидеры во всех странах, он красуется на первой скамье либерального сектора, но не вызывает особого внимания.

Может быть, его время еще придет. Но пока Ллойд-Джордж—не лозунг для избирательных кампаний, не гроза парламента, не приманка журналистов. Столь же белый, столь же краснощекий памятник либеральной старины—Асквит рядом с ним только подчеркивает дряхлость Ллойд-Джорджа и его партии.

...И, видя твердое, терпеливое молчание консерваторов, обмякают храбрые крикуны на скамьях рабочей партии. Многообещающе улыбается круглый Ллойд-Джордж: голосование, несомненно, даст нужные результаты. Когда мокрого после речи Гастингса ободряюще похлопывают



по плечу его товарищи, и Макдональд тяжело встает для своей речи, положение уже ясно.

Премьер-министр говорит не долго, глуховато, с частыми паузами. Перечисляя свалившиеся на голову правительства несчастья, газеты не забыли упомянуть о зубной боли, некстати захватившей Макдональда накануне заседания в палате. Вчера вечером, как подробно сообщила „Evening Standart“ и ее подруги—вечерние газетки мистеру Макдональду был вырван зуб, и последствия анестезии чувствуются и сегодня.

Но не зубная боль делает бледной последнюю речь Макдональда. В эти минуты в полутемном храме английской конституции особенно горько и безысходно ухмыляется судьба английского социализма.

.....  
Сцены из мольеровского „Мещанина во дворянстве“ или из отечественной толстовской „Книги любви золотой“.

Следят, притаив дыхание, приподняв брови, заботливо выпятив трубочкой губы, с крайне поощрительными напряженными лицами ряд заинтересованных персон за выходом новобранца Макдональда пред светлые очи кадровых империалистов.

— Ну, вот, так. Осторожнее... Тише, тише... Как стучит сапогами, дубина необразованная! Еще рассердит, чего доброго...

— Нет, отчего же. Вот, видите, понизил тон! Твердость лишняя не мешает. Немножко керзоновского, наследственного в голосе—это даже к лучшему. Спокойнее, так, так! Эх, про Малую Антанту заговорил, дурак! Перестал... На репарации повернул—это можно. Это даже Болдуин затрагивал. Слегчало... Фу-ты, страсти какие...

Сам дебютант, туго накрахмаленный, весь в поту, комкая в руке парадную замшевую перчатку, медленно и



неповоротливо цедит крупные отруби обязательных фраз и выражений.

Ох, эти обязательные фразы! Хорошо большевикам, чорт их бери, плотно отгородившись красноармейским штыком, самим вырабатывать дипломатический лексикон по своему вкусу. А тут—извольте.

Мистер Макдональд—трудящегося происхождения и министерство свое считает рабочим министерством. Правда, депутаты рабочей же партии называют выдвинутое ими правительство „хорошим консервативным правительством“. Но, приняв дела от Болдуина и Керзона, надо же хоть чем-нибудь разметить век нынешний и век минувший. Пусть попрежнему Великая Британия собирает колониальные налоги путем сбрасывания бомб с аэропланов на деревни Индии и Месопотамии. Надо же упрекнуть в империализме. Если не себя, хоть соседа.

И, собрав все силы, пыжась от натуги, Макдональд вежливо изоблачает Пуанкарэ:

в захвате Рура,  
в воздушном милитаризме,  
в „малоантантовских интригах“,  
в репарациях.

И в этот миг на разных концах Лондона нервно пощипывают парики высокорожденные лорды рабочего правительства, покусывает полированные ногти хранитель королевской печати, ерзает в креслах французский посол.

— Сказать-то ему надо. Как-никак, рабочее правительство называется. Обязан про империализм выразить. Но уж пусть бы вежливо... Того гляди, Пуанкарэ рассердится!

Страхи неосновательны. Отягощенный неприятностями, Пуанкарэ относится к Макдональдовым словам, как к тягостной необходимости. С видом старшего, он снисходительно объяснит в очередной ноте зарапортовавшемуся



младшему его права и обязанности. Но какие тут могут быть ноты, если слон терзает нежнейший рояль, изысканный аппарат английского министерства иностранных дел!

И у всех замешанных, всех причастных к антимузыкальному концерту—от герцогских смокингов до соглашательских пиджаков—одна мысль:

— Уж кончил бы поскорее. Ведь и так всем ясно. Так нет же, тянет. Уши мучает, нечестивец.

.....

Годами, десятилетиями, по вершку протаптывать дорожку к власти, карабкаться по зыбким парламентским уклонам и обрывам; ценой тысяч принципиальных жертв и унижений рабочего класса пробираться к соблазнам этой власти—и, добившись ее, потерять синюю птицу в одно мгновение, от одного хитрого хода прожженных парламентских бойцов! Унизительно бесцелен этот сизифов труд. А ведь в него вовлечены одурманенные сотни тысяч английского пролетариата!

1924



## ПОЛНЫЙ ХОД

**В** ЧЕТВЕРГ в палате общин прочли тронную речь короля, где одинаково любезно отмечались два деяния кабинета Макдональда: план Дауэса и англо-советский договор. После заседания седые служители с бачками тщательно накрыли главный стол и все атрибуты конституции мягким брезентом от пыли. Либералы и консерваторы отправились под ручку на коалиционное заседание, а премьер-министр к себе, на съезд рабочей партии.

Убеленный сединами Клайнс счел долгом обратить внимание съезда рабочей партии на любезность короля к выпровоженному за дверь кабинету.

Восторженные аплодисменты. Радостные возгласы:  
— Король—приличный человек!

За день до этого тот же партийный съезд, в том же помещении, исключил коммунистов из рабочей партии. Удивительного здесь ничего нет. Одно из двух: или король приличный человек, или коммунисты приличные люди.

.....  
Кинг-стрит 16, Лондон.

Это—адрес английского ЦК.

В центре самого большого города в мире, неподалеку от сверкающей огненной улицы Стрэнд, где торгуют миллионами галстуков и миллиардами запонок, где от огней кино и театров непривычные глаза лезут на лоб и слепнут,—находится чудовищный рынок Ковент-Гарден. Сюда свозятся из всех частей света горы мяса, овощей,



рыбы—от китов до сардинок, золотых бананов, шоколада, устриц, ванили и картошки. Под проливным дождем, на склизких, неопрятных асфальтовых мостовых часами стоят взаимно закупорившиеся вереницы грузовиков, монбланы жратвы, казбеки гастрономических сокровищ. И здоровенные носильщики волокут красными мокрыми руками замороженные туши быков, и электрические лебедки тянут их в открытые пасти многоэтажных складов и холодильников. Каждый день руками десятков тысяч рабочих угрюмый Ковент-Гарден делает свою работу. Надо накормить Лондон и в придачу к нему всю Англию.

И тут же, за углом, за тихой, чистенькой Королевской улицей—узкий дом в четыре этажа, со спокойно откровенной вывеской, как на фасаде любого губкома.

Если англичанин на прогулке заинтересуется вывеской и остановится у дома, его глазу предстанет витрина книжного магазина в первом этаже. Обыкновенная средняя витрина уездного отделения Госиздата—не кажется ли она выставкой сильнейших взрывчатых веществ в этом тихом лондонском закоулке, на перепутьи между ярмаркой галстуков и всемирным центром соленой свинины? Владимир Ильич Ульянов, великий русский большевик, лежит здесь ровными, маленькими, белыми английскими томиками, совсем аккуратный иностранец. Но когда юноша-зеленщик с громадной консервной фабрики видит через стекло „Lenin“,—глаза его совсем как у советского комсомольца.

В маленькой комнатке с цветными занавесками осенние лондонские сумерки путаются со светом газового рожка. Несколько человек у стола в напряженной работе. Члены политбюро, заседающего здесь, сравнительно молоды по возрасту, но все они—старые революционные работники с большим и серьезным стажем.



Высокий, молчаливый Инкпин—бессменный секретарь партии от основания ее. Как все другие члены политбюро, он чистейший пролетарий. В движении работает свыше двадцати лет. На трибуне довольно редко можно услышать Инкпина. Но сутулая фигура переплетчика, бессменно склоненная над рабочим столом, с длинной тенью на стене от трубки—символ организационного единства британской компартии, отчетливо и правильно работающего механизма ее.

В тонком, корректном Политте трудно узнать котельщика, пролетария наиболее тяжелых цехов. Это один из лучших агитаторов и организаторов партии, сделавший чрезвычайно много в области профсоюзов и руководивший кампанией за фабзавкомы, отличный председатель, спокойно и ловко управляющий любым собранием.

Металлист Галахер, повидимому, старший по возрасту член политбюро—на ряду с Мерфи и Кемпбеллем—крупная агитаторская сила. Он руководит работой по парламентским вопросам и приступает к организации колониальной работы партии.

Джону Кемпбеллю не нужна была шумиха, прославившая его среди обывателей, чтобы поднять популярность в рабочих кругах. Рабочий-металлист, имеющий за собой полтора десятка лет революционной работы, редактор „Уоркерс Уикли“, ценится партией за ясное марксистское мышление и широкий практический ум.

На стенах—хорошо знакомые русские портреты.

За окном следят. Пожилая личность, благонадежный англичанин последиккенсовской эпохи, с моржовыми усами, в сером котелке, гуляет взад и вперед по противоположному тротуару, с болезненным любопытством вглядываясь в собственные ботинки. Старый Шерлок Холмс, говорят, устал и занялся спиритизмом. В его легендарном доме на Бекер-стрит недавно открылась прозаическая



парикмахерская. Ученики знаменитого сыщика следят за коммунистами не за совесть, а только за страх. После шести часов вечера слежка за домом английского ЦК прекращается. У сыщиков восьмичасовой рабочий день. Они ведь люди, они стоят за охрану своего труда и, может быть, даже входят в партию Макдональда.

Деятельность британской компартии, маленькой, молодой, только еще формирующейся, находилась в весьма мирной стадии. Агитация и пропаганда, самая открытая. легальная пропаганда была поприщем английских коммунистов, иногда даже слишком твердо памятовавших о конституционных порядках своей страны.

Английская свобода, с торжественным шуршанием великой хартии вольностей витающая над народом, предусматривала полные гарантии для беспрепятственного распространения коммунистами учения Ленина. Узкий дом на Кинг-стрит, со своими брошюрками и томами экономических трудов—разве он не был под защитой британской конституции? Разве не изо дня в день надрывались все христианнейшие газеты, указывая, что-де „в России большевики закрыли всю буржуазную печать, а английские коммунисты творят что угодно, вот вам терпимость английской конституции“.

И вот английский ЦК разгромлен. Сорок полицейских ворвались в узкий дом на Кинг-стрит, выпотрошили ящики письменных столов, увязали в огромные узлы все пачки старых газет в редакции, а сверху уложили портреты Ленина и Бухарина со стен. Раздобыть портреты Ленина и Бухарина—это могут только ловкие ученики Шерлока Холмса, никто больше!

Английский ЦК арестован. Встал из-за стола, надел огромный дождевик и зашагал в кутузку долговязый Инкпин. Аккуратно уложив бумаги в чемоданчик и пригладив пробор, за ним последовал, среди двух полисменов,



Гарри Политт. Неловко ступая отмороженными ногами, с неременной шотландской усмешкой, двинулся в Скотланд-Ярд Кемпбелл...

.....

Британские цекисты отсидели год в тюрьме. По какой статье, по какому закону?

По статье и закону 1797 года.

У Вильяма Питта, британского первого министра, были хорошие розовые щеки, длинные ноги и великолепный аппетит. Он писал письма нежно любимой невесте, играл в мяч, а все остальное время работал на благо родины, укрепляя силу и благоденствие старой Англии.

За проливом бушевала непогода и сильно тревожила длинноногого Питта. Французы, казалось, сошли с ума. Они отдали свою страну во власть голоштанников-санкюлотов, ниспровергли старый раззолоченный режим и самому королю отрубили голову специально приспособленной для этого машиной, устроенной по принципу резалки для сигар. Аристократия бежала из Парижа через пролив, наполняя лондонские гостиные суетливыми стенаниями и жалобами на плохом английском языке.

Вильям Питт очень любил своего государя и крепкие порядочки на британском острове. Он боялся, чтобы революционную заразу не прибило волнами от Кале к высоким скалам Дувра. И поэтому всеми правдами и неправдами провел суровый закон 1797 года о наказаниях за попытку к мятежу.

Краснощекий Питт и его полиция уберегли остров от революции. За это джентльмены расставили Питтовы гранитные статуи в разных углах Лондона. Знаменитый министр сохранился еще в учебниках истории и больше нигде.

Судьи в Англии в свободное от занятий время танцуют фокстрот и играют в теннис. Но при исполнении



служебных обязанностей они восседают до сих пор в средневековых мантиях и париках с локонами. Судья Свифт, когда читал приговор Инкпину, Политту и их товарищам, вероятно, чувствовал себя правой рукой ожившего Вильяма Питта... За каналом свирепствует гильотина, требует многотысячных казней неистовый Марат, грохочет, сотрясая стекла, громадный Дантон, а здесь, в прохладной судебной зале, он, судья Свифт, в пышном парике (вечером—фокстрот под граммофончик) прячет за решетку английскую революцию.

Ах, дураки! Нужно же такое скудоумие? Будь жив по сей день старина Питт, он выгнал бы в три шеи судью и тех, кто его вдохновляет.

Ведь если уподобить 1925 год 1797-му и нынешнюю российскую революцию тогдашней французской,—разве год тюрьмы достаточное наказание для мятежников-коммунистов?

Двадцать лет—и то мало! Повесить—и то мало!

Во сколько раз увеличилось одно только количество возможных мятежников на британском острове? Ведь сейчас в Англии—четырнадцать миллионов пролетариев. Если английский ЦК имеет влияние на эту ораву и призывает ее к мятежу—год тюрьмы для него все равно, что по головке погладить.

Болдуин и Чемберлен ожидают мятежа в Англии,—неужели же они не могут уподобиться великому Питту и провести свой новый закон о революционерах?

Злые языки всегда утверждали, что Англия отстаёт в технике. Утверждали, оказывается, не зря. Нападать на современную революционную гидру с заржавленным кинжалом 1797 года—не стыдно ли цивилизованным передовым джентльменам?

Владельцы галстучных магазинов на Стрэнде, вероятно, думают, что это—конец. Дом на Кинг-стрит опустошен,



вожди мятежников в тюрьме—и крышка. Мы так не думаем. Арест английского ЦК не вызвал иного результата, чем волна сочувствия и симпатии английских рабочих к „этим смелым ребятам, которые не побоялись сесть в тюрьму за свои слова“.

На гребне политического подъема британского пролетариата коммунисты из тюрьмы завербовали не меньше новых членов, чем с Кинг-стрит.

.....  
Расширенный пленум Центрального комитета заседает с активными членами партии в маленьком зале публичной библиотеки рабочего района. Здание библиотеки муниципальное, городское, но администрация, вплоть до сторожей, коммунисты, и это делает большой дом библиотеки удобной базой.

На повестке—вопрос об отношении к рабочей партии. Кемпбелл делает свой доклад. И во время прений—вернее, при обмене мнений, ибо сегодня почти все единодушны—выясняется, как путанна и слаба позиция рабочей партии в отношении коммунистов.

Целый ряд районных организаций не выполняет постановления съезда об исключении. Если и выполняет, то тут же дает противоречивые жесты.

При общем смехе индо-английский коммунист Саклатвала рассказывает, как был приглашен районным комитетом выступить на предвыборном собрании.

— Но ведь вы вчера исключили меня как коммуниста! Комитетчики смутились. Потом безапелляционно заявили:

— Ради бога, выручите нас на митинге. А там разберемся: с какой стати нам вас лишаться, в самом деле!

Хохот усиливается при сообщении, что мэром (городским головой) района, где сейчас заседает ЦК, тоже сегодня избран коммунист. (Кончилось это дело для



комитетчиков плохо: Саклатвала „договорился“ до того, что был избран от этого района в члены парламента).

Зал все больше набивается. Расширенное заседание Центрального комитета с членами партии—новшество. Оно особенно ценно здесь, в Англии, где массы, по горькому опыту рабочей партии, привыкли считать всяческие цеха полумифическими и, во всяком случае, от рабочих далекими штуками.

В зале маленького театра на Шарлот-стрит работает лондонская коммунистическая конференция.

Почти исключительно рабочие лица. Орабочивание британской компартии идет все возрастающим темпом. Каждые новые испытания, обнажающие истинно классовый характер партии, отбрасывают от нее новые сотни интеллигентов и приводят несколько тысяч рабочих. Об этом говорят сводки местного „орграспреда“, прочитываемые на конференции.

Да это видно и по выступлениям. „Уклоны“ от главной линии, разделяемой подавляющим большинством конференции, выявляются здесь в речах квалифицированных интеллигентов. Характерна фигура пожилого и очень горячего доктора, темпераментно доказывающего конференции, что лейбур-партия—единственная в Англии партия пролетариата, и коммунисты должны идти на любые жертвы, чтобы с ней не расставаться. Про этого доктора мне рассказывают, что еще недавно он с таким же энтузиазмом выступал против всякого общения коммунистов с макдональдовцами, а еще раньше с тем же пылом возражал против образования самостоятельной коммунистической партии.

После полудня страсти начинают разогреваться. Но вскоре зал постепенно пустеет. Как истые англичане, делегаты не забывают о завтраке. А после него вся партия, от политбюро до комсомольцев и пионеров, выйдет сегодня на улицу.



Трафальгарский сквер—гигантская гранитная поляна, высеченная в чаше многоэтажных зданий, в историческом и политическом центре Лондона. „Сквер“, где нет ни клочка земли—мощная законченная каменная поэма английского империализма—своими фонтанами, низвергающимися в исполинские чаши, масштабами цоколей у памятников Нельсону и Гордону, сфинксовой надменностью стальных львов в два человеческих роста говорит о безнадежном спокойствии, спокойной безнадежности. Гениальны строители этой площади, где все замкнуто в единую систему неподвижности—живое и мертвое: чинная струя фонтана, крутая линия парапета, мерный шаг полицейского в черном шлеме.

Сюда, в безысходную долину, стиснутую министерствами и старинными церквями, искушенный ум властителей страны издавна провел отдушину вольнодумства. Трафальгар-сквер, как значится в путеводителях, как объясняет гордый своей конституцией и ростбифом патриот,—это место открытого изъявления всех политических платформ и мнений, свободная трибуна для всех политических партий. Вкрадчивое лицемерие конституционализма лучше всего видно в этом жесте: дать подобие свободы слова безнадежным фанатикам, чье ученье вызывает улыбку, и откупиться Трафальгар-сквером от тех, чья свобода в другом месте должна и может истребляться. Не для этих ли последних дежурят сегодня на углах усиленные наряды полиции и зоркие джентльмены с записными книжками и крохотными детективными фото-аппаратами?

Демонстрация сегодня, в воскресенье, назначена на три часа. Без десяти минут три сквер полупустынен. Несколько кучек слушают ораторов-оригиналов, которые никогда не переводятся в Трафальгарском сквере и, главным образом, составляют ему репутацию арены вольнодумцев.



Этого старичка с седыми жгутами волос из-под ветхого цилиндра джентльмены из Скотланд-Ярда могут не фотографировать. Старичок толкует о пришествии антихриста и видит спасение только во „всемирной христианской лиге“, вступить в которую можно сию же минуту, купив у старичка партбилет за три пенни.

Вся сила аргумента, вся мощь гнева, яд издевательства агитаторов „лиги“ направлены на соседнюю кучку, где заблудшие овцы слушают представителя нечестивой „партии христианских анархистов“. Партия сия обладает преимуществом перед первой: ее партбилет стоит не три, а всего один пенни, да еще с премией—брошюрой в четыре страницы. Представитель „лиги“ уличает представителя „партии“ в тайной субсидии от антихриста. Тот, в свою очередь, выражает сомнение в христовом происхождении средств „лиги“. Оба старичка начинают яростную полемику через головы слушателей. Но рабочая публика, так и не разобрав разницы между обеими организациями, зато посмеявшись вдоволь, оставляет врагов в одиночестве обливаться друг друга злобой.

Ровно за пять минут площадь неожиданно заполнилась народом. Жерла подземной дороги у самого Трафальгарсквера выдавливают наверх непрерывные потоки людей. Поезда центральных линий приходят сюда через одну минуту, поезда дальние, из рабочих районов, через каждые три минуты. Толпа густеет на глазах, она уже исчисляется тысячами—и у подножия Нельсоновой колонны, на гранитных ступенях между слоноподобными львами, делаются приготовления, чтобы начать митинг ровно в три.

Тихое воскресное движение Лондона начинает оживать во второй половине дня. Чаще забежали красные ленты автобусов, чаще рожки и звонки. С крыш бегущих вагонов публика, проносясь, с холодным любопытством разглядывает красные знамена, обвившие пьедестал



адмиральского памятника. Туристы из Национальной галереи высокомерно удивляются с балюстрады на добавочное зрелище, непредусмотренное Бедкером. Расшитые золотом и красками швейцары лучших лондонских отелей-дворцов напрягают с подъездов зрение на сквер. Возвышая голос над шумом самого большого города в мире, Сэм Эльсбюри читает резолюции, предшествующие, по английскому обычаю, речам. И море людей притихает, с волнением слушая коммунистические тезисы.

Вас удивила бы эта толпа, собравшаяся на коммунистический рабочий митинг. Если взглянуть отсюда, сверху, вскарабкавшись на постамент колонны, вы увидите тысячи корректно-выбранных лиц, хорошие фетровые шляпы, безукоризненно чистое белье, тщательно завязанные галстуки. Но иным нельзя себе представить английского рабочего, особенно в праздник. Иным не представляют себе человека все участники сегодняшнего митинга. И старый Том Манн, в черном костюме и тугой крахмальной манишке, протягивающий с платформы руки на радостные приветствия рабочих, был бы немыслим здесь в ином одеянии. Нужно опустить глаза ниже, остановить их на крепких плебейских руках с неотмытой с коротких пальцев копотью, чтобы опознать в „буржуях“ родных братьев наших пролетариев.

Только начал Том Манн, любимейший из рабочих ораторов, свою речь, только пустил в ход свое картинное рычание и кошачьи шаги на цыпочках, изображающие пантеру-Ллойд-Джорджа,—новое приятное событие прерывает митинг.

Откуда-то из-за угла появляется торжественная процессия. Пронзительные звуки марша и радостная толкотня кругом мешают разобраться в ней. Потом двумя кулисами раздвигаются людские шпалеры, в них вдвигается величественная рамка городских, а в рамке шествует



колонна пролетариев Поплара, крупнейшего рабочего квартала.

Начинается процессия со знамени, огромного полотнища, расписанного разными аллегориями, бережно несомого на особо удобных ручках тремя человеками. Потом движется оркестр, предшествуемый гигантского роста молодым парнем с голой шеей и в щегольском котелке. Дирижерская палочка у молодого капельмейстера заменена длиннейшим, в полтора человеческих роста, жезлом, украшенным лентами и золоченым набалдашником. Этой тростью юный руководитель вращает с упоением и невероятной ловкостью. Им очарованы и зрители, тревожащиеся за целостность котелка и дирижерской головы, и сам оркестр, составленный из флейт, кларнетов и барабана.

Колонна очень многочисленна сегодня. Редкое в Лондоне солнце способствует многолюдству. Попларские портные, многосемейные, как их коллеги во всех странах, вышли с полным составом потомства: один на руках у отца, один у матери, трое держатся за родительские штаны и шестой пропал в толпе... Землекопы с подземок, ростом не хуже отборных бобби-полицейских, независимо пыхтят на мир огромными трубками. Часовщики семяют между ними, как лилипуты у локтя Гулливера... Дойдя до сквера, колонна тает в общей массе, музыканты прячут флейты в карманы, энергичный дирижер, взобравшись на бассейн фонтана, превращается в жадного слушателя.

Толпа становится необъятной. В ней невозможно протолкаться. Только юркие английские пионеры—мальчики и девчонки с литературой шныряют где-то под ногами, продавая последний номер „Молодого Товарища“. Становится трудно слушать, и, по знаку председателя, несколько тысяч человек передвигаются вправо, где с другой платформы другой оратор-коммунист начинает параллельный митинг.



Какие лозунги и темы ближе всего английской рабочей аудитории? Ораторы говорят о всех важнейших проблемах момента. Широко и ярко освещается зловещая роль плана Дауэса, определяется отношение к предстоящим выборам, рабочей партии,—на все эти вопросы рабочие реагируют живо и дружно. Но что всегда, каждый раз, неизменно вызывает настоящий энтузиазм многочисленной толпы, многоголосое „heare“ (слушайте)—это всякое слово о Советском Союзе, об англо-советском договоре, об успехах советской страны. И всегда резкий зловещий гул—при упоминании о белом терроре, о притеснениях коммунистов в Германии, Польше, Ирландии. Тогда трубки вынимаются изо ртов, чтобы шире открыть путь рабочей глотке,—и сормович или путиловец, перенесенный сюда, в один миг узнал бы людей в мягких шляпах и крахмальных воротниках:

— Свои!

Том Манн и на соседней платформе Нат Воткинс кончают одновременно под крики и аплодисменты. Английской массе нужно выражение своих чувств. Старый Том делает знак—и заботливо прикрывается шляпой. Эта предосторожность очень кстати. Стремительный проливной дождь серебряных и медных монет в одну секунду заливает платформу<sup>1</sup>. Невозможно устоять под медным дождем; президиум временно покидает гранитную эстраду, над которой в течение шести минут свирепствует звонкий ливень. Потом приносятся чемоданы, в них упаковываются монеты. Не вездесущее волшебное золото Коминтерна, но медные пенни рабочих наполняют кассу английской компартии. Не детское ли безумие пытаться на медные деньги сделать революцию здесь, перед чудовищными по

<sup>1</sup> Денежные сборы запрещены на Трафальгар-сквере. Этот медный ливень—тоже своего рода демонстрация. (Прим. авт.)



роскоши подъездами мировых банков? Да, безумие... если революции делались бы на деньги.

Толпа требует:

— Кемпбелл! Кемпбелл! Гарри Политт!

Оба появляются и начинают говорить сразу с двух трибун. Толпа рада увидеть маленького шотландца, своего коммунистического редактора, ставшего трижды знаменитостью после падения Макдональдова кабинета. Но Кемпбелл не дает пищи для сенсации. Напрасно приготовили свои записные книжки дежурные репортеры понедельничных газет. Касаясь пресловутого „Campbell case“ (случай с Кемпбеллом), он определяет свою роль лишь как роль рядового революционного агитатора. И переходит к беспощадному анализу плана Дауэса, изящно намыленной петле для Германии.

Густеют сумерки, и гуще жметя многотысячная толпа вокруг трибун. Рядом, за сквером, в двух шагах, зажегся воскресный вечер богатого Лондона, в заколдованном тумане струятся его соблазны. Эта жужжащая суeta, это чудовищное мелькание света и музыка городского движения организованы до того сложного предела, когда могут казаться стихией. В темных небесах бегут огненные буквы, рождаясь из ничего, будто велением самого бога.

Язык бога краток, его скрижали сияют над Лондоном всезнанием и мудростью простоты:

„Читали вы изумительный „Анализ любви“ Марии Корелли сегодня в „Дейли Экспресс“?

„Принц Уэльский прибыл в Чикаго и вечером будет ужинать у мистера Форда на его автомобильном заводе!“

„Опыты министра воздушной обороны с новыми истребителями дали блестящий успех!“

В сумраке над тысячами голов, над Трафальгар-сквером извивается тонкая фигура Гарри Политта;



— Мы не допустим новой войны! Рабочий класс всего мира выступит против удушения трудящихся Германии!

Небеса знают и вещают свое:

„Шаляпин сегодня утром отплыл в Нью-Йорк, где будет получать по восемьсот фунтов за вечер. Он заявил, что лондонские портные лучшие в мире“.

„Либералы и консерваторы объединяются во многих избирательных округах...“

Кемпбелл кончил. В сумраке площадь и десять тысяч человек кажутся спокойным озером, подернутым зыбью. Но рабочая демонстрация дает о себе знать „Интернационалом“.

Здесь иначе поют нашу песню. Когда несется она с громовым лязгом литавров над красноармейскими полками по бескрайним равнинам советской части света, когда взлетает к сводам наших театров из сотни тысяч комсомольских грудей, замыкая рабочие праздники и парады,— в ней радостное русское упоение. В ней гордая уверенность победившего и знающего цену победе класса, в ней суверенное достоинство рабочих и мужиков, семь лет держащих власть в бывшей царской империи. Слова „это будет последний“... мы поем: „это есть наш последний...“— и разве не раз, в часы победы и новых успехов, привычные слова не баюкают: „это был наш последний“?

Здесь „Интернационал“ отрывист, суров, его темп короткий и тяжел: пехота на долгом переходе. Тревогой и верой звучит гимн здесь, в гранитной расщелине квартала крупнейшей буржуазии. Какими таранами надо расшибить эти твердыни? Таранам—время не пришло. Но сверлами буравят непрестанно, настойчиво рабочий класс и коммунистическая партия Англии недвижные стены темницы.



**Т**ЕМПЕРАТУРА упала, лихорадка прекратилась, злокачественные красные сыпи исчезают, спасенный больной, счастливый Джон-Буль, просыпается после тяжелого сна весь в обильном поту, под уютной тухлой периной консервативных газет.

Трубный глас над коттеджами и садами британского острова.

Четыреста с хвостиком мест у консерваторов в нижней палате—дремли спокойно у камина, сладостно помешивай щипцами золотые угли, старый Джон-Буль!

Пресса Макдональда метала громы и молнии, плакаты с изображением прожорливой гидры реакции красовались на первых страницах газет, и даже газета Ллойд-Джорджа от огорчения, зависти и злости вышла с аншлагом: „Реакция овладевает страной“. Скажите, какие новые радикалы!

Кто победил? В тесном ли смысле только отъявленная политическая реакция витала над избирательными урнами? Она ли призвала к власти Болдуина с Керзоном?

Не только она.

Победила еще шкура. Она, голубушка, помогла сформировать новый кабинет.

Опытные политические метеорологи, какие водятся в любом английском доме любого социального уровня, деловито поводя носом для определения погоды, делали точные цифровые предсказания результатов выборов. Все пророки, и правые, и левые, грубо просчитались.



Но в одном пророки единодушны, и в этом они правы—женщины решают исход выборов.

Во время войны были произведены хваленые избирательные реформы в Англии. Все совершеннолетние женщины были наделены активными и пассивными избирательными правами. Буржуазия от этого только выиграла. В самом парламенте женщин—столовая ложка, зато за охрану „устоев“ женщины голосуют усерднее и упорнее мужчин.

Женщина—трогательный кумир английского буржуазного обывательского быта, его белокурый, синеглазый ангел-хранитель, ежедневно воспеваемый благоговейными хорами по всей стране. И не напрасно вдыхает ангел почтительные благовония. С легкостью битюга, с благодушием разъяренного бульдога, с нежностью каменной скифской бабы тащит кверху ангел, охраняет старые британские устои, сберегает в целости драгоценные шкуру и потроха.

„Потребительская психология“—обидное словечко, иногда незаслуженно применяемое у нас,—как к месту оно здесь, в Лондоне, где ненасытный, прожорливый молох в образе миллиона разодетых женщин ежедневным стремительным потоком заливает через край улицы, магазины, рестораны! Молодая—в юбке до колен, молодящаяся—в юбке выше колен, старая—с величием и заносчивостью отставного фаворита Екатерины—они затирают, заталкивают скромного, торопливого, озабоченного мужчину. Переполюют магазины, доводят до морской болезни приказчиков, пожирают Монбланы шелков, парфюмерии, обуви, роскошных безделушек, всякой утвари. Владычествуют в кафе, критически слушают оркестры, делают карьеры шоколадным фабрикантам, кино-актерам, изобретателям новой сапожной мази, нового крема для лица и для кастрюль, бульварным романистам, адвокатам, полярным



путешественникам, сыщикам, мозольным операторам. Бродят до одури, с блестящими глазами, с лихорадкой на щеках по автомобильной выставке в Олимпии, прицениваясь к машинам, сладостно примеряясь на кожаных подушках, томительно сжимая руки запуганным мужьям. Это они, законодатели потребления, караулят полную чашу зажиточного английского дома, они дают, искореняют—властно искореняют, топят все, что может хоть на волос затонуть, взболтать отстоявшееся после войны благополучие.

Мужчина покорен этому. После прилива храбрости и инициативы в боях с немцами, он развинченно-пассивен в домашнем быту. Его самого в наступившей за громом пушек тишине раздражает всякий шум, всякое потрясение, всякая возможность потрясения. Жена права—надо голосовать за тех, кто подлинно охраняет старый домашний очаг от всяческих экспериментов. Макдональд извивается ужом, но ему нельзя верить. Либералы сами не знают, чего хотят. Семья поддержит консерваторов—они сэберегут буржуазные нервы от новых волнений.

Только ли буржуазные? Рабочая аристократия изнежила нервы подчас больше своих хозяев. Несомненно, она в значительной части голосовала сейчас за консерваторов.

Миссис Тэйлор приходит каждый день убирать в дом, где я живу. Энергичная старуха; пока с подоткнутым подолом подметает полы и моет окна, она кажется ничем не хуже наших уборщиц. Но только кончила работу—уже на лице выражение впавшего в немилость графа Зубова. Меня признала бы де-юре, но презирает за два тяжких греха: бреюсь только через день и не пью чай до обеда, как вся Англия. Муж—монтер с хорошим окладом в электрическом обществе. Вдвоем обладают домиком: два этажа, гардины, розы в подстриженном садике, начищенный до боли в глазах медный звонок.



— Миссис Тэйлор, как вы голосуете?

— На этот раз мы с мужем подадим за консерваторов.

— Миссис Тэйлор, но ведь вы раньше голосовали за рабочую партию?

Миссис смотрит сверху вниз и ясным, простым, полным достоинства, исчерпывающим ответом погашает мой наивный вопрос:

— Нам с мужем сказали, что теперь наверняка будут консерваторы. Мы с мужем всегда голосуем за тех, чье правительство будет наверняка.

Отчего супруги Тэйлор из домика с гардинами голосуют за правительство, которое будет наверняка? Что это дает? Да просто мистер Тэйлор со сносным окладом хочет жить в мире с очередным будущим правительством, которое охранит администрацию электрического общества. Пусть будут благословенны ее, администрации, долгие дни—ведь мистер Тэйлор всегда живет с администрацией в еще большем мире, чем с правительством... Мистер Тэйлор не подводил свою администрацию и когда голосовали за Макдональда и Томаса. Названные джентльмены стократно поручились, что не тронут волоса на голове администрации, пенса в ее кассе, и ведь сдержали обещание блестяще.

И состоятельный рабочий, и мещанин-чиновник, и их хозяева не хотят сейчас никаких потрясений. Ради бога, потише, соблюдайте тишину!

Лишь бы водворилась тишина, лишь бы ничто не угрожало осенним распродажам в универсальных магазинах, лишь бы перестали пугать жупелами, красными заговорами, подкопами и, не к ночи будь сказано, письмами Коминтерна.

Письмо Зиновьева—действительно, восьмое чудо света. Комедия с ним лучше определяет английскую цивилизацию,



чем причинившая пятьдесят миллионов рублей убытка имперская выставка в Вимблей.

Перед выборами 1924 года русский в Лондоне не скушал. Газеты хором твердили ему о его родине.

За большие деньги редакции скупили, где могли, старые и новые портреты председателя Коминтерна и изо дня в день открывали ими номера газет и журналов.

Фотографии Зиновьева плохо служили поставленной цели. Пущены в ход художники—и на завтра со столбцов уже смотрит свирепо начерченная карандашом физиономия мрачного, кровожадного убийцы казацкого стиля.

О самом Зиновьеве я узнал в эти дни ряд новых, странных и жутких вещей.

Например, оказывается, „в 1920 году Зиновьев переехал в Галицию, чтобы быть ближе к России“. Зачем ему было ехать „поближе к России“, если он уже три года в ней жил?.. Малость перепутали хронологию.

Или: „в 1913 г. Зиновьев, не прекращая дружбы с Лениным, вступает в русскую социал-демократическую партию так называемых кадет“.

Это „так называемых кадет“ красовалось в крупнейшей газете с миллионным тиражем.

Красный заговор! Его щупальцы охватили уже всю Англию. Они тянутся по улицам, проникают в несгораемые шкафы, вырывают кусок ростбифа изо рта миссис Тэйлор и чековую книжку у хозяина ее мужа. Крадутся в школу, церковь, заставляют цепенеть язык пасторов и учителей. Они разбирают железнодорожные пути, устраивают крушения поездов, топят пароходы...

Откуда письмо? Что за письмо? Как попало сюда? Все газеты без всяких возражений напечатали ноты протеста Раковского, изоблачавшие обман. Но тут же, рядом, как ни в чем не бывало, густо шли узоры на все той же канве.



В той же Англии в другое время подобные истории могли бы появиться разве в органе Бедлама, знаменитого лондонского сумасшедшего дома.

„Наш специальный корреспондент сообщает из особо важных и секретных источников сведения о путешествии письма Зиновьева из России. Шпион дружественного нам государства пробрался в Москве в кабинет Зиновьева и, и не успев (!) захватить письма, успел (!! ) сфотографировать его. Снимок был передан через ряд посредников в британский генеральный штаб, откуда был разослан в копиях видным офицером начальникам частей для руководства. Жена одного из офицеров, сочувствующая консервативной партии, увидела в делах мужа снимок с письма и передала его в редакцию „Дейли Мейль“, которая поделилась с министерством иностранных дел“.

Как видите, добродетельная консервативная жена принимает участие во всех похождениях охраны.

Слухи, версии, намеки, страшные догадки, мистические красные тени—они свели с ума спокойный британский остров. Картину самого большого в мире города в дни „красного заговора“, вернее, в дни предвыборной кампании антисоциалистов—это вы найдете у Гоголя:

„Слухи о необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма... Нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского ассессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто находился в магазине Юнкера—и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была вступить даже полиция. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами...



нарочно наделал прекрасных деревянных прочных скамеек, на которых приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя... Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева... Одна знатная почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей“.

Объяснение наставительное и назидательное дают публике по три раза в день консервативные лидеры, их плакаты, листки. Если хочешь обрести спокойствие, спасти нос, уберечься от московских интриг—голосуй за унионистов, дай Болдуину образовать твердую, спокойную власть.

Пусть Артур Понсонби протестовал в газетах против грубого подлога Форейн-оффис: „Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как могут в наш просвещенный век распространяться нелепые выдумки“. Трезвые голоса не убеждали. Английской цивилизованной демократии в одну неделю была привита жирная бактерия идиотизма. Ей сопутствовал пока худосочный, но подающий большие надежды вибрион благовоспитанного черносотенства. И флегматичный, рассудительный мистер Тэйлор закружился в мистическом водовороте московских тайн, грубые базарные фокусы охраны приняв за красную магию и чертовщину.

„Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом—решительно неизвестно“.

Отчего же неизвестно? Потом—ошалелый от страха, затюканный газетами и окриками, английский обыватель, как бык на бойню, пошел к урнам, оперся там на заботливо предложенную руку Черчилля и Биркенхеда.



И на другое утро после выборов красные заговоры сразу съжились. Дьявол оказался резиновым, надувным чертенком. По миновании надобности чертенок с жалким писком упал под стол. Сами консерваторы говорят о „письме“ с усмешкой. В театре прохаживаются по адресу газетных фабрикантов предвыборных уток. Солидные англичане, инквизиторски допрашивавшие меня, могут ли я ручаться за подложность письма, ныне избегают этой темы. А майор Ковалев—невежественный и глупый, несмотря на многовековую культуру, обыватель—недоуменно озирается: что же собственно произошло?

— „А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик?—сказал он, и между тем думал: „Вот беда, как Иван скажет: „Да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет“.

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый“.

Архиепископ Кентерберийский, высший духовный чин Англии, произнес в переполненном соборе проповедь. Что это была за проповедь! Спирает дух, и слезы щеко-чут горло при одном только представлении о величавых и трогательных минутах, пережитых слушателями.

Слезы не щекотали горло. Слезы вышли наружу. Слезы жемчужинами скатывались из широко открытых глаз на прохладные женские груди. Из-под моноклей—на полированный мрамор манишек. Путались с бриллиантовыми булавками в галстуках. Капали на плиты Вестминстерского аббатства. Архиепископ кончил, паства высморкалась, осторожно, высоко подымая юбки, вползла в шелковые коробки автомобилей и, потрясенная, спешно разъехалась по своим трехэтажным хижинам, в вечно зеленые парки западного Лондона.



О чем говорил архиепископ проникновенно и страстно, добираясь желудочным зондом — силой догматов — до самых потрохов смиренных мирян?

Его высокопреосвященство говорило о самоограничении. О скромности и воздержании говорил архиепископ.

Архиепископ требовал от каждого верующего англичанина всяческой суровости в образе жизни, скромности в расходах и даже в доходах. Настаивал на со- и прекращении излишеств, на переходе к малым потребностям, на укрощении плоти и ее греховных запросов.

Ваше преосвященство! До чего это мило! Святой Антоний и Симеон Столпник смотрят на вас с высоты египетских пирамид! Наши советские святые Сергей Радонежский и Александр Невский шлют вам товарищеский привет и пожелание успехов! Умно, благочестиво, ей-богу... Фу, чорт подери, — и слов не нахожу!

Как сообщают великосветские лондонские журналы, проповедь британского архиепископа о воздержании и самоограничении уже послужила толчком к первому ряду событий. Для экономии мануфактуры отменена намечавшаяся была новая мода на длинные платья и оставлена в силе старая — с минимумом сокрытия и максимумом выдвижения претендующих на общественное внимание частей тела. В порядке курса на аскетизм пущено в ход черное шелковое белье. Миллионер, парфюмерный фабрикант Аткинсон, обуянный особой бережливостью, ежедневно посылает на аэроплане кухарку на рынок в южные округа, где картофель на полтора пенса дешевле. Примеры еще большей скупости ежедневно украшают газеты.

Мало того. Воззвание архиепископа о самоограничении и бережливости опубликовано вкупе с подписями ряда министров. И министры — слушайте, слушайте! — предлагают в ближайшие дни во всеуслышание отказаться от



десяти процентов своего жалованья. И этим подать пример. Так сказать, „кто следующий?“

И-да... Кто следующий? Вот именно.

Ваше высокопреосвященство! Кто же следующий, как по-вашему?

Вы молчите?

Вы молчите, архиепископ? Но отчего же? Ваше молчание смущает. Оно тревожит. Будоражит! Возмущает?!

Ерунда и лицемерие—этот отказ министров-капиталистов от десяти процентов своего казенного жалованья. Каждый из министров мог бы и готов приплатить государству огромную сумму из своих фабрикантских и банковских барышей только за то, чтобы сохранить в своих руках портфель, дающий столько преимуществ, связей и ходов к новому обогащению. Но дешевая десятипроцентная демонстрация явилась сигналом к резкому жестокому сокращению заработной платы в целом ряде отраслей английской промышленности. Рабочие догадливы. Известие о „самоограничении“ богачей-министров они сразу встретили как удар по себе.

Знало ли об этом его высокопреосвященство? Ведомо было ему, что оно, преосвященство, открывает новую кампанию удушения рабочих и их семей? Конечно, архиепископ ведет всю Англию, без различия классов, прямо на небо. Но можно дать свою шляпу на заклад, что попечениями духовного отца десять миллионов британских рабочих окажутся на небе гораздо скорее, чем десять министров-капиталистов. По той простой причине, что на небе, как говорят, ни жрать, ни пить не дают.

.....

Четырнадцатого мая палата лордов была полна, тиха и величественна, как четыреста лет тому назад. Пэры в мантиях и париках, вооруженные всей мудростью



лучших мужей великой Британии, обсуждали государственные дела.

В этот знаменательный день в палате лордов разбирался сложный вопрос: является ли блоха животным. Разрази меня гром, если я вру! Заодно пусть гром разразит редакторов „Таймса“, „Манчестер Гардиен“ и прочих крупных английских газет, поместивших пространные отчеты о заседании.

Обсуждался законопроект о животных, которых обучают разным трюкам и фокусам, и об их защите. В прениях по этому законопроекту и возникла проблема о блохе.

Почтеннейший виконт Ульсватер заявил, что ему было бы желательно знать, подходят ли насекомые под понятие „животные“. Хотя он, виконт, лично не занимается дрессировкой блох, но его весьма интересуют вопросы блошиной охраны труда. Если, например, тренировщик не дает блохе ее естественную пищу,—есть ли это нарушение закона? Ведь нормальной, естественной пищей для блох является человеческое мясо. Будет ли рассматриваться лишение блохи этой пищи как жестокое обращение с животным? Тут возможны серьезные сомнения, так как слово „животное“ научно не вполне определено.

Так сказал виконт Ульсватер и походкой, отражающей величие двадцати двух поколений его предков, вернулся с трибуны к своему креслу. А хроникеры, парламентские корреспонденты, стенографисты с профессиональной лихорадочностью бросились записывать речь следующего оратора.

Лорд Десборо, представитель министерства внутренних дел, ответил, что слово „животное“ охватывает птиц, млекопитающих, пресмыкающихся и рыб. Он очень сожалеет, что блохи не подходят под эту рубрику.

Затем выступил пресвятейший архиепископ Кентерберийский. Его преосвященству был неясен другой вопрос.



Его преосвященство заявило, что является владельцем собаки, которую оно лично выдрессировало. Подходит ли архиепископ под рубрику нарушителей нового закона и подлежит ли он наказанию? Из уважения к архиепископу его вопрос был оставлен без ответа, как не относящийся к существу спора о блохе.

После архиепископа опять взял себе слово виконт Ульсватер. Он надеется, что благородный лорд, представивший законопроект (лорд Денсфорт), прежде чем сделать доклад, подумает, не следует ли включить в законопроект упоминание о насекомых. Ведь насекомое не есть ни птица, ни рыба, ни пресмыкающееся!

В ответной реплике лорд Денсфорт сказал, что до выступления Виконта Ульсватера он полностью не представлял себе всей важности этого вопроса. Но теперь он примет это во внимание.

Лорд Денсборо (от министерства внутренних дел) прибавил, что был бы рад, если бы его внимание гораздо раньше было привлечено блохами. (Смех.)

И затем законопроект, с поправкой о блохах, был принят палатой лордов.

Приведенные прения показывают, как далеко зашла цивилизация в западных странах. Отныне в культурной Англии ни одна блоха не может быть ограничена в своих естественных блошиных правах! В Англии очень распространены представления с дрессированными блохами. И честная блоха-артист не может быть обижена своим дрессировщиком.

Жаль, что, ознакомившись с правовым положением блох в Великобритании, палата лордов, кстати, хоть на минуту не остановилась на людях. Кстати—потому, что в тот же самый день, когда блохи с птицами получили равноправие, в Лондоне, в палате общин, разбирался вопрос о работных домах.



Работный дом в Англии—та же тюрьма, только под другим названием. Если хотите, это—„исправдом“. Но в него сажают не за преступления. Туда помещают всех безработных, не имеющих крова и бродяжничающих. По отзывам побывавших в этих домах, там даже хуже, чем в тюрьме. В тюрьме меньше издеваются и мучают.

В нижней палате был сделан запрос о недопустимом режиме в работных домах. В частности о знаменитом трепании пеньки. Обитателей работных домов заставляют расщипывать старые морские канаты на пеньку. Невыносимая пытка. После часа этой работы начинают мучительно болеть пальцы. После двух дней пальцы изрезаны и искалечены на очень долгое время. Расщипывание канатов долгое время применялось как наказание во флоте и в тюрьмах, но было запрещено. И теперь оно воскресло в учреждениях британского социального обеспечения!

Когда министру здравоохранения мистеру Невиллю Чемберлену было в палате сделано указание о недопустимости трепания пеньки, он нимало не смутился и заявил:

— Трепание пеньки будет вскоре прекращено в работных домах. Но не потому, что оно вредно для безработных, а потому, что оно малопродуктивно и дает мало дохода администрации домов.

Жаль, конечно, что английские безработные не попали вместе с блохами под действие закона об охране животных. Вот повезло бы им! По-моему, следовало бы все-таки английской рабочей партии повести кампанию за уравнение в правах рабочих с блохами. Ведь это вполне в духе „конструктивного социализма“ Рамзея Макдональда.

В песенке поется: „Джон Грей был всех милее. Джон Грей был всех смелее“.



На это мы возразили бы.

Мы голосуем за другого Джона. За Джона Бара.

Если могут возникнуть споры при сравнении смелости обоих Джонов, то уж во всяком случае неоспоримо, что Джон Бар милее Джона Грея, да и вообще один из самых милых людей на свете.

Стоит ли описывать внешность Джона Бара, цвет его волос, галстука, носков и чековой книжки? Стоит ли передавать своими словами лепет его младшего сына, тембр рожка его автомобиля, описывать вид из верхней спальни его загородного коттеджа, сложные комбинации его последней партии в покер, называть фирму, чьей мазью Джон Бар натирал лодыжку, ушибленную в прошлом году при игре в гольф?

Не будем вдаваться в подробности. Имя Джона Бара дорого и мило нам совсем по другим, ярчайшим признакам.

Джон Бар—слушайте, слушайте!..

Джон Бар—первый—слушайте!

Джон Бар—первый капиталист, выступивший открыто и мужественно, с поднятым забралом, на защиту рабочего класса и его интересов, за охрану труда пролетариата.

Если вы не верите, дело ваше. Но Джон Бар, председатель английского союза предпринимателей, директор судостроительной фирмы Фикерс, действительно, в точно установленное время, 27 марта этого года, не на планете Марс, не в фантастической фильме, не в сумасшедшем доме, даже не в шутку, в публичной обстановке, в присутствии рабочих представителей высказался за немедленное повышение заработной платы на судостроительных заводах и за введение 48-часовой работы в неделю...

И слова эти были отчетливо слышны по всему залу, и их записали хроникеры, и они появились наутро в



газетах, и Джон Бар не прислал опровержения. Даже, наоборот, прочтя в газетах свои слова, покачал головой, удовлетворенно улыбнулся и, с бодростью человека, плодотворно начавшего свой рабочий день, взялся за вторую чашку кофе, за ветчину с яйцами и горчицей.

Мы опустили занавес. В виду скудости типографской техники, занавес заменен точками. Читатель понимает.

Что же произошло дальше там, за занавесом?

Бурные овации рабочих?

Джона Бара выносят на руках под звуки революционных гимнов?

Компаньоны Джона объявляют его ненормальным, отстраняют от дел и сажают в темницу?

Бар находит свое последнее убежище в хижине старого бондаря, клепавшего бочки на верфях Фикерса?

Н-да, как вам сказать...

Впрочем, вернем занавес в исходное положение.

Джон Бар действительно требовал повышения заработной платы.

И не для кого-нибудь, а для рабочих.

Не для каких-нибудь, а для судостроительных.

Но далеко не для рабочих своей фирмы, не для верфей Фикерса.

И вообще не для английских рабочих. За германских и голландских рабочих распинаялся Фикерс!

Ну, уж это придирки,—вступится читатель: у пролетария нет отечества. Германских, так германских. Спасибо и за то. Видно, впрямь порядочный человек этот Бар, если хоть за чужих рабочих вступился.



Интересно, все-таки, почему милейший, смелейший Джон Бар ринулся на охрану немецкого восьмичасового рабочего дня.

На это дадим маленькую справку, но уж чур, пожалуйста, не сердиться на милягу Джона Бара.

Английское правительство, военное министерство, сдало свой очередной огромный заказ на постройку больших морских судов не английским заводам, а немецким, гамбургским.

Почему заказы сданы немцам? Потому, что английские заводские цены оказались гораздо выше немецких.

От английских капиталистов ускользнул крупный кусок. Германская промышленность, путем усиленной эксплуатации рабочих, снижая цены, продолжает потихоньку захватывать такие куски у других стран. Джон Бар ничего не может поделать, чтобы снизить свои цены, сделать их хотя бы равными немецким ценам. Его положение безвыходно.

Если нельзя снизить свои цены, может быть, можно как-нибудь повысить цены конкурента. Но как?

Джон Бар чувствует себя получившим пробоину, погружающимся на дно. Что, если в германских низких ценах потонут он сам, коттедж, чековая книжка и площадка для гольфа?!

И вот—последняя спасительная соломинка. Надо удорожить рабочую силу в Германии. Идея! Правильно! Гип, гип, ура!..

Когда Джон Бар находит путь, он энергичен. Хорошая английская коммерческая школа. Бар не просто разглагольствовал на митинге об улучшении положения немецких рабочих. Как сообщают телеграммы, Бар решил нажать на свое английское правительство, чтобы оно, в свою очередь, нажало на правительство немецкое: дать немецким рабочим восьмичасовой день и высокие расценки.



А английские рабочие? Как с ними, мистер Бар?

Молчит. Впрочем, что же это мы. Милейший человек, а мы его пустяками донимаем.

. . . . .

Некогда английский Герострат, желая прославиться и спасти отечество от заразы парламентаризма, взялся взорвать палату общин. Но стража, обходя с факелами погреба Вестминстера, нашла бочки с порохом. Виновный был наказан, и парламент спасен. Отсюда тысяча первая традиция. Ежегодно—уже которую сотню лет—парламентская охрана ходит осматривать погреба. И все с факелами, хотя погреба отлично освещены электричеством. А мальчишки всей Англии сегодня, в памятный день, сжигают фейерверки и чучело преступника.

В последние годы обычай неожиданно получил прибавление. Желтая консервативная пресса внушила детям сжигать изображения большевиков. Вот, так сказать, Геростраты сего дня.

Вечером на тротуаре из белесого туманного киселя вынырнул мальчуган, разукрашенный перьями и бумажным колпаком, с нарисованными углем усами; с обычной уверенной смелостью английских детей дергает за рукав. Ему не хватает пенса на ракету. Он уже приготовил к сожжению удручающего вида красного русского медведя из тряпок и соломы, почему-то тоже с усами. Но какое торжество может быть без ракеты! Он и обращается ко мне, с полным достоинством, за финансовой поддержкой.

Я чуть было не дал пенни на собственное сожжение. Мальчик оборван, сапожки худые, лицо пролетарское, худенькое, полуголодное.

Но глаза горят, тельце не чувствует сырого лондонского холода, а все упруго напряжено в предвкушении воинственной забавы.



Маленький английский комсомол уже давно начал работу и ведет ее пока понемногу, под воротами заводов, на перекрестках рабочих кварталов, в крошечных кружках. Ведет ее смело, упрямо, с молодым пылом и английской методичностью, все сильнее, шире. Он скоро доберется до тебя, яростный сжигатель чучел. Ты будешь с ним, малыш,—и опрокинешь тяжелый истукан надменной цивилизованной косности, охраняющей угнетение в твоей стране!

1925



**МНЕ СКАЗАЛИ:**

— В среду в Лондоне, в парламенте будет решаться судьба правительства Макдональда. Хорошо бы посмотреть и описать это представление. Сегодня суббота, и мы в Москве. Вы успеете.

— Как сказать...

В воскресенье наш воздушный транспорт отдыхает. Только в понедельник утром летчик Шибанов повез меня к Макдональду. Было жарко в кабине, над Смоленском я кончил газету, над Латвией дочитал книгу и закусил, над Литвой вздремнул, а в сумерках попрощался с летчиком на кенигсбергском аэродроме.

— Еще полчаса, и мы застряли бы из-за темноты в Ковно. Ваше счастье! Катите дальше.

Второй риск предвиделся в Берлине. Ночной поезд из Кенигсберга прибывает в половине восьмого. А в восемь двадцать уходит голландский экспресс. За это время надо купить билет и уладить кое-какие формальности.

Берлин не подвел. Пятьдесят минут волнений, и опять все в порядке. Мимо окон бежали Ганновер, Оснабрюк, Аахен. Глаза слипались. Сутки езды утомили здесь больше, чем неделя в русских вагонах.

На голландской границе встретили туман и слякоть. Замелькали непонятные личности в форменных фуражках. То ли кондуктора, то ли полицейские. Дождь бил в стекла, как в бубен.



В полночь поезд вкатился на каменный мол. Погода совсем испортилась. Через таможеню и контроль вышли на сходни и на палубу парохода. Матрос объяснял по-английски шикарной даме, что Ламанш разгулялся и возможно опоздание.

Всю ночь качало, как в аду. У трех пассажиров сорвало шляпы. Двое раскатились и распластались на мокрой палубе. Спать нельзя было: будили толчки и обида запоздать.

В Гарвиче на заре, на пустом вокзале одинокий джентльмен вымачивал обвислые усы в стакане сода-виски. Поезд ушел час назад, а следующий—в одиннадцать. В половине же второго в Лондоне, в министерстве иностранных дел, прекращают выдачу пропусков на заседание палаты. Пропал Макдональд, пропал Черчилль! И я не смогу рассказать Дени с Ефимовым, верно ли они рисуют Ллойд-Джорджа.

Но судьба снисходительна к настойчивым людям. В час тридцать я мчался с Ливерпульского вокзала в министерство иностранных дел. В час сорок пять вскочил в старинный подъезд Форейн-офис. Взбежал по мраморным ступеням. Чиновник, ведающий журналистами, замешкался в комнате. И я вырвал у него пропуск в палату!

Еще десять минут проталкивания через потоки машин и людей,—закопченные своды Вестминстерского аббатства. У входной арки—толпа чающих попасть внутрь или хотя бы узнать новости из зала. Я-то пройду! У меня—пропуск! Я не зря примчался сюда через всю Европу!

Монументальный бобби-полисмэн пропустил вверх и даже прикоснулся перчаткой к козырьку. Но наверху...

Наверху высокий, тощий старикашка в туфлях, белых чулках, старинном камзоле и с какими-то программками в руках, точь-в-точь капельдинер из оперы, зашипел на меня и стал гнать вниз по лестнице.



— Но у меня пропуск!

— Вы, сэр, запоздали. Я вас не пушу. Приходите в пять часов, тогда будет перерыв, и вы пройдете.

— Но я позавчера был еще в Москве! Я летел сюда на аэроплане, на поезде, на пароходе! Я не спал две ночи! У меня билет! Я требую!

Старичок язвительно посмотрел сверху вниз.

— У вас там, в Москве, нет парламента, и вы не знаете, что это такое. Парламенту не интересно, что вы спешили. Если вы стукнете дверью, вы помешаете парламенту заниматься. Сейчас говорит сэр Роберт Хорн. Никто в мире, кроме членов палаты, не смеет ему мешать!

Он помолчал и разместил бледные губы в форму улыбки. Настоящий англичанин, решил в виде премии сострить:

— Если вы так быстро разъезжаете,—отправляйтесь в Москву на файф-о-клок и возвращайтесь сюда к вечернему заседанию.

После этого немедленно повернулся ко мне тыловыми фалдами камзола и погрузил меня в ничтожество ледяным взглядом своей спины... Лететь из Москвы через сотни препятствий, попасть во-время и остаться за дверьми из-за такого глупого старикашки! Какая досада! Чорт бы его подрал!

Я все-таки перехитрил тогда, полтора года назад, старого служителя британского парламента. Когда он отвернулся, я проскользнул в зал и торжествовал победу. Я успел захватить сэра Роберта Хорна. Я спокойно слушал, как Макдональд усердно доказывал, что он—первейший враг коммунизма, что он вне подозрений насчет любви к отечеству. Я больше не боялся старикашки, я знал, что он не посмеет меня вытащить назад! Потому, что нельзя шуметь! Нельзя мешать парламенту заниматься! Никто в мире, кроме членов палаты, не смеет мешать! Ну-ка, попробуй, поганый старикашка, стукнуть



дверью. Я первый прогоню тебя, покажу на тебя пальцем: вот кто мешает парламенту заниматься! Вот кто ниспровергает древнюю конституцию Великой Британии!

...Я совсем забыл о кознях старикашки против меня, И вот, через два года—он опять всплыл.

Забастовали!

Вы думаете—кто?

Углекопы? Грузчики? Железнодорожники? Печатники? Шофера? Текстильщики?

Да, все они.

Но кроме них—мой старикашка и его товарищи. Все служителя в английском парламенте.

Забастовали до того, что оставили палату даже без света. С одним, как говорится, воздухом.

И никто не сторожит сейчас у дверей. И парламент что-то такое разглагольствует промеж себя в темноте.

Старикашка! Вы ли? Что вы делаете?! Вы против парламента? Разве вы не знаете, что это такое? Ведь парламенту ничто не должно мешать заниматься! Ведь никто в мире, кроме членов палаты, не смеет мешать. А вы? Вы сняли камзол и занимаетесь спортом в забастовочные дни, по приказу профсоюзов?

Пока боролась против нужды и угнетения молодая рабочая Британия—это было одно. Но вот в числе драки уже и „старая, добрая, честная Англия“, эта послушная хозяевам, старомодная, скупая, добродетельно-ханжеская, чинопочитательная стихия. Это—уже другое. Это—ново. Это—заставляет задуматься. Кой-кого—очень встревожиться, кой-кого—мудро улыбнуться.

Жалею старикашку, если его только сшибла волна, Дарую ему амнистию, прощаю горькую обиду, поздравляю, если он, старикашка, сам, по своей воле, на старости лет поплыл против течения.

.....



Очень тонкая штука—диалектический материализм. И всякая иная диалектика. Сразу ее не возьмешь, на зуб не положишь. Чтобы понять, а главное овладеть, годы нужны. Да и то сказать—не всякий ученый может диалектикой вращать, как это требуется. Образование нужно. Цитаты, сноровка, да и просто ум.

Если же вы лицо, обладающее некоторой властью над людьми и аппаратом,—тогда дело другое. Вот вы, скажем, министр, или летите к полюсу, или председатель жилтоварищества. Или редактор. Или первый любовник в губернской драмтруппе. Тогда вам диалектике долго учиться не надо. Могу вам предложить специальную, мною изобретенную, усовершенствованную, патентованную складную карманную диалектику на всякий случай жизни. Легка, проста, удобна! Незаменима для дома и в путешествии.

Занимая какой-нибудь пост и пожелав применять к подчиненным или зависящим от вас лицам диалектику, запомните всего только два коротких выражения:

1) Мало ли что.

2) Тем более.

Автоматически чередуя в разговоре оба выражения, вы добьетесь блестящего результата. Ваш (зависящий от вас) собеседник не сможет ничего вам возразить, а вы немедленно приобретете репутацию умного, рассудительного и твердого человека.

Вот пример. Вы во главе предприятия. К вам приходит представитель рабочих.

— Надо бы жалованьишко уплатить...

— Мало ли что.

— За два месяца зарплата причитается!

— Тем более.

— И по соцстраху задолженность.

— Мало ли что!



- Но ведь вы же как-никак администрация...
- Тем более.
- Рабочие требуют!
- Мало ли что.
- Мы их никак уговорить не можем.
- Тем более.
- Легковой автомобиль все-таки купили!
- Мало ли что.
- А еще режим экономии называется!
- Тем более.
- Мы в союз пожалуемся!
- Мало ли что.
- В городе узнают—скандал будет!
- Тем более.

...Поупражняйтесь, попробуйте. И всегда зависящий от вас собеседник будет угрем извиваться, выскребая из опустошенных закоулков головы последние доводы и аргументы. А вы, спокойный, твердый, ясный, как ясочка свежий, будете подобно автоматическому станку подавать свои несокрушимые стандартизованные ответы, пока ваш противник в страхе не побежит от вас, неся неисчислимые потери. Или... пока он не размахнется и не...

Карманная диалектика изобретена мною давно. Опыты в лабораторном масштабе давали отличные результаты. Но пустить свое изобретение во всеобщее пользование я решаюсь только сейчас, после испытания его за границей.

Что происходит в Англии в дни этой прекрасной весенней стихийной пятимиллионной забастовки?

Правительство взывает:

— Это революция! Это почти гражданская война!

Либералы и правые социалисты успокаивают:

— Никакая не революция. Так себе, экономическая забастовочка. Неприятный случай.



Коммунисты и рабочие говорят:

— Еще не революция, но уже не случай. А серьезное столкновение классов и проба разных вещей.

Проба. В старой Англии решили заново перепробовать и проверить разные признанные ценности. А заодно испытывается и моя диалектика.

Английская буржуазия усмотрела в забастовке „посягательство на свободу и конституцию“. Прекрасные голубые глаза Болдуина затуманились слезами. И защитник британских свобод торопливо вытащил из жилетного кармана складную диалектику.

Пробуют шахтеры спросить у правительства:

— Вот вы за свободу. А почему же неприкосновенного депутата-коммуниста сделали прикосновенным и арестовали?

На это премьер-министр задумчиво гладит бритый подбородок и отвечает спокойным басом:

— Мало ли что.

— Вы объявили чрезвычайное положение, но ведь этим аннулированы все права парламента!

— Тем более.

— Вы защищаете священное право собственности, а во время забастовки применяете реквизиции, заградилочки, отымаете земли, строения, материалы!

— Мало ли что.

— Вы всегда негодуете на советский монопольный Внешторг, а когда с рабочими бороться—министр торговли закрывает порты, запрещает вывоз товаров.

— Тем более.

— Вы предписали почте не принимать рабочих телеграмм!

— Мало ли что.

— Вы говорили, что не участвуете в борьбе классов, а приготовили против них самолеты с бомбами, вызвали линейные корабли с пушками!



— Тем более.

— Вы охраняете „свободу слова“ реакционных газет, и в то же время разгоняете рабочие митинги!

— Мало ли что.

— Вы играете роль примирителей, а на самом деле разжигаете и провоцируете кровопролитие!

— Тем более.

Так долго и безысходно могли бы разговаривать английские рабочие с королевским правительством. Долго морщили бы они закопченные лбы, стараясь задать вопрос позаковыристее. А правительство, кокетливо рассматривая полированные ногти, чередовало бы с холодной, знаменитой английской ледяной вежливостью аккуратные ответы:

— Мало ли что... Тем более... Мало ли что...

К счастью для себя, рабочий класс Англии попытался прекратить разговоры по системе жилетно-карманной диалектики. Он решил взяться за диалектику настоящую. Революционную. И чем бы ни кончилась великая стачка этого года, она—крупнейший шаг вперед. Почти прыжок. И не вниз, а вверх.

У английских рабочих впервые за много лет появился твердый голос. Хозяйская осанка. Боевой вид. Они уже „готовы драться, как черти!“ Не потому ли карманная диалектика королевского правительства начинает обращаться на его собственную голову?

.....  
Лондонский туман сгустился. Показались и отвердели очертания нескольких зловещих фигур.

Очертания—премерзкие. Фигуры—хорошо знакомые. Они плывут, близятся, лихо приплясывают.

По которому делу пляшут?

Свадьба или похороны?

Благонамеренные люди Англии уверяют, что не свадьба, не похороны. Что только игра в футбол было все это.



Перед самым срывом великой забастовки правительство настроилось на божественно-философское выражение лица. Оно старалось изобразить всеобщую стачку чем-то в роде наводнения или эпидемии скарлатины. Оттачивая оружие, одновременно толковало о событиях с подлинно христианским смирением.

Дескать, на земле мир и в человецех благоволение.

Дескать, массовое бедствие при трогательном единодушии населения. Бастующие не изъявляют никаких желаний, кроме как поскорее начать работу. Забастовщики усердно ходят в церковь и там замаливают свои тяжкие грехи перед хозяевами. Священники возносят молитвы о мире, а рабочие поддерживают благолепную мелодию псалтири, бодрым стуком капающих на пол слез раскаяния.

И даже... И даже в футбол играют бастующие рабочие с полицейскими!

Игра в футбол—хорошая игра. Английская. В ней есть много разных правил, которые нельзя нарушать. Иначе получается не игра в футбол, а чорт знает что.

Нельзя умышленно касаться мяча руками. Нельзя до удара подходить к мячу ближе, чем на девять метров. Нельзя после свободного удара вторично ударить мяч, пока его не коснется другой игрок. Нельзя ударять игрока руками или ногами, в лицо или в живот. Нельзя выбивать партнеру зубы, стрелять в него из револьвера, сажать в тюрьму на срок до одного года и свыше, конфисковать его деньги в банке, производить у него обыски или распространять о нем клевету.

Во всякой футбольной игре очень большим авторитетом и правами пользуется судья. Эта авторитетная личность с зычным голосом и свистком в руках командует во-всю.

Судья делает продостережение невежливому игроку. Он, при желании, удаляет игрока с поля.



Судья может продолжить время игры или прекратить ее, если находит это нужным.

Судья, по официальным правилам, дает „свободный удар“ в тех случаях, когда поведение одного из игроков кажется ему опасным, или даже, когда оно „кажется ему способным сделаться опасным“.

Вот какими хорошими правами обладает судья!

Английские рабочие думали, что они ведут организованную борьбу с классом эксплуататоров и угнетателей. Они были счастливы сознанием, что собрали для борьбы невиданный кулак в пять миллионов человек. Они, честные, стойкие пролетарии Британии, поставили на карту свое благосостояние, здоровье своих жен и маленьких детей—для того, чтобы забастовкой солидарности поддержать братьев по классу.

Но для Макдональда и его помощников все это—только игра в футбол. С мячиком, с камзолами двух цветов, с судьей.

Судья! До чего только не доходит холодное издевательство буржуазии! Консервативное правительство, которое с первого дня открыто стало на сторону предпринимателей и применяло все нажимы государственно-полицейского аппарата на рабочих,—оно еще привлекло к своему делу суд!

И судья, настоященский английский судья, даже в мантии и парике, со свистком в руках, явился на поле забастовки и стал распоряжаться.

Он даже не делал никаких предупреждений. Просто пустил в определенном направлении „свободный удар“, свистнул, удалил неугодных ему игроков с поля.

„Всеобщая забастовка—незаконна“. Так постановил британский верховный суд!

И осанистые шулера, именуемые „рабочими лидерами“, делают огорченный жест, разводят руками, сворачивают забастовку.



— Раз незаконно, это дело другое. Мы думали, что законно, потому и бастовали.

— Если незаконно,—тогда, пожалуйста. Извиняемся... Ребята, разойдись! Потому—говорят, что незаконно. Ошибочка вышла.

Какими прохвостами надо быть, чтобы с серьезными лицами поддерживать подобную отвратительную комедию?

Трудно сказать. Предательство так же неопишимо, как северное сияние или пляски микробов в капле воды. Ученые, получите, пока не поздно, драгоценнейшую сы-воротку подлости у Макдональда и Томаса! Она сохранится на долгие годы, ее будут с интересом исследовать даже тогда, когда вымрут всякие классовые аферисты.

Пять миллионов английских пролетариев стоят в безмолвии, обманутые и оплеванные кучкой политических преступников. Миллион горняков, храбрый отряд, отрезанный от армии, пытается пробиваться напролом,—но что он может сделать, если в штабе измена?

Еще один удар, еще один урок. Еще одно историческое подтверждение:

Когда играешь с буржуазией, играй без судьи и примирителя. До результата, до полного конца. Иначе—проиграешь.

.....  
Англичане едят два завтрака. Так у них заведено с давних времен.

Первый завтрак—ранний. Его едят тотчас после сна. Зовется он „брекфест“ и по обычаю состоит из овсяной каши на воде да яичницы с ветчиной. Объясняли мне, что брекфест в Англии один и тот же и у короля и у последнего бродяги. Проверить это полностью не удалось: у короля я так и не побывал, а рабочие в Баттерси при мне ограничивались только первым блюдом.



Второй завтрак, называемый „ленч“, происходит около часу дня, и при нем допускаются всякие вольности. Кто поскромнее,—ограничивается четырьмя блюдами и хорошим вином. Кто поозорней,—нагло грызет вчерашние сухари или бесстыдно сосет собственную лапу, запивая водой из крана.

Эти объяснения не лишни всякому, кто хочет узнать о лондонском завтраке, который устроила редакция „Вестминстер Газетт“.

Нет сомнений, что завтрак, организованный редакцией старой английской либеральной газеты, был не брекфестом, а ленчем. Настоящим ленчем, какой бывает у бодрых деловых людей после первой половины рабочего дня.

Завтрак устроен был редакцией не по-пустому. Она превратила завтрак этот в большую политическую демонстрацию.

Завтрак „за мир в промышленности“.

Группа друзей, работающих в разных, так сказать, ведомствах, но объединенных общими стремлениями, общими идеями, общим хозяином,—только что свободно вздохнула после тяжелой страды. Миновала мучительная передряга, свалилась такая большая гора с плеч, что не грех выпить и закусить, постучать ножами и вилками, позвенеть стаканами.

Стачка углекопов, наконец, сломлена. Горняки сдаются, не в силах будучи дальше голодать. Как же тут не позавтракать!

...Горняки не могут дальше помирать с голоду.

— А мы что говорили?!—с торжествующим укором простирают руки здравомыслящие люди из английской рабочей партии.—Разве же можно было столько упорствовать, не имея средств?!

Миллион пролетариев умирал с голоду в течение полугода, на глазах у холодных пристальных вождей



английских профсоюзов. И когда свалились с ног, когда не в силах были дальше стоять,—деловые джентльмены, удовлетворенно мотнув головами, усаживаются за торжественный завтрак в честь „мира в промышленности“.

Да, да, это не выдумка и не извращение. В завтраке, устроенном буржуазной газетой, участвовали, кроме главы шахтовладельцев Белла, директоров крупнейших английских предприятий—кроме них—за завтраком сидели председатели и секретари крупнейших английских профсоюзов. Тут и бывший председатель рабочей партии Вильямс, и секретарь железнодорожников Кремп, и председатель текстильщиков Бен-Тернер... Есть и знаменитый Варли, член исполкома горняков, пытавшийся сорвать стачку в самом начале ее.

Над распростертыми телами изнемогших от голода горнорабочих воздвигнут стол, и за ним сообща завтракают профсоюзные воротилы, вместе с победившими банкирами и фабрикантами. Это—не вымысел, не карикатура советского художника, не символическое изображение. Это—настоящий, добротный, нерушимый факт!

Велико, необозримо историческое значение забастовки горняков, включая все обрамляющие ее события. И этот незабываемый завтрак после забастовки,—он тоже войдет в историю классовой борьбы, его тоже врежет в свою память всякий, слышавший о великой стачке.

.....  
У нас выходят из моды библейские сравнения и выражения.

Даже объявлена им война.

Но можно сказать уверенно: не ко всем библейским выражениям даже новое наше поколение безучастно.

Попробуйте сказать человеку:

— Ну, и хам же вы! Старуху за дверь вытолкали!



Ваш собеседник, если и не изучал в тонкости похждений троих сыновей Ноя,—нисколько не будет польщен вашим сравнением.

Заявите многословному оратору:

— Вы, товарищ, покороче, а то вы от самого Адама начали.

Собрание, даже не состоя из лиц, окончивших духовную академию, горячо вас поддержит.

Если задний воз наскочит на передний и сокрушит колесо, необразованная личность с кнутом вполне свободно скажет, обернувшись назад:

— Ах, ты, Каин! Вот уж я тебя, холера паршивая!

Когда вы попробуете всерьез разбирать пьяную ссору на улице,—сторона, обиженная вашим приговором, вставит, расцветив свою бесхитростную речь незатейливым домотканым матом:

— Тоже царь Соломон выискался... Растак вашу перетак!

А мужичок, ни в каких отродах не бывавший семинариях, намучившись в тоскливой канители от стола к столу, скребя затылок, взмолится:

— Ну, и Голгофа! Что же вы меня, товарищи, все от Понтия к Пилату посылаете?!

На заседании английского съезда профсоюзов выступал Иуда. Пусть кто-нибудь докажет, что слово „Иуда“ менее понятно, чем „социал-соглашатель“ или „реформист!“

На съезде выступал именно Иуда, и это засвидетельствовано даже в протоколе и стенографическом отчете.

„При первых же словах Бромлея разразилась буря. Выкрики и шиканье создали неопиcуемый шум. Большинство делегатов повскакало с мест. Представители горняков кричали: „Бромлей, Иуда, долой с трибуны!“

Бромлей, виднейший английский профсоюзный чиновник, член генерального совета, прославился тем, что



в самый разгар горняцкой забастовки напечатал статью, решительно требующую немедленного ее прекращения.

Именно этому Бромлею генеральный совет поручил говорить на съезде по вопросу о помощи горнякам. Именно он выступал в защиту предложенной генеральным советом резолюции по горняцкому вопросу.

Приятно, когда выступающий оратор близко связан со своей темой и считает ее для себя родной. Рекомендуется поручать глухонемому доклад о задачах оперного искусства, вегетарианцу—о работе на скотобойнях... Присутствовавшие на съезде горняки, услышав имя Бромлея, как докладчика по их делам, горько возмутились:

— Неужели генеральный совет сознательно хочет оскорбить горняков?!

Очевидно, именно так. Генеральный совет сознательно хотел оскорбить горняков. И оскорбил. Скандал не помог. Горняки бесновались, а Бромлей сказал все-таки свою речь и провел свою резолюцию.

Вы представляете себе эту картину? Горняки приезжают—не к капиталистам, а к профсоюзным товарищам. И там их оскорбляют. Не капиталисты, а профсоюзный съезд—доводит их до иступления. Заставляет кричать, шуметь, топать, стучать кулаками по столу. Чуть что не грызть зубами доски пюпитров. Назначает ненавистного им человека—Иуду по их словам—решать их судьбу. И Иуда налагает умерщвляющую резолюцию на их жен и детей, заставляет их испить „в товарищеской среде“ самую отвратительную чашу унижений!

Как же должны вести себя тогда с горняками капиталисты? Будут ли стесняться изголодавшихся рабочих их английские „хозявы“, если солидарные товарищи оплевали горняков и отказали им в помощи?!

...Да, конечно, мы должны сдать библейскую словесность в архив. Только раньше использовать ее до конца.



Разве английское предательство имело себе равное со времен Адама? Нынешние опекуны британского рабочего класса посылали горняков от Понтия к Пилату без конца и до конца. После четырехмесячной Голгофы мучений обещали вынести Соломоново решение и кончили хамской выходкой, выпустив Иуду в роли спасителя горняков. Да горит долго Каинова печать на их лбах!

И всякий рабочий и всякий крестьянин нашей страны, читал он или не читал библию,—поймет, что произошло на съезде в Борнемуте. И почувствует. И оценит. И запомнит это.

.....

Сегодня перед моими глазами—Манчестер, узкие трубы, асфальтовые полы, пчелиное жужжание больших веретен, несветлые залы с хлопчатобумажной сушью воздуха, косой дождь, завывание норд-оста в каменной дыре. И глобстер—мясистый рак, не уместившийся на тарелке, и поридж—сладковатая каша, сваренная в горячей воде. И каменный порог трактира, и шаткая фигура рабочего в дверях.

Вы были в Манчестере на фабрике Гильмор?

Если не были—идите в посольство за визой, ждите вечность, соберите деньги, потом пересекуте шесть стран, по морю доберитесь до туманного Манчестера.

Или—скорее и короче. Откройте первый том „Капитала“, снимите кепку, тихонько минуйте посвящение и оглавление, скромно выслушайте добродушную нотацию Ивана Ивановича Степанова о пользе иностранных слов, пробегите мимо величественной колоннады предисловий Каутского, Маркса и Энгельса, пробейтесь через колючий кустарник „товара“, „обмена“, „разделения труда“,—к „крупной промышленности“. И здесь, в относительной глуши, на четыреста тринадцатой странице вы попадете



к почтенным братьям Гильмор, прядильщикам в Манчестере.

Эти энергичные хозяева были когда-то пионерами в установке новых машин. Они были очень довольны своими новыми машинами. Рабочие доставляли господам Гильмор гораздо меньше удовольствия. Если вы не поленитесь осторожно спуститься в подземелье 414-й страницы, то узнаете, что новые машины принесли рабочим понижение заработной платы и вызвали забастовку...

Так вот про ткачей фабрики Гильмор до сих пор ходит в Манчестере хмурый, но соленый рабочий анекдот.

Некогда был обычай нанимать при похоронах плакальщиков. За жалкую плату бедняки оравой ходили за гробом зажиточного покойника и рыдали навзрыд истошными голосами.

В Манчестере специалистами по такому плачу считались рабочие Гильмора. Видимо, очень сладко жилось им в прядильне: за несколько побочных пенсов они изливали наболевшую душу за любым „желающим гробом“.

Но однажды, когда родственники очередного покойника прибежали к гильморовцам по их похоронной специальности, ткачи наотрез и усмехаясь отказались:

— Сегодня мы никак не можем плакать.

— Почему?!

— Мистер Гильмор, наш хозяин, сегодня умер.

Старые ткачи, прародители пролетариата, — сегодня ваш образ витает над рабочим классом Англии!

Только что состоялось вооруженное перемирие вокруг черных ям английских угольных шахт. Консервативное правительство ловким маневром предотвратило накопившуюся грандиозную забастовку. Змеиным броском Болдуин и его друзья думают предотвратить кризис каменноугольной и соседних с ней промышленности. Но уже, сделав миролюбивое лицо, криво улыбнувшись влево,



английские капиталисты сейчас же перешли в наступление. И уже вышвыривают рабочих представителей из комиссии по обследованию копей.

И что же в такой момент делает „рабочая“ партия?

Как ведут себя Макдональд и его друзья?

В эти сдавленные дни британские социалисты заняли позицию правее, чем черносотенное правительство!

Трудно поверить. Но теперь, „после“ каменноугольного кризиса, „рабочие“ вожди Макдональд и Томас обвиняют правительство... в потворстве рабочим!

Добрый Томас в большой речи заявил, что пагубно прививать рабочим убеждение, будто забастовками они добьются своей цели. Болдуин вступил на этот путь, и он, Томас, всячески это осуждает... Почти в тот же день неунывающий остряк Ллойд-Джордж, под хохот всей палаты, заявил министру финансов Черчиллю: „вы грозились когда-то, что разобьете большевиков на Волге. А теперь большевики разбили вас (в угольном конфликте) на Темзе!“ В воскресенье Томас со всей семьей, прибыв в гости к Ллойд-Джорджу, провел у него два дня, после чего рабочий и буржуазный вожди, выступив на митинге, заявили, что „являются врагами только официально, по существу же—состоят в тесной дружбе“.

А серьезный, глубокомысленный Макдональд в ту же историческую неделю заявил, что правительство, пойдя навстречу рабочим, только усилило коммунистов и прочие вредные элементы!

Выброшенная из министерских кресел партия Макдональда решила какими угодно мерами вернуть себе расположение буржуазии. Готова перещеголять даже консерваторов. Лижет заводчикам все места...

Повернувшись „лицом к шахтовладельцу“, английская социалистическая партия выставила пролетариям Англии



свою ничем не прикрытую, жалкую, комическую, мало-привлекательную... тыловую часть.

Но было бы ошибкой британских рабочих горевать. Они скажут, повторив усмешку стариков:

— Мы не можем сегодня плакать! Ведь сегодня для нас умерли мистер Макдональд и его друзья!

Один остряк ехидно меня спросил:

— Нельзя ли получить назад червонец, который я вложил в английскую забастовку? Ведь спектакль не состоялся.

Я не поверю остряку-злопыхателю, что он внес в дело британского пролетариата хоть одну копейку. Но если бы даже так—предлагаю ему новое выгодное помещение денег.

Газета „Таймс“ открыла сбор в пользу полицейских, „славно поработавших“ в дни всеобщей стачки. Вот куда вам надо внести ваш червонец, дорогой шутник.

Вчера—фонд забастовщиков. Сегодня—фонд полицейских.

Вчера вожди генерального совета профсоюзов клялись, что доведут борьбу до конца. Сегодня они подписывают признание, что забастовка была преступлением.

Вчера рабочие требовали надбавок к своему нищенскому заработку. Сегодня капиталисты берут с них обязательства возмещения убытков из тощих рабочих кошельков.

Вчера транспортники показывали пример трудовой солидарности. Сегодня их союз согласился на прием служащих „по мере необходимости и по принципу старшинства“.

Словно не в живой подлинной жизни, а на маленькой сцене красноармейского клуба кто-то быстро передвинул декорации агитспектакля. Картина первая—„пролетариат наступает“. Картина вторая—„буржуазия наступает“...



Пусть теперь кто-нибудь скажет, что наши агитационные пьески оторваны от жизни.

Как кому, а нам вполне по вкусу такой быстрый темп событий. Лучше, конечно, чтобы стачка не кончалась. Но ведь в случае благоприятного исхода она рано или поздно вылилась бы в нечто более решительное... Сама быстрота смены декораций после срыва забастовки заслуживает всяческих похвал.

В прежнее время кровь в жилах классового общества двигалась медленнее. Пока пролетариат дойдет до всеобщей забастовки, пока она провалится, пока реакция и разгул буржуазии дойдут до полного градуса, пока рабочие разберутся в предательстве своих вождей, пока они от этих людей отшатнутся, пока их уныние породит пассивность, пока пассивность перейдет опять в бурное действие,—сколько времени на все это уйдет. О знаменитой брюссельской забастовке судили, рядили и теоретизировали двадцать лет. Разве не сократились все эти сроки чуть ли не в двадцать раз?!

Позавчера—густая ночь. Вчера—ослепительный полдень. Сегодня—опять сумерки, а завтра—разве не завтра опять рассвет британского пролетариата?

Английские рабочие научились разбираться в вещах. Более того—уметь выражать свои мысли нужными словами. Лондонские железнодорожники сказали о соглашении, которое подписал генеральный совет:

— Это соглашение носит подозрительный характер и внушает омерзение.

Точнее выразиться, кажется, невозможно. Но горнорабочие выразились еще точнее. Даже представитель их правого крыла заявил:

— Прекращение всеобщей забастовки означает гнусную сдачу.



Мы видим, что рабочие вполне точно выражают свое мнение о поступках профсоюзных чиновников. Но так же определенно говорят они и о самих вершителях этих поступков:

— Профсоюзы должны найти себе новых вождей, которые хотят бороться, а не бежать от борьбы.

В прежнее время нужны были целые годы пропаганды, штабеля книг, кипы брошюр и ливни листовок, чтобы внедрить в запуганные головы подобные мысли. Теперь они возникают и укрепляются в коллективном мозгу пролетариев в течение дней, чуть ли не часов.

А если так,—нам не страшно. Если так,—мы верим, что быстро доживем до новой смены декораций на английской сцене. „Черная пятница“, одно из крупных поражений английских горняков, привела их через пять лет к новому бою. Мы верим, что „желтая среда“ 12 мая 1926 года найдет отклик в истории впятеро скорее.

Нам кажется, что история плетется черепашим шагом. А ведь она несется все быстрее, еле успевая забирать воду на остановках! Избалованные пассажиры...



## КРОВАТЬ В КЛЕТКЕ

**НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ** женщин вы, конечно, помните. Она происходила в одно время с пальцами в супе.

Оба замечательных явления надо отнести приблизительно к середине 1921 года. Нет, вру. Национализация женщин впервые появилась в июле девятнадцатого. Пальцы в супе предшествовали ей месяца на три. Наведя ужас на весь цивилизованный мир, два потрясающих факта куда-то пропали, и уже во второй раз возникли через два с лишним года.

Где оба жутких порождения революции наблюдались — вы тоже помните. Честь изобретения обоих по полному праву принадлежит старейшей, почтеннейшей газете „Таймс“.

Первенство за „Таймсом“! Никто не смеет этого оспаривать. От „Таймса“ оба шедевра перешли к огромному множеству всяческих газет и журналов в Европе и Америке. Но первый — „Таймс“. Он, он, он первый!

Это „Таймс“ звенел мощной сталью ротационных машин, приводя мир в трепет сообщением о том, что в России большевики издали декрет о национализации женщин и распределяют этот небывалый, неслыханный, невероятный продукт по карточкам широкого потребления, по штуке на рабочего, по пять — на коммуниста, по десять — на комиссара.

Это „Таймс“ всенародно подымал костлявый прокурорский палец своего главного восьмидесятилетнего редактора, оповещая, что в советских столовых подается на



второе блюдо человечина и что в Ленинграде даже из первого блюда, из супа, несколько британских граждан вытаскивали отрубленные человеческие пальцы.

Обе эти выдумки „Таймса“ в свое время получили широкое распространение, потом были опровергнуты, осмеяны, стали примерным образцом буржуазной клеветы на советскую страну. И были забыты, без мести преданы прошлому, брошены в исторические шкафы вместе с прочей рухлядью времен войны, блокады, интервенции.

Сегодня мы хотим рассчитаться с „Таймсом“ по старым долгам. Зря большевиков винят в том, что они никаких долгов не отдают. Долг долгу рознь. Иные займы платежом красны. Как в Костроме говорят: взяха любит даху.

За клевету мы хотим отплатить полновесной монетой правды. Если „Таймс“ так охранял человечество от безнравственности большевиков и национализации женщин, пусть он даст ответ на то, что происходит в британских владениях, под английским флагом.

В городе Бомбее, в Индии, на улице Грент-Роуд, под непосредственным наблюдением и контролем великобританской полиции, под флагом его величества короля Георга, посажены в железные клетки девятьсот (900) обнаженных женщин.

Посредине улицы бежит трамвай; по обе стороны, рядами, расположены клетки. В каждой заперто по шесть женщин. Больше всего—индуски и японки. Но есть и француженки, немки, румынки, русские. Нет только англичанок и американок.

В каждой клетке две грязных кровати. Редко одна. К клеткам беспрерывно подходят прохожие. Разглядывают. Как в зоологическом саду. Нет. Как в мясной лавке.

Если понравилось, они суют через прутья решетки четыре анны—16 копеек, надсмотрщик отпирает, пропускает



посетителя к проститутке. И все прочее происходит тут же, при публике, стоящей у решеток.

По субботам у клеток длинные хвосты. Стоят индусы, китайцы, матросы—получить за 16 копеек женщину. Но не англичанку! Англия представлена городовым, который следит за порядком в очереди и отводит в участок за фальшивую серебряную монету.

Вы думаете—дома буржуазной терпимости, регламентация, инспекция? Ничего подобного! Никакого медицинского надзора, никаких законов, просто—женщины в клетке, британский городской и налог в пользу доброй старой Англии.

За углом улицы Грент-Роуд находится индусский театр. Пьесы в нем разрешаются к представлению только после строжайшей, свирепейшей английской цензуры, со стороны политической... и нравственной. А рядом—кровать в клетке и очередь по 16 копеек. Царствуй, Британия, правь над морями!

То, что здесь в двух словах описано, подтверждается очевидцами. В очевидцах—все население города Бомбея, полтора миллиона человек. Есть и фотографические снимки.

Да, наконец, в последних отчетах о заседаниях самой британской палаты общин мы находим:

„Член парламента Том Джонстон по своем возвращении из Индии раскрыл все ужасы бомбейской улицы Грент-Роуд, где сотни проституток, заключенных в железные клетки, принимают к себе прохожих. Трамваи проезжают среди этого гигантского публичного дома, где открыто происходит дневной позорный торг с благословения и под защитой полиции“.

На ряд вопросов, предложенных в палате Джонстоном помощнику министра по делам Индии лорду Винчертону, последовали уклончивые и неудовлетворительные ответы. Наконец Джонстон задал прямой вопрос:



„В виду враждебности, публично выраженной благородным лордом и его друзьями по отношению к самой идее национализации женщин в других странах (намек на СССР.—М. К.),—не считал ли бы он нужным принять какие-нибудь шаги, чтобы заставить бомбейское правительство положить конец этим явлениям“.

Спикер (председатель) оборвал вопрошавшего и вывел благородного лорда из затруднительного положения, сняв вопрос с обсуждения.

Однако ни одна благонравная консервативная или либеральная газета в Лондоне никогда не писала ни единой строчки о Грент-Роуд. Какой смысл!

Что же, коллеги из „Таймса“? Когда вы клеветали о „национализации женщин“ и о „пальцах в супе“, мы, несмотря на блокаду, несмотря на саботаж и противодействие мировой буржуазной прессы, опровергали и опровергли вашу ложь. Теперь слово за вами. Докажите, что девятьсот голых женщин в звериных клетках на Грент-Роуд—это ложь, а не чистая правда.

Двое парижан заспорили во времена французской революции:

— Чья кровь драгоценней? Аристократа или буржуа?

Спорили долго. Но к концу согласились на одном:

— Драгоценнее всего кровь бедняка. Ведь именно ее больше всего добиваются тираны!

Хлещет кровь в Нанкине. Не каплет, не проливается, не льется, а хлещет человеческая кровь.

Нельзя сказать, что кровь льется на улицах. Улицы нет—улицы стерты, разметаны, раздавлены артиллерией, замешаны вместе с домами, изуродованными трупами в одну нелепую и страшную кашу.

Если сопоставить ряд отрывочных сведений, выясняется, что нанкинские англичане оказались затертыми между



двумя колоннами войск—отступающих шандуньских и наступающих кантонских; в китайском военном хаосе английский холмик был обстрелян шандуньцами. И тогда...

И тогда британская военная эскадра начала снарядами своих орудий попросту затапывать город. Так, разваливая, затапывает тяжелый сапог муравьиную кучу. Вырывает с мясом целые улицы и кварталы муравьиного городка. Погребают под каблуком сотни и тысячи маленьких муравьиных жизней, их быт, их радости, их кропотливое и сложное жизнетворчество.

— Помогите!—несется крик умирающих над горами обгорелых трупов.

— Помогите!—кричат окровавленные, израненные, ограбленные, изнасилованные, беззащитные люди на обломках, среди развалин домов, в дыму безбрежного пожарища.

Двадцать минут поработали английские батареи у Нанкина. Две тысячи убитых.

А если час?

— Шесть тысяч убитых.

Арифметика смерти очень проста. Она доступна хоть ребенку. Добрый морщинистый учитель в буржуазной английской школе может задавать детям легкие вопросы по умножению, взятые из последних газет.

Старая консервативная Англия! Тебе семьсот лет, ты живешь на острове, где вечно зелена трава и цветут щеки у семидесятилетних старцев. Ты кладешь святочные подарки в башмачки спящих ребятишек, ты благоухаешь рождественскими гусями, ты блистаешь на весь мир учтивостью богатых джентльменов, красотой полицейских и добротой короля. Где, в какой стране, кроме Англии, называют короля даже в газетах так ласково, по-семейному: не Георг, а Джорджи. Король Гриша!..

Хорошенькие, brave офицеры уезжают на здоровенных кораблях в далекие колонии, в цветные страны. Там



ждет их мир приключений, и одно приключение другого интереснее.

То война со страшными людоедами-большевиками в России, то дикие негры в Африке, то страшные индусы Гималаев!

Сейчас мечтательные аристократические юноши и седовласые консервативные бодрячки с горящими глазами читают жаркие описания того, как английская артиллерия в двадцать минут растерла в порошок две тысячи худущих, грязнящих китайцев.

Это—в двадцать минут. А в полчаса? А в час? Вот это—артиллерия! Вот это—молодцы!

Великая и мощная мерзость лицемерия, это благовоение, которым окуривает себя капиталистический строй,— оно гуще и гаже всего вьется вокруг капиталистической Англии. Выходец из английской аристократии Уайльд сам дал страшную карикатуру на цивилизацию своей родины в образе Дориана Грея, продавшего чорту душу за красивое лицо.

У доброй старой буржуазной Англии—приятное лицо. Как восхитительны английские женские головки и румяный Джон Буль, гостеприимно протягивающий руку со стаканчиком виски! Это—королевская Британия лицом к самой себе. А лицом к колониям—отвратительный зверь с ощеренными хищными зубами, с ненасытной жадой золота и крови. Чем больше приходится английской буржуазии тратить усилий на сохранение своего выцветшего благопристойного облика на родине, тем более ужасны и омерзительны прыжки зверя в колонии!

Всеу приходит конец... Иссякают румяна для подмазки добродушного облика доброй джентльменской Англии. Уже явственно для всех проглядывает сквозь них озверелая рожа старого убийцы. Скоро и суд, скоро и конец.



Правда, еще сильна арифметика английских пушек. Двадцать минут—две тысячи трупов; тридцать минут—три тысячи; час—шесть тысяч. Артиллерийским умножением тешатся, его изучают в богатых английских колледжах.

Но на смену идет арифметика другая. Цифры из другого учебника—из ленинского—изучают пока дети советской страны. Но скоро начнут их выучивать наизусть и в других странах.

— СССР—сто пятьдесят миллионов человек. Десятая часть населения мира.

— Китай—еще четыреста миллионов. Вместе—пятьсот пятьдесят миллионов. Третья часть всех людей на земле.

— Индия—еще триста миллионов. Вместе с Китаем и СССР—восемьсот пятьдесят миллионов. Больше половины всего человечества!

Когда только три этих страны объединятся для отпора империализму—если бы даже все остальные были еще во власти капитала—ну-ка, один-на-один! Однако ведь и в другой половине есть целые угнетенные народы, угнетаемые классы...

Убийцы! Перестаньте в упоении считать тысячи мертвецов перед вашими пушками! Начните считать сотни миллионов живых, гневно поднимающихся на пролитой крови! Задумайтесь и над этими числами.



# БАЛАГАН С КРОВЬЮ

ЭТИ СТРОКИ, собственно, надо бы в судебную хронику. Но, боюсь, там забракуют. С большим разбором печатают у нас судебные отчеты.

„Слушается дело“—в августе 1927 г.

„Состав суда“—очередные заседатели юридической коллегии тайного королевского совета.

Ответчик—его величество король великобританский Георг Пятый.

Истец—повелитель племени сватис, его величество Собхуза Второй.

Первый из тяжущихся царствует над величайшей, раскиданной по всем частям света Британской империей.

Второй возглавляет несколько десятков тысяч негров в глуши Южной Африки, исполняет свои королевские обязанности, подобно своим подданным, без штанов.

Однако обе стороны заявили, что выступают перед судом как равные. Обе королевские персоны, и „черный вождь“, и „белый император“, представлены будут адвокатами. И оба заверили, что после разбирательства беспрекословно и почтительно подчинятся вынесенному решению „Сущность дела“?.. Очень простая.

Несколько десятков лет назад беззаботный папаша Собхузы Второго принимал у себя в качестве гостей первых колониальных английских путешественников.

Старый негр считал себя понимающим в людях и умеющим с ними обращаться. После ухода белых гостей он долго потирал руки.



В самом деле—эти дураки отдали негритянскому королю три бутылки великолепного чистого спирта, совсем новую винтовку с патронами, гармошку и потрепанный, но еще приличный цилиндр, вполне пригодный для царственных коронных выходов и празднеств.

И за все это—подумать только, какие болваны!—за все это потребовали, чтобы Собхуза Первый в присутствии свидетелей приложил свою, не первой чистоты, руку, обмокнутую в чернила, к листу бумаги, увезенному англичанами.

Царственный сватис так и умер в сознании своего непогрешимого ума и хитрости. А разделяться за три бутылки спирта пришлось его наследнику, вернее—подданным его наследника.

Бумага оказалась обязательством, по которому король Собхуза Первый предоставлял английскому правительству бесплатную концессию на эксплуатацию всех природных богатств территории племени сватис. К этому негры обязаны были предоставлять еще и бесплатную рабочую силу, а взамен...

Взамен, согласно договору, получали „вечную дружбу английского короля“.

Истинный смысл бумаги, некогда с пьяных глаз подписанной старым владыкой сватисов, несчастные негры поняли только тогда, когда в землю их прибыл британский военно-промышленный отряд, когда солдаты начали прикладами подгонять людей, заставляя работать на каучуковых плантациях...

Собхуза Второй, подталкиваемый бурными воплями своих граждан, напялил на голову истлевший злосчастный цилиндр, накинул на чресла свой передник и отправился шуметь. Протесты его услышаны в южно-африканских канцеляриях. Там из каких-то ехидных соображений делу дают ход, и вот оно уже переслано в Лондон.



Собхуза заявляет, что его отец заключил бессмысленную, нелепую и кабальную сделку, за которую ни он, нынешний монарх, ни его народ отвечать не желают.

Георг, в лице своих чиновников, настаивает на том, что договоры, вдобавок освященные королевской рукой, должны быть нерушимы, и что „концессия“ остается в силе.

Почему, однако, такая корректность со стороны британского правительства в отношении голоштанного негритянского владыки?

Разве англичане так уважают достоинство своих колониальных народов?

Ведь в те же самые дни лондонские газеты ревмя ревели, отправляя в могилу тело умершего генерала Дайера, знаменитого усмирителя Пенджаба!

Во время войны Дайер командовал войсками в Пенджабском районе, в Индии. Вспыхнуло восстание индусов. Дайер открыл артиллерийский и пулеметный огонь по пятнадцатитысячной толпе индусов, собравшихся в саду. Расстрел продолжался десять минут и кончился, когда вышли все патроны. Даже по официальным, самого генерала Дайера, данным, при расстреле мгновенно погибло 580 индусов, а 1 200 было ранено. На самом деле, жертв было втрое больше.

При расследовании Дайер заявил, что он „не остановился бы и перед большей бойней“, ибо задача его была „посеять ужас во всем Пенджабе“.

А когда генерал впоследствии вышел в отставку, газета „Морнинг Пост“ открыла в его пользу сбор и собрала 263 тысячи рублей!

Почему же англичане, вместо того, чтобы прочистить горло одному-двум пулеметикам, затевают длинную канитель с судом, церемонятся с черномазым Собхузой?

Потому, что времена мало-мало меняются.

Потому, что настала пора обзаводиться новым стилем.



В лице Собхузы, в лице бедных сватисов Лондон видит тридцатимиллионные негритянские массы Африки. Эти массы беспокойны, они начинают обретать голос, они хотят исправить дела своих повелителей, за бутылку водки продававших свою свободу и достоинство. Править колониями, выжимать из них соки становится все труднее. Действовать одними пулеметами—уже опасно. Приходится устраивать, на помощь пулеметам, и балаган.

Лондонские газеты совершенно открыто и нагло потешаются над негритянским ягненком, затеявшим тяжбу с британским львом. Они заранее утешают Собхузу:

— Весьма возможно, что король сватисов проиграет дело в британском королевском суде,—зато он и его племя имели возможность гласного и беспристрастного суда.

В самом деле, сватисы должны благодарить за такую любезность. Их не просто угощают прикладом в зад, а с улыбкой. Но, мы боимся, неблагодарные чернокожие увальни мало оценят эту любезность. И вообще, чем дальше, тем хуже. Уже не помогают пулеметы, очень скоро перестанет помогать балаган.



# ХОЧУ БЫТЬ АМЕРИКАНЦЕМ

**Н**ИАГАРСКИЙ водопад усыхает. Вы слышали об этом?

В силу каких-то особенных геологических причин река, поставляющая воду для самого большого водопада в мире, оскудела водой. Мощность водопада за последние годы заметно ослабела. Ухудшение—чуть не каждый месяц! И—уверяют ученые—через полтора десятка лет Ниагарский водопад замрет.

На Ниагаре стоят грандиозные электростанции. Они питают энергией целую тучу заводов, производств, предприятий, фирм, капиталистов.

Все переполошилось вокруг водопада. Созваны специальные комиссии из геологов, инженеров, гидротехников. У постели больной Ниагары они придумывают способы лечения. Нельзя ли чем-нибудь подкормить чахоточный водопад? Нельзя ли поливать его из чайника?

Несколько городов, несколько миллионных электрических концернов со страхом и надеждой смотрят на группу ученых, взявшихся за водопадную хворобу. Они верят ученым. Они ждут и надеются.

Не всем ученым верит Америка. С разбором. И ученый—он тоже должен со смыслом свою науку изучать. Иначе—плохо придется ему в свободной Америке.

В штате Коннектикут, на родине знаменитой писательницы Бичер-Стоу, автора „Хижины дяди Тома“, кто-то вздумал поставить ей памятник.



На это губернатор и все власти штата ответили категорическим отказом.

— Мы не можем ставить памятник тому злу, которое эта госпожа причинила нам своей книгой в пользу негров.

Так ответили власти Коннектикута.

Впрочем, кое-какой памятник есть. На месте разрушенного домика Бичер-Стоу воздвигнута общественная уборная. Ее многие посещают.

На „обезьяньем процессе“, рассказывают, было очень жарко. И обвиняемые, и суд, и публика сидели без пиджаков, обливаясь потом. Пришлось перенести заседание под открытое небо. Не хватило стульев. Служители суда отказались предоставить защите стулья. Те протестовали. Не помогло. Принесли стулья из дому. Хорошо поставлено судопроизводство в Америке!

Судебное заседание началось молитвой. Защитники протестовали, указывая, что молитва оказывает моральное давление на присяжных. Ведь предметом разбирательства должен быть вопрос: сотворен ли человек богом, или возник эволюционным путем, из обезьяны, по теории Дарвина! Председатель все-таки предложил священнику помолиться о божьей помощи суду, защитникам и представителям печати.

Американский вице-президент Брайан, главный руководитель борьбы против дарвинизма, устроил на улице у дверей суда митинг на тему „Горилла или бог“. После доклада пели молитву под аккомпанемент шарманки... Кроме того, Брайан официально заявил, что если приговор суда окажется „против бога“, он добьется изменения в американской конституции—объявит христианскую религию государственной.

На суде вице-президента Брайана допрашивали как свидетеля! Очевидно, высокое положение допрашиваемого



автоматически закрепило за ним авторитет в вопросах мироздания.

— Верите ли вы, что Иона был проглочен китом, находился трое суток в его чреве и затем целым и невредимым оттуда вышел?

— Когда я читаю, что кит проглотил Иону, я в это верю. Господь в состоянии сотворить китов и людей, которые способны переживать описанное.

— Верите ли вы, что этот кит был создан нарочно, чтобы проглотить Иону?

— Я этого не знаю. Я верю в чудеса.

— Вы, следовательно, думаете, что также мог бы и Иона проглотить кита?

— Да, если бы господь этого пожелал. Но в библии об этом ничего не сказано.

— Верите ли вы, что Иисус Навин приказал солнцу остановиться?

— Несомненно.

— Не следует ли думать, что солнце тогда вращалось вокруг земли, раз ему приказывают остановиться?

— Господь всемогущ, это для него не составило бы никаких затруднений.

— Знаете ли вы, что произошло бы с землей, если бы она вдруг по приказанию свыше остановилась?

— Я этого не знаю, но знаю, что господь и в этом случае сделал бы что нужно.

— Верите ли вы, что потоп разрушил всякую жизнь вне Ноева ковчега и что по церковному исчислению он произошел 4 000 лет назад?

— Я верю тому, что сказано в библии.

— Знаете ли вы, что есть народы, которые в состоянии проследить свою историю на протяжении 5 000 лет?

— Наука спорит часто из-за ста тысяч лет, почему же я должен волноваться по поводу тысячи?!



— Знаете ли вы, что и у других народов известны версии о потопе?

— Нет, меня конкурирующие религии не интересуют.

Так допрашивали на суде вице-президента Брайана, и так отвечал вице-президент. Когда же у выхода из суда изумленные журналисты переспросили Брайана, неужели он верит в историю с Иисусом Навином и солнцем, он отрезал:

— Надоело разговаривать с ослами.

И вышел американский господь бог победителем из жестокого боя с дьяволом на суде в городе Дайтоне. И заплатил сатана господу богу штраф в сто долларов.

А блаженного Брайана через пять дней отозвал к себе господь бог. И почил вице-президент в бозе.

О мертвых—или хорошо или ничего. Поэтому промолчим о покойнике, благо столь высокого он положения. А вот другой американский покойник, знаменитый Франклин, не вице-президент, а даже президент, говорил:

— Для того, чтобы мне быть послом, нужно по закону обладать имуществом не менее 30 долларов. У меня—осел ценою в 30 долларов. Вот я и стал послом. Но осел умирает. И я не могу больше быть послом. Кто же из нас посол—я или мой осел?



## ТАМ ПРЕКРАСНО.

Правительство заботится об отдыхе граждан, оно бдит у ложа взрослого американца и у изголовья ребенка.

Вы, вероятно, думаете, что Соединенные Штаты—страна каторжного, беспредельного капиталистического труда. Так, возможно, было, но сейчас—наоборот: замечательно в Америке.

Еще недавно покойник-президент Гардинг объявил, что Америка должна не только трудиться, но и отдыхать. Он установил, что последняя неделя апреля считается неделей игры для детей и неделей отдыха для взрослых.

Его преемник, президент Кулидж, обратился с воззванием к американскому народу. Воззвание нельзя читать без умиления. Суть его:

„Задача нашей страны—дать каждому возможность использовать жизнь вне дома. Летний отдых гражданина должен быть нашей национальной задачей. Мы должны создать в этом отношении определенную национальную политику“.

„Политика отдыха“—это лозунг. Такая штука и на выборах может помочь.

Американская пресса с огромным пылом обсудила и распропагандировала кулиджевский тезис. Аргументация самая просторная: американец должен любить природу и стремиться к ней. Еще свежо предание о заселении Америки, еще влечет к себе обаяние куперовских



рассказов, еще новы рассказы о прериях, стадах бизонов, мустангов.

Отдохнуть есть где в Америке: зимой—в Калифорнии и Флориде, летом—на севере, у границ Канады, в горах. А если надоело—можно в Европу. В этом году в Европу едет более двухсот тысяч человек американских туристов.

Отдыхать и путешествовать в Америке—легкая и удобная вещь. У всякого мало-мальски порядочного американца есть автомобиль. Не какой-нибудь паршивый Форд,—они уже вышли из моды,—а большая, сильная, вместительная машина. На ней за несколько часов можно забраться в лесные дебри, на рыбную ловлю, к купанью, на охоту...

По воскресеньям на американской фабрике, чтобы машины не стояли, к ним приставляют „зеленых“ эмигрантов—литовцев, евреев, итальянцев—из безработных. В картонажной мастерской, где работал товарищ, вдруг сквозь гул машин резнул крик. Подростку-итальянцу оторвало ножом два пальца. Вошел смотритель. Потный, ленивый, раскисший от жары. Обрывком газеты поднял с пола пальцы, швырнул в плевательницу и рывкнул в сторону:

— В следующий раз не приходи!

Это пустяки для президента Кулиджа. Пусть рука с оторванными машиной пальцами не поднимется за него на новых выборах. Владельцев автомобилей, прилежных осуществителей „национальной политики отдыха“ и их денег, пока достаточно. Они поддержат.

.....

В ясный летний полдень бесчисленные радиолюбители всей юго-восточной части Соединенных Штатов услышали особенно резкие, настойчивые вызовы:

— Алло! Алло! Говорит станция Окала во Флориде на волне 705! Алло! Алло! Слушайте! Алло!



— Уважаемые лэди и джентльмены! Управление нашей станции счастливо уведомить вас о том, что им достигнута возможность предоставить вам исключительное наслаждение. Алло! Слушайте! Негр Ник Вильямс, который невежливо обратился к одному из торговцев колониальными товарами, был сегодня опознан публикой и задержан. Негра схватили, когда он отправлялся на работу. Торговец опознал в нем своего преступного оскорбителя. Из окрестных домов и гостиниц начала стекаться публика, чтобы принять участие в суде Линча над негром. Алло! Слушайте! Нам удалось убедить уважаемых граждан судить черного преступника перед микрофоном нашей станции Окала во Флориде на волне 705! Чтобы доставить возможность вам всем испытать исключительное удовольствие, как если бы вы сами присутствовали при самосуде!

— Слушайте! Алло! Внимание! Начинается! Внимание! Бледные от волнения, застывшие у трубок и громкоговорителей, американцы услышали первый звериный рев убиваемого человека и радостные крики мстящей толпы. А обстоятельный сопроводительный голос со станции продолжал давать объяснения:

— Вам, радиослушателям всей Флориды, ничего подобного еще не преподносилось. Никто из наших конкурентов не мог вам этого дать! Вы слышите визг! Это только теперь его хватают по-настоящему... Он лежит на земле!.. Ага, удар был меток. Глаза выпирают у него из орбит... Слышите, как он мяукает?.. Кричать по-настоящему уже не может! Слыхали выстрел? Теперь с ним все готово!

— Алло! Жаль, что все так быстро окончилось с черной скотиной! Можно утешаться только тем, что у нас, во Флориде, найдется еще достаточно подобных ему!.. Уважаемые лэди и джентльмены, наша передача заканчивается!



Мы надеемся, что она прошла с достаточной слышимостью, что вы хорошо принимали и полностью насладились нашей исключительной программой!.. Алло, кончаем! Алло, алло, конец.

Воздадим должное блестящему уровню американской радиотехники. И особенно—ее применению. Куда нам, косолапым, у себя хорошо радио ставить!

.....

Приезжают к нам из-за границы и говорят:

— Как это странно, что у вас так заведено совмещительство. Один и тот же человек состоит на десяти должностях. На четырех по назначению и на шести выборных. Разве это не вредит работе?

Мы отвечаем скромно и с некоторым сожалением:

— Да, конечно. Это ненормально. Людей, знаете, мало. Революция выдвинула сотни тысяч, миллион новых администраторов, государственных людей, и все-таки мало еще у нас хорошо образованных, опытных, квалифицированных работников. Поэтому приходится одному работать за четверых. Это вредит, отражается на работе,— вы правы.

Совмещительство у нас, в самом деле, цветет густым чертополохом. В последние годы—меньше, чем раньше. Но цветет.

Я знаю случаи, когда начальник милиции по совмещительству принимал детей у рожениц. Когда прокурор вечером выступал как борец-тяжеловес в чемпионате. Когда библиотекарьша одновременно была инструктором по верховой езде. Когда редактор совмещал газету с ответственным руководством местной баней. Когда председатель исполкома в то же время играл главную роль в собственной пьесе, писал рецензию о собственной своей игре и разносил по квартирам билеты.



Все перечисленные, недурные в сущности люди по мере сил применяли свои разнообразные способности, руководясь как скромной жадой маленькой славы, так и чистосердечным желанием помочь трудящимся в улучшении и украшении их жизни.

Когда после этой убогой пестроты советского провинциального совместительства оборачиваешься к культурному Западу, глаза разбегаются, и сам себе кажешься мальчишкой и щенком.

В Америке совмещают очень редко. Но уж совмещают! Франк Фаррингтон двадцать лет работает в профсоюзе углекопов штата Иллинойс. Вернее—работал. Франк Фаррингтон двенадцать лет состоит председателем союза в этом штате. Вернее—состоял.

Как председатель союза получает Фаррингтон жалованья в год пять тысяч долларов—десять тысяч рублей. Почти по тысяче в месяц. Вернее—получал.

И одновременно занимал другую должность, тоже профсоюзную, и по ней получал второе жалованье. Двадцать пять тысяч долларов—пятьдесят тысяч рублей в год. Четыре с лишним тысячи в месяц.

Вы будете долго мучиться, если попытаете разыскать тот второй профсоюз, где Фаррингтон получал добавочные пятьдесят тысяч.

Нет такого союза.

Как обнаружили разоблачения, миляга Фаррингтон, получая десять тысяч за защиту интересов копошащихся в земле горняков перед капиталистами, одновременно „дорбатывал“ впятеро большую сумму у шахтовладельческой компании Пибоди, защищая интересы ее перед горняками.

Конечно, тайно защищал и тайно получал.

Вот это—совместительство! Спокойное. Не требующее беготни по нескольким службам. Две должности в одном



месте. И много лет длилась двойная работа Фаррингтона! Только теперь она разоблачена.

Конечно, раскрытие „второго жалованья“ Фаррингтона вызвало большой скандал в американских рабочих кругах. Ни у кого не было сомнения—как и у нас с вами,— что пятьдесят тысяч были для председателя профсоюза основной ставкой, а десять тысяч—добавочной. И что, само собой разумеется, интересы компании Пибоди энергичный совместитель считал для себя основными, а интересы горняков—добавочными.

Были телеграммы о том, что Фаррингтона увольняют, что он выходит в отставку. Не то в ноябре, не то немедленно. А потом он опять выплыл.

Где?

Ну, конечно же, на конгрессе английских профсоюзов в Борнемуте! Туда прибыл Фаррингтон в качестве представителя американских братьев-горняков.

Разбирая историю рассказанного нами предательства, „Таймс“, безо всякой улыбки, со зловещим ехидством мудрого филина добавляет:

„Надо полагать, что забота о будущем своих детей заставила господина Фаррингтона искать добавочных источников денежных средств“.

Безусловно, Фаррингтон заботился не о себе, а о детках своих. Да простит всевышний его прегрешения. „Таймс“ их прощает... Тем более, что, прибыв в Англию, „вождь“ заявил, что, по его мнению, английские горняки должны оставить всякую надежду на сохранение прежней заработной платы и согласиться на значительное ее снижение.

Совместитель Фаррингтон английским правительством пропущен в Англию как почетный гость. Он прибыл на конгресс профсоюзов в Борнемут, он будет на нем



выступать, всходить на трибуну, откашливаться, говорить вытирать платком лоб и пить из стакана воду. Никто не схватит графина и не...

А товарищ Томский в Англию не пропущен. Ему отказано в визе. Он признан правительством вредным советчиком английского рабочего класса, недостойным чести переступить порог Соединенного королевства. Великий британский остров закачается и весь скроется в волнах, если только Томский и его товарищи внесут под своды борнемутского зала московскую пыль на своих подошвах!

.....

Долго, нудно тянулось следствие по нефтяному делу. Вначале, пока были обнаружены только первые участники нефтяной панамы, все шло довольно гладко.

Судебные чиновники в интервью с репортерами рассказывали нефтяные страсти, а вся Америка ежедневно с восхищенным ужасом ахала:

— Нет, какие мерзавцы! Ведь как воровали, а?! Ведь это ж надо уметь так воровать! Ну, и ребята! А?!

Вдруг—неприятность. Кое-кто и из судебных следователей оказался не без греха. У одного несколько нефтяных акцишек завалялось на самом дне кармана. Другой еще совсем недавно получил за прекращение нефтяного дела взятку выше средних размеров, крепко и убедительно пахнувшую керосином.

Америка (общественное мнение!) смущена. Но, преодолев первый конфуз, еще больше заволновалась.

— Вот оно как—и судейские с ними снюхались? Ну, и наро-од! Волоки судейских! Тащи к главному прокурору! Он, голубчик, все разберет. Попадет вам всем на орехи! Ж-жулики...

Но в кабинете у главного прокурора Соединенных Штатов Догерти обстановка стала еще более странной.



Высшее юридическое начальство в республике вдруг, неожиданно для всех, стыдливо потупило глазки, вытерло платочком рот и поспешно застегнуло сюртук.

Но было поздно. Все присутствующие заметили внушительные жирные пятна—не только на жилете. На сюртуке, на манишке, на репутации генерал-прокурора!

Когда и Догерти оказался измазанным в нефти, американцы приуныли. Кто же будет судить нефтяных преступников? Для правосудия уцелела только одна инстанция. Только президентское кресло торчало над нефтяным разливом.

Но даже и тут...

Американцы подозрительно потянули носом: из Белого дома явственно пахло чем-то горючим. Нефть—не нефть, а что-то в роде очищенного бензина чувствуется.

С этого момента телеграммы о нефтяной панаме начинают из Америки приходить сбивчивые, неясные и противоречивые.

Сенатская комиссия заседает, обвиняемых допрашивают, результаты неясны, вообще в чем дело—неизвестно.

На вопрос о происходящем американские патриоты и официальные информаторы отвечают нечленораздельным мычанием и небрежным пожиманием плеч.

И вдруг—просветление. Темные загадочные тучи раздвинулись. Выглянул веселенький луч.

Американцы, выше головы! Звездный флаг на мачту! Он чист и незапятнан! Разгадка проста и убедительна!

Правая американская газета „Нашионал Репэбликэн“ первая сообщила истинную подоплеку нефтяных скандалов.

Вы хотите знать! Но разве вы не догадываетесь?

Ясно же—во всем виноваты большевики.

Как дважды два—четыре доказывает „Репэбликэн“, что именно советское правительство подстроило всю нефтяную панаму.



„Лица, ведущие следствие, подражая тактике Ленина и Троцкого, ставят себе целью свержение нынешнего правительства путем дискредитирования республиканской и демократической партий“.

„Вся программа следствия выработана в СССР, где были недавно следователи—сенаторы Уилер и Лэдд“.

Вот оно что! Кто бы мог подумать.

Неужели американские нефтяные воры думают спастись таким простым и наивным приемом?

Очевидно.

Ссылки на советскую власть американская пресса охотно, наперебой подхватит. Что останется делать: ведь керосиновые пятна просвечивают и через листы всех крупнейших американских газет.

А читатели? Бедные идиоты. Бедная страна—с миллиардерами, небоскребами, резиновым протезом „морали“, ослиными ушами „общественного мнения“.



## НАСЛЕДСТВО ГАРЛАНДА

**А**МЕРИКАНСКИЕ истории—в ходу. Вот, послушайте еще одну американскую, свеженькую.

1. Карл Гарланд. Рабочий на заводе в Соединенных Штатах. Жизнь песчинки. Труд муравья. У песчинки партийная карточка, она платит в страховую кассу,—кому это интересно? Только в обжигающем смерче революции песчинки рушат железо. А отдельно—пустяк. Молекула.

2. В американской машине судеб что-то спуталось. Обычно работает аккуратно эта машина. Золотозубые дочери спичечных королей выходят замуж за нищих—жеребчиков из старинных шотландских родов, овзрослевшие футболисты-сынки перенимают богатства дряхлеющих миллионеров... Но со всякой машиной бывают срывы. И случилось:

3. Карл Гарланд неожиданно получает наследство от умершего дальнего родственника. Не дурак-футболист, не пломбированная мисс, а рабочий Карл. На рабочего, серяка, песчинку, свалился ком золота.

4. 850 000! Почти миллион долларов. Вы знаете, что такое миллион долларов? Карл Гарланд, рабочий в капиталистической стране, получил доллары в полное распоряжение.

5. Немедленно: 1 200 газет, 50 000 репортеров, 100 000 фото- и киноаппаратов взяли на прицел счастливого. Сейчас миллионы читателей-зевак увидят в газете, в журнале, на экране презабавное зрелище. Закопченный шахтер превратится в богача, наденет лакированные башмаки,



сядет в автомобиль, будет осматривать свою новую виллу! Смешнее, чем Чаплин.

6. Но случилось еще более неслыханное. Нечто совсем сумасшедшее. Карл не хочет брать себе денег. Он отдает деньги братьям-рабочим. Песчинка не раздавлена грудой золота. Ее уберегла партийная карточка, сердце пролетария.

7. Да, да! Карл Гарланд решил отдать целиком все полученные деньги на распространение просвещения среди рабочих, на рабочие школы и университеты. Он не желает пользоваться для личных целей золотом, которого он не заработал. Так заявил Карл Гарланд 1 200 газетам, 50 000 репортеров.

8. Шум и грохот? Приветствия, похвалы и превозношения? Нет, дикий вой, злоба, душная ненависть. Полторы тысячи газет, армия писак громят мерзавца Карла Гарланда, чернят позором, топят в презрении. Они все протестуют против образования „фонда рабочего просвещения“ на личные средства Гарланда.

9. В сущности, кому какое дело? Разве не волен гражданин свободной Америки распоряжаться благоприобретенными им деньгами? Ведь священное право собственности незыблемо в Соединенных Штатах.

10. Незыблемо, конечно, но...

11. Вот на бурливую поверхность вспененного неслыханным поступком Гарланда общественного мнения величаво выплывает авторитетный в сих вопросах кит. Американская федерация труда и седовласый патриарх ее, достопочтенный патриарх Самуэль Гомперс, да будет четырежды благословенно имя его детьми каждого фабриканта.

12. Благочестивый Самуэль Гомперс озадачен. Он просит извинения, но он даже не совсем понимает, что случилось. Чтобы рабочий отдал миллион долларов на



просвещение рабочих же? Чего-с? Ошалел, что ли?! Еще если бы милосердная фабрикантша, да продлятся дни ее, пожертвовала тридцать долларов на приют для безногих... Но чтобы рабочий? Да в своем ли уме!.. Восемьсот пятьдесят тысяч! Дело ясное: или безумец, — тогда пожалуйста в сумасшедший дом, или, вернее всего, большевик, агент Коминтерна, шпион, преступник, враг благородного Гомперсова отечества, крамольник, стриккулист, — на скамью подсудимых его, под суд, в тюрьму!

13. Ну, уж если Самуэль заговорил! Газеты умывают руки. Смотрите — сам патриарх социализма заклеил гнусные планы сумасшедшего большевика Карла Гарланда. Ату его, ату!

14. Карл Гарланд — рабочий, он не боится. Карл Гарланд тверд. Он заявил:

— Я родился, вырос и получил воспитание в рабочей среде. В среде, где ужас и несправедливость экономического строя, чередование величайшего богатства с тяжчайшей нищетой объяснялись тем, что, мол, каждый-де имеет одинаковую возможность приобретать и тратить блага мира для себя. Так вот, чорт подери, я желаю использовать полученные мною блага, как хочу! Наследство, мною полученное, является продуктом экономической системы, которую я хотел бы уничтожить, и я чувствую, что могу помочь этому, отдав полученное наследство на просвещение своих братьев. И точка.

15. После гарландовского заявления добрый Самуэль Гомперс совсем осерчал и рассвирепел. Дело ясно, как апельсин: большевистские каверзы. Уж этого он не допустит!

16. Гомперс принял меры, и ныне —

17. Карл Гарланд привлечен к суду по обвинению в попытках к ниспровержению существующего государственного и социального строя.



Вот американская история Карла Гарланда. Читатель— не маленький, ему нечего прибавлять морали к описанному. Но пусть это будет лучшей иллюстрацией, когда приходится говорить о делах и днях американских социал-предателей.

Мы презираем Гомперсов и не боимся их, ибо их отмирающая Америка—карлик рядом с грядущей Америкой Гарландов. Мы не отказываемся от целой части света, мы знаем, что класс Гарландов отберет ее у угнетателей.



**МИСТЕР ВИЛЬСОН** высок и тонок. Твердой худобы. Губы узкие, зубы длинные, глаза холодные. Я никогда не видал мистера Вильсона. Только на портретах.

Мистер Вильсон приехал из Америки на дредноуте „Пенсильвания“. Он остановился в Париже, на улице Монсо. Потом прибыл в Лондон, беседовал с королем и Ллойд-Джорджем. Он съездил и в Италию, сказал там в нескольких городах несколько речей и вернулся назад в Париж.

Двадцатого января Вильсон в огромном зале Версальского дворца открыл первое заседание всемирной мирной конференции, первое заседание всемирного военно-полевого суда с целыми государствами на ролях обвинителей и обвиняемых. Первое заседание сложного и путанного суда, где подсудимые уже наказаны, но должны еще сами себя сечь. Где перемешались со всех скамей пострадавшие со свидетелями, преступники с прокурорами, обиженные с обидчиками. Суда, желавшего судить и Россию—бывшую и будущую. России настоящей, Советской России, суд не смел трогать.

Мистер Вильсон—председателем на суде. Он уверен и величественно улыбается. У него есть четырнадцать пунктов, он демократ.

Демократия, о милое резиновое слово! Оно легко и вместительно, как фибровый чемодан. Оно растягивается, как патентованные подтяжки Гюйо. Как много в этом слове для уха нашего слилось! Чернов и Деникин, Эмиль



Вандервельде, нефтяные компании, фиолетовые лучи и суфражистки, король Георг, свобода морей, Юз, расстрелы рабочих, Кускова, самарская учредилка, петлюровские погромы, Уот Уитман и маршал Фош.

До президентства Вильсон был профессором и губернатором. Его предмет был государственное право, его идея—демократия. Ученые труды профессора были насквозь пропитаны его демократизмом. Вот наудачу книга Вильсона—„Сити“ (государство). Вот наудачу страница—241:

„Прусская королевская система управления может служить типом наивысшего развития административного дела в Германии. Пруссия успешно добилась большего совершенства по административной организации, чем какое-либо другое государство в Европе“.

На странице 245 цветисто восхваляются целесообразные и благоуспешные заботы Гогенцоллернов о благоденствии Пруссии, сравниваются прусские короли с римскими императорами.

Демократизм профессора Вильсоналучился из его многодумной головы, преломлялся, как через призму, через Вильсоновы труды, светил яркой радугой в делах губернатора Вильсона и президента Вильсона.

И не даром богатые трестовики чувствовали себя, как говорят, лучше всего в Вильсоновом штате Нью-Джерсей, и не даром после четырнадцати пунктов и душеспасительного председательствования на Версальском конгрессе германский народ в судорогах высунул язык, задавленный намыленной петлей Антанты.

Мистер Вильсон хотел быть спасителем мира. Об этом в благоприятном смысле много трещали газеты, а в каком-то городке, в Чехо-Словакии, что ли, назвали Вильсоновым именем улицу. И даже старый тигр Клемансо обозвал президента ангелом в цилиндре.



Умер Вильсон! Мы кладем на могилку бумажный цветок в сорок строчек. И читатели подавляют зевок.

Что ж это, судьба личностей?

Нет, судьба идей. И классов.

.....

На Западе цветущий возраст для политического деятеля—после шестидесяти. Раньше этих лет депутат или чиновник считается юношей, а до сорока лет юным пионером.

Живость иностранцев в поздние годы достойна удивления и подражания. Ее можно было бы поставить в пример нашим работникам, если бы... если бы Ллойд-Джорджи и Клемансо посидели бы хоть десятую соответственно часть в русских тюрьмах.

...Очередной молодец, лихо поводя плечами, пустился в присядку по политическим подмосткам. Сенатор Лафоллет покушается на американское президентское кресло—есть такой род мебели.

Готовился Лафоллет к своему выходу никак не меньше шестидесяти лет, имея в виду, что ему сейчас почти восемьдесят.

Столько лет подготовки, а все-таки трудненько приходится. Пролезть в Америке в президенты—не чаю напиться. Чего-чего только не переменялось, пока Лафоллет вычищал свои доспехи и набирался духу для прыжка... Началась война, кончилась война. Начались Вильсон и вильсонизм, кончились Вильсон и вильсонизм. Начались большевики и большевизм... не кончились большевики и большевизм. Не собираются кончаться.

Лукавый попутал седовласого юношу Лафоллета. Решил он поставить на красную лошадь.

На Западе одно из главных искусств политики—это, разнюхав, откуда пахнет едой, легко, на рысях, побежать впереди повара, крича: „несут, несут, несут!“ Тогда от блюда кричавшему перепадает хороший куш.



Лафоллет рассудил (ошибочно рассудил бедняга Лафоллет!), что еда подвернется из России, в связи с быстрым признанием ее Америкой. Решил забежать вперед. Съездил (какая энергия в преклонные лета!) в Советскую Россию, что-то такое здесь выяснял, вернулся, начал действовать.

Испокон века в Америке существовали и боролись только две буржуазных партии: республиканская и демократическая. На этот раз, при энергичном содействии прыткого Лафоллета, образовалась была новая, третья партия, присвоившая себе название прогрессивной.

По этому поводу советским оптимистам нет никаких причин для ликования. Лафоллетовская лошадь, то бишь партия, оказалась совсем не красной. Так себе, бледно-розовый, линючий цвет с желтизной.

Облеченный в розовую с голубенькими цветочками программу „третьей партии“, верхом на ней, Лафоллет вышел на турнир за президентский стул. Но в ходе предвыборной кампании выяснилось, что на розовый цвет и особенно на коммунизм у американских буржуев и мещан не ахти какая мода. Последний крик сезона—белый балахон фашистов, черный колпак ку-клукс-клана.

И тогда... и тогда почтенный сенатор Лафоллет,—семьдесят девять лет, жена, дети, пышная седая шевелюра—в самый разгар президентских бегов, на всем скаку розовой лошади соскочил с нее и побежал к финишу, к креслу пешком, без партии, на своих на двоих! А ошалелая лошадь, то бишь, новорожденная и не расцветшая партия, закусив удила, опрокидывая и круша на пути челюсти и репутации, несется без седока—куда?!

Вот она где, сноровка, стаж, практическая мудрость жизни.

Бытие определяет сознание—это постиг Лафоллет. Правда, постиг по-своему, по-американски, но зарубил себе на носу.



Бытие Лафоллет понимает—быть президентом. Ясно, что ради такого бытия стоит—даже в преклонные годы, когда нечего терять, кроме отсутствующей чести,—переменить любую программу, любую ориентацию и политический цвет.

Клялся Лафоллет на всех перекрестках, что никакого, даже самого маленького, отношения к коммунистам он не имеет, что первейший им враг и вообще даже за людей не считает. Клялся и шумел, пока его, старенького, суетливого и смешного в запоздалом беге за властью, не подобрала небрежно в корзинку смерть.



## ОТЕЦ И СЫН

**С**ЛЕПЫЕ отлично разбираются в музыке, они знатоки в декламации и в гастрономии. Не надо только доверяться их суждениям о кино!

И затем: слепота кроется не только в искаленных глазах яблоках. „Слона-то я не заметил“,—это написано о физически зрячих людях.

То, что мы, именуюя мировой революцией, ждем как некое далекое календарное событие, на самом деле пришло и не оставляет нас. Разве можно в промежутке между двумя перерывами ветра уверять, что буря стихла? Мы в самой гуще мирового исторического революционного процесса. В горячей его полосе. А если не чувствуется этого, то только по глухоте и слепоте.

Слепые не видят совсем ничего. Близоруким же нужны, кроме масштабов, кроме газетных телеграмм и статистики о добыче угля в Англии,—большие жесты. Яркие поступки. Сильные движения. И не где-нибудь, а здесь, на месте. Иначе они революцию себе не представляют.

Есть и для близоруких. Вот лежит на столе письмо одного сына к одному отцу. Только письмо. Но в нем—эпоха во всей буйной своей красоте.

Пишет сын Чан-Кай-Ши своему отцу....

Нам довелось докладывать рабочим завода „Самолет“ о событиях в Китае. О великих столкновениях огромных человеческих масс. О разбуженном и воспламененном четырехсотмиллионном людском муравейнике. О победах и неудачах народно-революционного движения.



Рабочие поняли главную суть противоречивых китайских событий, их непреклонное движение к важной для нас цели. Они выразили свое понимание единогласной резолюцией. Но отдельно, сама по себе взятая, подлость одного человека, измена Чан-Кай-Ши была им явно тягостна.

Старые металлисты хмуро покачивали головами, неодобрительно переглядывались. Кое-кто укоризненно глядел даже на двух чернорабочих-китайцев, застывших во время доклада, как бронза. Словно и они в чем-то виноваты!

Подали записку:

„Здесь, в Москве живет сын Чан-Кай-Ши. Он, говорят, здесь учится. Стоит ли нам обучать сына такого прохвоста?“

Я тогда же ответил, что обучать стоит. Что сынок Чан-Кай-Ши в отца не пошел, что он коммунист и, несомненно, осуждает поведение отца.

А вот сейчас есть в руках письмо молодого Чана к отцу.

„Кай-Ши!

Я думаю, ты не слушаешь того, что я буду говорить, не захочешь читать это письмо. Но я пишу последнее тебе письмо; мне все равно, прочтешь ты или нет.

Сегодня я хочу повторить твои слова. Помнишь, ты писал мне: „Я знаю только революцию и готов умереть за нее“. Я отвечу тебе теперь: „Я знаю только революцию и больше не знаю тебя как отца“.

В великой борьбе сотен миллионов людей против своего классового угнетения что значат одиночные драмы отцов и детей? Но здесь как будто сама история делает свои пометки двумя карандашами-людьми. Чан-Кай-Ши притворялся или искренно верил, что участвует в китайской революции, борясь по левую сторону баррикады.



Он послал своего сына учиться в мировую революционную столицу. Но неумолимый ход вещей все повернул иначе.

„Я не могу понять, почему ты раньше говорил мне о необходимости борьбы пролетариата и ты хотел сделать меня революционером... Твои прошлые поступки обратны с нынешними действиями. Но я сделал то, что ты говорил мне раньше. Я стал революционером. И потому—я твой враг“.

Окруженный богатыми либеральными мандаринами, упоенный трудными победами над северянами и легкой победой над беззащитными шанхайскими рабочими, богатый и удачливый генерал чувствует наполеоновское головокружение. А в это время за десять тысяч верст семнадцатилетний парнишка в протертых штанах хмуро месит грязь московских переулков и, прикусив губы, относит на почту смелую отповедь отцу.

„...Как горячо приветствовали тебя китайские массы, когда ты начал северную экспедицию! Они любили тебя, надеясь, что победит китайская революция, что империалисты будут изгнаны из Китая. Но Чан-Кай-Ши не оправдал их доверия. Сегодня—ты враг китайского народа. Теперь ты—„героическая“ фигура контр-революции и новый милитарист“.

„...Ты расстрелял в Шанхае рабочих. Конечно, сейчас буржуазия во всем мире будет хлопать тебе: „Молодец Чан-Кай-Ши!“ Ты получаешь и деньги от империалистов. Но не забывай, что есть и пролетариат. Он тоже во всем мире откликнулся на твое предательство. Московские рабочие считают шанхайских рабочих братьями. То, что ты сделал, они считают расстрелом своих братьев. В Москве были демонстрации и собрания, посвященные твоему предательству. И единственным лозунгом этих собраний был лозунг: „долой Чан-Кай-Ши!“



Сейчас, может быть, генералу не до сына. Генерал в лихорадке, возбужден азартом борьбы, волнением предательства, лестью новых друзей. Но предвестником расплаты пристально смотрит издалека волчонок-сын, посылает пророческие слова.

„Ты использовал переворот и сделался „героем“. Но победа твоя временна и непрочна. Чан-Кай-Ши, честное слово, коммунисты с каждым днем крепнут силами для будущей борьбы. Извини, пожалуйста, но мы легко разделаемся с тобой. Борясь с капиталистами, убрать тебя, их пешку—не так трудно“.

Чем дальше, тем сложнее, грознее и жесточе становится борьба классов. В нашу эпоху уже стало рядовым явлением то, что революция захватывает на свою сторону даже сыновей злейших ее врагов. Буржуазию оставляют ее дети. Ее оставляют силы. Ее оставляет разум. Ее оставляет время. Время уже не с ней!

1927



**В** МОСКВЕ, в дни своего пребывания, как гостя, Фын-Юй-Сян производил не плохое впечатление.

Было что-то внушающее доверие в этой крепкой коренастой фигуре, в стриженной солдатской голове, в круглом лице с простодушной улыбкой.

Фын разительно отличался от других, тоже малопонятных приезжих китайских заправил. Он был противоположен Ху Хан-Мину, тоненькому, поджарому, засушенному как мумия, настоящему мозгляку-интеллекту.

Казалось—вот, наконец, настоящая, надежная фигура в среде китайской военщины. Человек от земли. Близок к крестьянству. Как будто, понимает его и хочет ему служить.

Кое-какие странности, совсем мелочи с точки зрения больших масштабов тревожили писательский глаз при взгляде на Фына.

Он, например, будучи чистокровным китайцем, весьма ревностно исповедывал христианскую веру. Не расставаясь с молитвенником.

Казалось бы—не все ли равно, что христианин, что язычник-буддист. Оба хуже.

Все-таки, разница кое-какая есть. Христианство китайцы принимают через английских миссионеров-священников. Вместе с христианством получают целое мирозерцание, целую систему ханжеского лицемерия, елейных формул отношения к жизни и людям.



Христианское благочестие, полученное через британское министерство колоний, в соединении с китайскими церемониями и традициями, Христос и Конфуций вместе в одном человеке—не слишком ли духовитое блюдо?

Церемонии у Фына, действительно, были самые китайские. После того, как расколошматили его вдрызг, Фын „персонально эвакуировался“ в СССР. И при этом счел своим китайским церемониальным долгом заявить:

— Я еду в Советскую страну [на десять лет. Меньшего срока мне недостаточно, чтобы изучить и перенять законы и методы этой великой страны. Чтобы изучить все порядки по-настоящему, я поступлю рабочим на советскую фабрику. Ведь только так я смогу хоть кой-чему научиться!..

Несмотря на свои официально столь скромные намерения, Фын приехал со своей свитой, может быть, и небольшой, но сверхдостаточной для человека, собирающегося поступить рабочим на завод. Один из свитских человек и показался мне второй странностью, о которой я спросил у генерала:

— Кто этот громадный человек, ростом еще выше вас и могучее телосложением?

Генерал любезно разъяснил, что оная личность является его, Фын-Юй-Сяна, личным телохранителем, но что настоящая квалификация этого телохранителя—другая. Он по стажу своему—один из лучших в армии полковых палачей.

Из дальнейших подробностей, которые мы выслушали, покачивая головой, выяснилось, что палач есть штатное должностное лицо в военных частях всех китайских генералов. Палач выполняет свои функции с огромной нагрузкой и ведет хлопотливую свою работу с утра до ночи.

Во время объяснений, передававшихся по-английски, сам палач мило и приветливо, слегка скучающе, улыбался.



этаким большой ребеночек! Наверно, скучает здесь, в Москве, без дела. Не осаждают его больше беспокойные клиенты, не суют ему служебных записок: „Предъявитель сего, уважаемый и достопочтенный Вун-Чхо направляется к вам на предмет отрубания головы“.

Фын отбыл на родину, не досидев из намеченных им для учебы десяти лет всего только девять лет и восемь месяцев. Мы знаем о Фыне, что, почуяв запашок первых побед и начав приближаться к Пекину, он спешно предал рабочих и крестьян, служению которым он уехал учиться в СССР в тяжелые дни.

У Фына появился новый друг—Чан. Вместе—веселее. И самим генералам, и их палачам.

Даже хладнокровная английская газета в Шанхае несколько смущена, описывая приезд опричников Чан-Кай-Ши в Нинбо:

„Мрачное впечатление производила процессия одиннадцати полковых палачей с их большими двухсторонними ножами, висевшими на плече“.

Вероятно, и знакомый нам миляга-телохранитель Фын-Юй-Сяна сейчас уже не скучает. Он нашел работенку, рядом со своими новыми сослуживцами.

Почему же почтенный полководец так быстро забыл все церемонии в отношении рабочих и крестьян? То собрался на целых десять лет трудиться у станка, то вместе с другим предателем расстреливает, истязает, топит в крови пролетариев и крестьян своей родины.

Манера, что ли, такая китайская?

Нет, не китайская.

Генеральская манера. И существует она во всех странах.

Не генеральское это дело—революции совершать. Если и совершают генералы революции, то только с приставкой „контр“.



Пока переживает всякая революция свои первые взбаламученные весенние дни, генерал виден с красным бантом на груди. Справа от него ничего хорошего не видно, и генерал жметя влево.

Приходится в такие дни почти всякому генералу шагать попутно с революцией. И приходится—что делать!—почти всякой революции терпеть в такие дни попутчиков с эполетами.

Но дальше—дальше иначе! Почуяв власть, генерал отбрасывает церемонии.

А революция? Тоже! И она в определенный момент отбрасывает церемонии с генералами.

Так бывает повсюду. И даже в Китае, в краю самых старых церемоний, быть по сему.

Озверелые генералы, забыв о всяких китайских церемониях, рубят головы беднякам, трудящимся. А китайские бедняки, получив наглядный урок отмены церемоний, скоро отменят и генеральские головы. Голов мало, рубить их будет легко.



**ДОЖДЬ ИДЕТ.** Стремительный, радостный, свежий. Во-время. Вместе с пылью смывает в потемки труб спертую духоту Москвы. Он всегда во-время, он только раз запоздал, дождь. Вы помните духоту четырнадцатого года? Она висела над Европой, расслабляла народы тяжелой истомой, как ядовитый военный газ, а за нею, безнаказанно и быстро, правительства разыграли поспешную небрежную интермедию, предшествовавшую убийству десяти миллионов человек.

Первое августа. Газеты писали: „Грянь война, и будь последней!“ На политическом помосте актеры в униформах царей, королей, дипломатов, министров, спешно глотая пересохшими горлами слова, говорили роли, делали исторические жесты. Несколько статистов из „низшего класса“ были благосклонно допущены на маленькие ампула лакеев, горничных, кучеров.

Где великолепные лицедеи предвоенной пьесы? Их смело. Первый шквал 17—18 годов рвал, ломал и выкорчевывал королевские троны, как редьку.

После романовского дебюта думали, что удастся удержаться, но нет, не повезло. И пошли, и поехали. Вильгельм Гогенцоллерн, с усами в стрелочку, с наполеоновской выправкой, Карл австрийский, томный, с восемнадцатью вагонами мебели, утвари и вышитых гарусом подушек, Людвиг баварский, с тремя вагонами, Фердинанд болгарский, только в одном. А всякие гессен-дармштадтские, вюртембергские, мейнингенские, эти—в отдельных



купэ международных вагонов, в автомобилях, в фаэтонах, верхом и пешком.

Куда? К чорту! Не интересно.

Мир был в обмороке, борьба в разгаре; миллионы бойцов распростерты в пыли и крови. В угасающем зареве „великой“ империалистической войны, в пламенном росте войны гражданской одинокая дюжина расшитых золотом и красками людей, спотыкаясь, проковыляла через окопы и могилы, спасаясь кто как мог.

Когда стих ураган, стало видно, что угнетатели уцелели в пяти шестых мира. Но золотой убор слетел с множества голов, чтобы больше на быть надетым.

На монархической карте Европы середина совсем облысела. Франция, Германия, Австрия, Венгрия, Чехо-Словакия, Польша, Россия уже не знают помазанников божьих. Короли удержались по краям. Они окаймляют Европу робкой ленточкой: Скандинавия, Англия, романские страны, Балканы.

В других частях света еще свободнее. В Америке и Австралии совсем бестронно. Несколько псевдо-монархических ублюдков, содержимых за счет Антанты в Северной Африке. Весь великий азиатский материк, очищенный (кроме „буферного“ Афганистана и Персии) от коронованных владык. И островной микадо в „стране восходящего солнца“...

В России Февраль поблек в тени Октября. Но Февраль—весенняя гроза, расчистившая поле для битвы. Феврали и карты нужны, мы ждем их повсюду. Пусть тают снега. Пусть, гонимые вешними лучами, с „окрестных гор“ стекут первые мутные ручьи.

Республиканский переворот в стране—это поднятый занавес, сигнал к началу действия. Это лучшая, обнажающая неизбежность классового переворота, иллюстрация для темных масс. Ибо, свернув шею монарху, народ



остается даже внешне один-на-один, лицом к лицу со своей бужуазией.

Грядите скорей, очередные Феврали, если не пришел еще срок Октября! Монархи, пошевеливайтесь! Ищите другие производительные профессии.

Издатели всех стран, печатайте новые детские сказки без добрых королей и трогательных принцев! Библиотекари, начните чистку своих хранилищ! Снимите с дубовых полок ставшие ненужными десятки тысяч томов! Кидайте в окно панегирики и льстивые восхваления Буало и Сумароковых, романы о царях от апокрифического „Александра Македонского“ до Германа Банга и Мережковского, трагедии от Софокла до Эдмонда Ростана, поэмы и тьмы стихов о пажах и королевских оруженосцах! Скорее—сметет и вас!

Скипетры и белые камергерские штаны с лампасами проданы с аукциона, украшают большие кафешантаны, где веселится мировой скоробогач. Но статисты! Вот кто сделал карьеру. Одиннадцать раз миновал август, и робкие любители с кривонаклеенными бородами и слишком просторными ливреями выросли во всемирных артистов.

Сегодня—им восторг и слава. Поэты, вы щеголяете чрезмерной отзывчивостью на газетные телеграммы. Воспойте великих артистов социализма!

Четвертого августа четырнадцатого года молодой человек сорока девяти лет, с благообразной сединой вышел из левой кулисы перед застывшими в безмолвии ужаса миллионами глаз. На сцене стояла декорация заседания германского рейхстага. Миллионы людей, сжимая зубы в последней надежде, ждали громового, раздирающего, гневного слова против империалистической войны. Но сорокадевятилетний лжесоциалист Филипп Шейдеман шаркнул ножкой и сказал:

— Кушать подано.



Когда Шейдеману исполнилось шестьдесят лет, старый Гинденбург—какой он умница!—послал выдвинувшемуся актеру изумительную телеграмму:

„Искренно желаю вам и в дальнейшем с тем же успехом и в том же направлении работать для страны и (!!!) для вашей партии“.

Смеялся ли Гинденбург, подписывая телеграмму? Во всяком случае, вся страна помирала со смеху над этим мудрым юбилейным приветствием вождя германских военных националистов лидеру „интернациональных“ немецких социал-демократов.

Вероятно, только один человек в Германии не понял зловещей шутки Гинденбурга. Сам юбиляр. Филипп Шейдеман. Как он мог понять эту иронию, если сам в своих записках без всякого стыда, но, наоборот, со слезливым умилением чеховского Фирса вспоминает о служении германской военщине и самому кайзеру.

Шейдеман у канцлера Бетман-Гольвега, после объявления войны. Разговор буквально передан самим Шейдеманом:

Он:—Ну, в общих чертах я считаю возможным допустить, что большого вреда вы нам не причините.

Я:—Позвольте, ваше превосходительство,—большого вреда? Я надеюсь принести вам большую пользу!

„Обсуждение порядка заседания рейхстага. „Оставался еще один подводный камень: „ура“ императору... Я шепнул на ухо сидевшему рядом со мной депутату Шпану, так громко, что Дельбрюк должен был услышать: „В крайнем случае я считаю приемлемым „ура“ императору, народу и родине“. Дельбрюк сейчас же подхватил эти слова“.

Немецкие актеры отличились больше всех. Они помогли сделать свой народ самым несчастным из всех народов. Потому они и сделали самую лучшую среди



всех социалистов карьеру. Но французы? Разве они, начав в четырнадцатом году подавать подносы, не выслужились в премьеры первого ранга в международной политической оперетке?

В годовщину „великой войны“ французский социалист Александр Варрен назначен генерал-губернатором самой страшной из колоний Франции, генералом-губернатором Индо-Китая.

В Индо-Китае под французским флагом до сих пор процветает крепостное право. Колониальные власти дарят концессионерам не только землю, но и все необходимое для ее обработки, включая рабочие руки. Под угрозой штыка крестьяне-аннамиты обязаны бесплатно возделывать чужую землю. Католическая церковная миссия одна владеет четвертью всей пахотной площади Кокхинхины. Путем целой системы фантастически темных и преступных фокусов она вырывает из рук туземцев остающиеся участки. Совсем недавно власти, отняв у аннамитов горной полосы тысячу гектаров для раздачи спекулянтам, послали туда аэропланы, чтобы жертвы грабежа не вздумали бунтовать. Обворованные, разоренные и изгоняемые крестьяне пытаются на новых местах превратить новь в рисовые поля. Но как только новь поднята, власти отбирают ее или заставляют крестьян откупать ее по диким ценам. Кто не может платить, безжалостно изгоняется...

И всем этим великолепным разбоем над полуголыми черными бедняками отныне командует французский социалист в белых брюках! Разве французское правительство, подписавшее это назначение в одиннадцатую годовщину кровавого августа, разве оно меньше одарено юмором, чем Гинденбург?

А англичане! Во дворец шведского короля прибыл по приглашению на всемирный церковный конгресс



Рамзей Макдональд. Британский „рабочий“ лидер заседает вместе с Цанковым и канцлером Лютером, совместно служит панихиду по патриархе Тихоне. И это тоже— в годовщину войны, в дни, когда сироты и вдовы десяти миллионов в великой злобе скрючивают пальцы, ища горла виновников!

В старину богомольные помещицы заставляли для отпущения грехов поститься вместо себя своих служанок. Может быть, брат во Христе Макдональд и чувствует свою и своих друзей вину за август четырнадцатого года. Но он заставляет поститься за себя английский рабочий класс.

Ничего! Во второй раз буйный осенний ливень не запоздает. Он смывает прелую августовскую гниль, развеет страшную духоту, предшествующую новому преступлению.



**РУССКАЯ ДЕВОЧКА** в Париже объясняет своему младшему брату:

— Попугай, зеленый, это—такой русский ресторан.

Других попугаев девочка не видела, не знает. А ресторан знает.

Девочка знает и других животных. У ней обширные знания по зоологии:

— „Лебедь, черный“, это тоже ресторан в Париже.

— А крокодил что такое?

— Это бар такой, „Крокодил“. В роде ресторана тоже.

— А медведь?

— „Медведь“? Ресторан, конечно. Раньше он в Петербурге был. Теперь в Париже, на Монмартре.

— А еще какие?

— А еще—„Жаворонок“, „Жар-Птица“, „Синяя Птица“. Еще есть „Голубой Алмаз“ и „Перламутровая Раковина“. Только последние эти, кажется, не звери.

Девочке легко спутать. Кругом нее беспрестанные разговоры. Родитель, солидный мужчина с генеральскими подусниками, расклеивавший при эвакуации из России объявления „каждого пятого повешу“, и мамаша, протухающая, сырая губернаторша, шепчутся по ночам:

— На „Морже“ они прогорели. Но уже обернулись—везет же людям! Новый ресторан открывают. „Рыба-Кит“ будет называться...



Рестораном дышит русский Париж. [В нем живет, им живет, вокруг него живет. Низы эмиграции служат в ресторанах. „Середняки“ содержат эти кабацкие заведения. Верхи кутят в них.

Политические группировки, партии без программы и программы без партий создаются за ресторанным столиком. Монархические и кадетские съезды происходят в ресторанах же.

Ресторан—место встречи, место службы, биржа, политическая трибуна. Вот появляется в ресторанном зале новый человек, и все впиваются в него. Оценивают, обследуют его:

„Какой формации? Какой эвакуации? С каких пор в эмиграции?“ Облик, провал щек, тени под глазами дают ответы, более или менее близкие к действительности. Лет тридцати... Значит, когда „началось“, уже мог быть приспособлен. По тому, как смотрит, ни к кому не приглядываясь, безошибочно предположить можно, что все здесь видел и еще многое другое перевидал. Чей-то отклик из угла подтверждает догадку: „А изменились вы с Принцевых островов! Я вас и не узнал, как вошел“... Принцевы острова, значит с южной эвакуации. Значит, с 1919-20 года“.

Вся литература эмиграции посвящена трактирному быту. Не даром во главе белых литераторов стоит Шмелев, автор „Человека из ресторана!“

Все заботы эмиграции—вокруг ресторана. И все события связаны с ним. И даже иностранцы имеют суждение о белой России только по кабацкой линии.

Вся парижская бульварная печать занята обсуждением нового „русского скандала“. И он, конечно, связан с рестораном. Померкшее газетное светило, бывший Александр Яблоновский глубокомысленно обсуждает ход событий парижского ресторанного инцидента:



„Грек Воронис находился в своем русском ресторане. Он вызвал к себе знаменитого факира Тара-бея. Стали ужинать. Пили шампанское. Служили русские гарсоны, играла русская музыка, и русская певица своими песнями вызывала в памяти „бесконечную русскую степь“.

Хозяин скоро стал пьян как дым и ушел спать в соседнюю комнату. Уходя, однако, он забыл предупредить, что факир его гость. Метрдотель предъявил факиру счет на 479 франков. Факир вскипел. Поднялся шум. Посыпались тяжелые слова. Факир пустил в дело свою палку и стал бить посуду и лампы. Ему отвечали метрдотель и лакеи. Послышались звуки пощечин, и чьи-то руки жадно впились в волосы факира. Весь ресторан наполнился неистовыми криками, бранью и звоном посуды. Факир стал ослабевать. Кто-то нанес ему страшный удар в глаз, кто-то опрокинул его на пол... Даже факир, если его бьют по голове палкой, обязан увидеть тридцать две свечи в глазах“.

Белые русские газеты заявляют, что скандал с Тара-беем—не русский, а греко-факирский скандал. Французские газеты считают скандал истинно-русским и требуют „оргвыводов“ для белой эмиграции...

Парижские белогвардейцы устроили в ресторане обед в честь генерала Врангеля. Ничего более трогательного нельзя было себе представить.\*

Большая часть русских офицеров в Париже служит шоферами. Поэтому у ресторана вытянулась большая колонна такси.

„Возрождение“ восторгалось:

„В вестибюле толпа. Ждут очереди у лестницы. Толпа офицеров в штатском—совсем особая толпа. Молчаливая, спокойная, вежливая. Почти не толкается“.



Мы тоже ничего не имеем против белых офицеров в штатском. Пусть и дальше не толкаются.

„Пять лет как армия в штатском. Не легко ей сохраняться в таком виде, да еще находясь разбросанной по всему свету! Генерал Врангель произвел смотр части армии в штатском“.

Само собой, Врангель первый тост произнес за „его императорское высочество“. Затем пошло „нескончаемое ура“ и тосты за прочих генералов. Ни одного белого солдата из тех, что по трагической глупости своей легли костями за помещиков, участники банкета добрым словом не помянули.

„Возрождение“ доказывает, что банкет шоферов, данный беглому генералу,—не фунт изюму.

„В русской действительности существуют только две силы: коммунистическая партия и закаленное, литое ядро русской армии (!). Они ведут между собой смертельную борьбу.“

Мы не знаем срока, но не сомневаемся, на чьей стороне окажется конечная, настоящая победа. Живучесть ядра русской армии является уроком. Ничто уже не может разбить этого ядра. А есть ядро, то будут и полки“.

Врангель и его офицеры в пиджачках терпеливо ждут,—авось найдутся когда-нибудь дураки, желающие идти умирать во славу парижского „литого ядра“. „Пока“ же—устраиваются как умеют.

Мелкая сошка добывает горький хлеб, дежуря у руля прокатной машины.

Образцом же условий, в которых сохраняется „литое ядро“, может служить нынешнее житье знаменитого генерала, „батьки“ Булак-Балаховича, о котором, глотая слюнки, рассказывает белая печать.

Прошло уже несколько лет с тех пор, как батько Балахович закончил последнюю серию погромов, убийств,



грабежей и изнасилований. Уже больше не вырезает он звезд на теле убитых красноармейцев, и больше не пишет Мережковский о „чудесных детских глазках“ батьки. Но в его квартире все еще пьянствуют разорившиеся князья, военные парикмахеры, боевые интендантские счетоводы и репортеры из мелких газеток. Всем им Балахович любовно показывает свои трофеи и отличия, кресты, сабли, „благодарности“ от зарезанных евреев.

Недавно „генерал“ Балахович перешел на мирное положение и зарегистрирован польским штабом в качестве только ротмистра. Но и тут Балахович приспособился.

Он стал лесным предпринимателем, крупным коммерсантом, постоянным посетителем биржи, своим человеком в банках.

На чьи деньги?

Ясно, на чьи. Разграбленные города и местечки послужили „батьке“ основным капиталом для лесных спекуляций.

„Балахович стал крупно зарабатывать, из Варшавы переехал в Беловеж, окружил себя плеядой коммерсантов и посредников всех национальностей. Именно всех, ибо антисемит Балахович испарился с концом войны. Ему все равно, кто будет учитывать ему векселя. На некоторые ехидные вопросы в этом направлении он отвечает, что давно помирился с евреями и что, в сущности говоря, никогда и не был антисемитом. Это лишь гнусный поклеп, возводимый на него большевистскими клеветами. По вечерам можно видеть его в ресторане танцующим фокстрот с какой-нибудь прекрасной дочерью „лесного короля“. В перерывах, стоя у буфета, он рассказывает своим коллегам, что готовится организовать новую партию и баллотироваться при новых выборах в сейм“.

Отчего бы полякам, в самом деле, не вручить себя нежным заботам доброго батьки? Дело хорошее и безопасное.



Россия извела, что значит тяжелая рука генералов с лампасами. Загранице достались вежливые, обходительные манеры отставных героев в пиджачках. „Литое ядро“ тоже хочет жить!

.....  
Наполеон в свободное от занятий время говорил афоризмы. Иногда получалось очень неплохо.

Например:

— Для того, чтобы воевать, нужны три вещи. Во-первых—деньги, во-вторых—деньги и в-третьих—деньги.

Бывшему великому князю Николаю Николаевичу за недостатком свободного времени, а может быть, за недостатком ума, говорить афоризмы не приходится.

Зато „верховный вождь“ занят на склоне лет проведением наполеоновских фраз в жизнь. Он хочет воевать и собирает для этого деньги.

„Вождь“ точит саблю. Он хочет через сто пятнадцать лет повторить наполеоновский поход: из Парижа в Москву. И даже согласен не возвращаться пешком во Францию, а зимовать в Кремле.

При штаб-квартире великого князя объявлено официальное местопребывание „Великокняжеской казны“. Стоит несгораемый шкаф и около него двое часовых в штатских тройках, с тросточками на плече.

Что в шкафу?

Мы туда не заглядывали. Но есть материал для суждения о содержимом шкафа.

Вот перед нами циркуляр за № 1700 „правительственного уполномоченного по устройству русских беженцев в Югославии“, Палеолога.

Каким правительством уполномочен оный Палеолог? На что уполномочен? И когда? Эти вопросы, видимо, не решается задать Палеологу ни один несчастный беженец. Считает бестактным и неприличным спрашивать



об этом у своего супруга жена Палеолога. Да и сам он, укладываясь спать, оставаясь наедине с собой в ночной тишине, осмеливается ли Палеолог проверить себя по этой части?

Не думаю. Но циркуляры все-таки рассылаются:

„Председателям колоний русских беженцев и устроителям сборов в казну Николая Николаевича.

Я замечая, что лишь отдельные группы русских людей в определенных местах считают своим долгом не на словах, а на деле помочь нашему национальному вождю в его сверхтрудном деле. Несколько десятков колоний, несмотря на все мои воззвания, в постоянных сборах не участвуют. Однако слова великого князя обязывают всех (подчеркнуто в подлиннике) русских людей производить ежемесячные и постоянные взносы в казну в. к. Николая Николаевича“.

Далее циркуляр грозно предписывает руководиться впредь следующим указанием:

„Необходимо привлечь к ежемесячным взносам всех русских людей, живущих, служащих и работающих в вашей колонии“.

Во избежание всяких сомнений, слово „всех“ и в циркуляре Палеолога изображено прописными литерами.

В этих видах предлагается „применять общий учет всех живущих в данной местности русских людей“.

Видимо, „правительственный“ уполномоченный уже отчаялся в успехе при прежних сборах на бедность великому князю. Поэтому сейчас он настаивает именно на поголовном сборе:

„Сообразуясь с местной обстановкой и настроениями, надо оживить этот исключительной важности патриотический почин, прибегнув к рекомендуемым мною способам.

Деньги в казну великого князя должны быть вносимы всеми и каждым, независимо от партийности. Дальнейшее



уклонение от взносов, хотя бы минимальных, но ежемесячных, предлагается рассматривать как сознательный отход от участия в патриотической работе“.

Иными словами, если какой-нибудь затесавшийся за границу русский студент или рабочий, живущий „в данной местности“, откажется вносить налог в пользу черносотенцев и Николая Романова,—он немедленно объявляется большевиком, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как донос в полицию, лишение работы, исключение из местного университета.

Таков великокняжеский указ о подушной подати, объявленный по Европам. А вот и плоды его, пропечатанные в центральной вождистской газете „Возрождение“:

„Фонд спасения России“.

„Поступило в казну великого князя Николая Николаевича на создание фонда спасения России.

От капитана фон-Гиршберга . . . . .	18	франк.
От Хмелевской . . . . .	100	„
От майора Ильяшева . . . . .	29	„
От кружка национальной молодежи . . .	175	„
От Ю. А. . . . .	10	„
От П. Яковлева . . . . .	5	„

Всего же вместе с ранее поступившими—3165 франков, 4 доллара, 20 германских марок, 10 рублей и 1 золотая брошка“.

Имея в виду нынешний курс франка, общие размеры „казны великого князя“ после поголовного обложения всей эмиграции можно, оказывается, исчислить в двести тридцать рублей.

С такими деньгами пора уже начинать поход в Москву. До вокзала хватит.

Но и сторонники Кирилла не отстают от николаевцев, не дают плевать себе в кашу. Вот письмо состоящего при



Кирилле в городе Кобурге графа Бобринского к „царскому“ уполномоченному в Константинополь, Марковичу.

Докладчик

по

Делам Представителей

Его Императорского

Величества

10 июня 1925 года

№ 691/Б

Г. Кобург.

Глубокоуважаемый

Дмитрий Юрьевич!

Посылаю Вам на расходы по представительству 200 герм. марок (94 руб. с копейками) и таковую же сумму будем Вам посылать ежемесячно в июле, августе, сентябре, октябре и ноябре. Этими деньгами покрывайте самые необходимые расходы по переписке и канцелярии Вашей и адмирала Фабрицкого, а также расходуйте эти деньги по переправке в Россию литературы, которую Мы Вам будем посылать. Пришлите мне скорее Ваши соображения по этому поводу.

Купите гектограф или что-нибудь подобное для размножения информации, которые Мы Вам будем посылать, дабы русская колония получала осведомления о деле.

Пока не тратьте денег на разведку в России и Константинополе, так как все усилия должны быть направлены на пересылку в Россию литературы. Не знаю, как Вам удастся там ее распространить. Жду от Вас сообщения Ваших предположений на сей предмет.

Искренне Вам преданный

Гр. Бобринский.

16 июня 1925 года.

Нельзя сказать, чтобы кирилловское правительство особенно щедрилось на своих послов. На девяносто



четыре рубля—и две канцелярии заведи, и какого-то адмирала содержи, и литературу заготовляй, и гектограф купи. Какую тут заготовишь литературу, когда рука может написать всего только три слова: „Я хочу кушать“... Хорошо графу Бобринскому, он столуется в кредит вместе с самим императором! А „уполномоченный его величества“ в Константинополе только и делает, что по бедности осуществляет поговорку „старое старится, молодое растет“,—меняет старые штаны на молодой картофель.

По нашим вполне точным сведениям, посол Маркович долго колебался между интересами родины и желудка, после чего решил вопрос о царской субсидии в духе золотой середины. На сорок семь рублей подправил свой отощавший организм в константинопольских харчевнях. И на вторые сорок семь рублей заказал бланки, штампы, канцелярские принадлежности и три кожаных портфеля.

Правильно, господин Маркович! Прежде всего—обед и портфели. Литература подождет.

А еще говорят, что русская монархическая эмиграция предала интересы родины и отвернулась от своих исторических задач!

Нет! Не перевелись еще Минины и Пожарские, готовые положить живот на алтарь отечества, заложить жен и детей. Деньги от заклада жен и детей они, правда, употребляют на личные свои потребности. Что же с того? Какая разница? Мало ли что! К чему эти придирки!



**М**АЛЬЧИШКИ-ГАЗЕТЧИКИ, приткие и веселые варшавские „лобусы“, бегут по мостовой рядом с тротуаром, прижимают к груди большие пачки свеже-отпечатанных листов.

— „Курьер Поранный“, экстренный выпуск! Пан комендант уехал отдыхать!

Густой поток несет бойкая варшавская улица. Плавнo льется струя автомобилей. На центральных перекрестках временами застопориваются целые вереницы экипажей, и полицейский дирижирует, совсем как в больших столицах.

— „Курьер Поранный“, экстренный выпуск! Пан комендант опять пьет воду в Друскениках!

Не очень спеша, движутся по тротуарам пешеходы. В ясный осенний день, при возбуждающем многолюдстве, в гомоне гудков и звонков—разве не наслаждение для варшавянина прошаркать раза четыре вдоль Маршалковской или Нового Света из конца в конец и обратно? Дела подождут,—подумаешь, большие дела! Дела такие, что погулять по улице—это тоже дело.

— „Курьер Поранный“, экстренный выпуск! Пан комендант опять купается в Немане!

Завсегдатаи кондитерских перегибаются через зеленые барьерчики на улицу и покупают газеты. У них озабоченные лица. Опять комендант в Друскениках. Ну, и тянет же его туда, Иисус-Мария! Повадился кувшин по воду ходить. Что только из этого выйдет...



— „Курьер Поранный“, экстренный выпуск! Пан министр Кноль выехал со скорым поездом в Друскеники, к пану коменданту с докладом.

Лакеи в шикарных ресторанах, забыв о субординации, заглядывают в газету через плечо посетителей. Почтенные пожилые пани и элегантные паненки вопросительно смотрят в лицо мужьям и любовникам.

— „Курьер Поранный“, экстренный выпуск! Важное совещание у пана коменданта в Друскениках!

Вся Варшава чиновников, купцов, обывателей, профессионально красивых женщин и иностранных дельцов, вся столица тревожно и внимательно приподымает бровь. И только одна порода людей, прямых, затянутых в мундиры, звенящих шпорами и орденами, разлинованных безукоризненными проборами пахуче-намасленных голов, являет ликом своим величественное, парадное спокойствие.

Пан комендант—это почтительное сокращенное наименование маршала Пилсудского. Во время мировой войны, в период формирования на австрийской территории легионов для борьбы с царской армией, Пилсудский именовался комендантом, это был его первый военный чин.

Друскеники—маленький курорт за Вильной. До войны там отдыхали, пили какую-то минеральную воду, принимали ванны мелкие еврейские торговцы, ремесленники из Вильны, Гродно и Белостока. Люди с большими деньгами или знатного польского происхождения гнушались пыльного дачного местечка, предпочитая ему французские курорты.

Теперь Друскеники—пуп великосветской и политической жизни. Не менее трех раз в течение года диктатор Польши со своими приближенными приезжает пить скверную друскеникскую воду. Почти невозможная вещь для обыкновенного смертного—достать билет в соответственный скорый поезд: все купэ заняты генералами,



министрами, чиновниками особых поручений при министрах, чиновниками при чиновниках особых поручений и дальше, вниз по служебной линии, в бок по семейной линии, вкривь и вкось по другим линиям... кончая самыми дорогими варшавскими кокотками, у которых, видимо, тоже есть внезапные недуги, требующие срочного излечения исключительно и безоговорочно только у друскеникского источника.

Почему такая честь скромным Друскеникам?

Очень просто, почему. Курорт расположен на польском берегу Немана. А другой берег—уже литовский!

Пан комендант пьет на крылечке кофе и смотрит на Неман. Все присутствующие видят в его выражении лица укор себе. Они грустно и преданно вздыхают.

Пан комендант встает и направляется к бережку. Свита взволнованно сопровождает его. Маршал мрачен, он шагает быстро, чины штаба, придерживая сабли, вприпрыжку догоняют.

На литовском берегу—тревога и внимание. Дежурный пограничный офицер сидит у аппарата на прямом проводе с Ковно.

Маршал приближается к воде, военные за ним. У литовцев—высшее напряжение: в Ковно в военном министерстве начинается экстренное совещание.

Маршал останавливается—литовские пограничники впиываются в бинокли и облегченно вздыхают. На плече у Пилсудского не ремень от кобуры, а обыкновенное полотенце. В руках—мочалка и мыло.

Пан комендант пока, сегодня, хочет только купаться. Офицер у провода вытирает пот со лба.

Несмотря на старые годы, пан комендант любит поплавать. Он отделяется от берега и саженками, тяжело дыша, стремится вперед.



Тут, с польской стороны, очень мелко: все время зацепляешь ногами дно. Дальше—глубже и лучше. Но, доплыв до середины реки, там, где формально проходит граница Литвы и Польши, маршал возвращается назад.

В этом генералы из свиты опять видят немое осуждение и укор себе. В самом деле—ведь они же знают, что пан комендант не любит мелко плавать!

Генералы хмуро поправляют пальцами воротники и одергиваются. В чем дело? Пожалуйста! Они всегда готовы. Ведь не за ними остановка.

В это же самое время на всех концах Польши все прочие генералы, полковники, капитаны и поручики тоже одергиваются, тоже воинственно поправляют воротники. Они все готовы, ведь не за ними остановка. Публика жметя на некотором расстоянии от поручиков, смотрит искоса, с благоговением и страхом.

Польского солдата можно рассматривать спокойно, без боязни быть ослепленным. Он одет едва ли лучше нашего красноармейца. Разве только подгонка сделана портным более тщательно. Обыкновенные шаровары и рубашка из средне плотного молескина. Обычные, „австрийского“ типа ботинки. Кожаных сапог у пехоты нет; предположено в этом зимнем сезоне дать солдатам краги, но это еще—в области намерений. Простая фуражка. Скромная, довольно худая шинелька. Германского образца пятизарядная винтовка, ножевой штык. Солдат носит его обычно на поясе, в виде тесачка. Все.

Но польский офицер... При каждом взгляде на него рука моя сама собой тянется, ищет закопченное стекло. На это нестерпимое, почти солнечное сверкание трудно смотреть невооруженным глазом.

Из всех пограничных нам государств наилучше одетой армией обладает Латвия. Одинаково прекрасно обшиты латвийские офицеры и солдаты. Сзади их можно отличить



только по количеству пуговиц-солдафонов. Но разве можно поставить латвийского офицера рядом с польским? Поляка в офицерской форме я, повидав почти все армии послевоенной Европы, не решаюсь сравнить ни с кем. Эта четырехугольная конфедератка на голове... Этот прямой длинный козырек, отделанный по краю блистательным белым металлом... Этот черный лакированный ремень, обрамляющий щеки, укрепляющий подбородок, придающий лицу суровый, мужественный и надменный вид... Если бы я был женщиной!.. Но польский душка-военный и без меня с избытком обеспечен женскими восторгами.

Сбоку у офицеров всех видов войск прицеплена сабля. Что будет делать офицер с этой саблей в будущей войне?

Останавливать танки?

Рубить удушливые газы?

Отгонять самолеты?

Пока, в мирное время, для сабли есть много работы. С ней много хлопот.

Почти каждый день офицеры в Варшаве, в Кракове, в Радоме, в Кельцах зарубают саблями кого-нибудь из штатских. Особенным спросом пользуются лакеи в ресторанах, трамвайные кондуктора, шоферы такси. Трамвай, прибыв на конечную остановку, должен по расписанию простоять пять минут. Офицер спешит, он предлагает ехать немедленно. Вагоновожатый не в праве ехать, он отказывается. И через минуту—вот он валяется на площадке с разрубленной головой. В Перемышле, на почве отказа шофера даром развозить офицеров, разыгралось самое настоящее сражение, в котором приняли участие, с одной стороны, высшие военные чины города, а с другой—вынужденные к самообороне все местные прокатные шоферы. После обильного кровопролития победа, как и следовало ожидать, осталась за доблестным офицерством.



Сабельные дела много раз слушались в суде. Сначала линия приговоров была неровной и извилистой. Затем варшавский суд вынес в своем роде историческое разъяснение. Было указано, что „офицерский мундир священен, и самовольное прикосновение к нему наказуется кровью“. Буквально так! После этого простые смертные держатся на расстоянии двух саженей от сего священного офицерского мундира. Совсем нечаянно чихнешь, а потом, — Иисус-Мария! — пожалуйста смывать свой чих кровью...

Вот бравый поручик медленно шествует по вокзалу в направлении буфета. Впереди него публика робко расступается, открывая широкий проход. Рядом — благоговейной собачонкой вьется жена. Ей доверено нести за офицером саблю. Она держит благородный предмет обеими руками, немного впереди себя, как распятие. Муж выпил кружку пива, вытер модные, под понюшку табака подстриженные усы, небрежно расплатился, берет назад саблю. Супруга передает осторожно: не уронить бы на пол при передаче из рук в руки. Окружающие, невольно для себя, наблюдают всю процедуру и чувствуют некое облегчение, поскольку все сошло благополучно.

Повсюду, везде, в частных домах и на людях — к офицеру испуганно приподнятое, преувеличенно внимательное, настороженно почтительное отношение. Безусый прапорщик подходит в кафе к столику, — компания пожилых солидных людей и дам поголовно встает, предлагает место. В театрах, в поездах, в магазинах, в банях — всюду офицеры пользуются рядом маленьких и больших, неофициальных, но прочных привилегий. Всякий человек, живущий в Польше, желающий пожить еще, старается как можно лучше ладить с офицером, быть ему полезным и уж, во всяком случае, ни в коем разе не прекословить ему.

...Офицер первенствует в Польше не только внешне. Кадровая армия в триста тысяч человек и военные



организации в еще большем составе—это единственное, что здесь хорошо живет, растет, бухнет, оттесняя в сторону, задавливая все прочее.

Майский переворот Пилсудского прежде всего ознаменовался внушительной прибавкой жалованья офицерам и унтер-офицерам. Это было прежде всего. И... кроме новых прибавок им же—никаких других реформ за полтора года в стране не замечено.

Не говоря уже о рабочих и торговых служащих—даже чиновники правительственного аппарата голодают на нищенских окладах, в то время как армия почти обедается. Чиновники получили лишь одно возмещение от военных: ряд генералов, оказавшихся неспособными к строевой службе, назначены министрами, директорами департаментов и банков. В Польше понимают „военизацию“ именно этак и уж никак не в смысле созидания рабочих полков...

Здесь имеют хождение и другие советские термины. Но тоже совсем в другом толковании.

„Регулирование“... Речь идет не о здешней, зашедшей в тупик, совсем ошалелой от отсутствия рынков, полумертвой торговле. Регулируют только армию. Тасуют части по национальному составу, отсылают белоруссов служить в Померанию, а познанцев и силезцев—на советскую границу. Старый способ против неожиданных сюрпризов—он особенно важен и нужен именно здесь.

„Выдвиженцы“... Здесь это унтер-офицеры. Пилсудский поднял их необычайно высоко по социальной лестнице, более чем удвоил жалованье, ввел в устав отдавание чести унтерам нижними чинами.

„Индустриализация“... Здесь это—на костях неуклонно вымирающих, продаваемых с торгов заводских и фабричных предприятий—созидание все новых и новых военных заводов и мастерских, опытных лабораторий, аэродромов, морских баз. Да, и морских! В двух верстах от Данцига,



на микроскопическом участке, где Польша соприкасается с морем, в деревне Гдыне военное министерство на бешеные деньги строит большие, свирепо вооруженные суда.

Зачем Польше строить военный флот, если все ее морское побережье можно проехать на велосипеде в полчаса, а торговля идет через Данциг?

Польский флот сам по себе—это, конечно, шутка. Но „не сам по себе“—очень заманчивое дельце. По Балтийскому морю бродят, собираются впредь бродить английский и французский флоты. Если когда-нибудь кто-нибудь на... кого-нибудь нападет,—польская посудина присоединится к империалистической эскадре, будет считать себя в числе драки, чтобы потом, как заяц в басне, требовать клочок медвежьего ушка.

Ужасно неудобно строиться здесь на тычке, под враждебными взглядами немцев. Польский штаб нервничает, он не раз уже подымал вопрос—нельзя ли устроить хотя бы обмен, получить вместо куцой Гдыни вместительный и удобный Мемель. Для этого нужны сущие пустяки. Один маленький поход на Литву...

В Польше есть и „общественность“—военные союзы „Стрелец“ и „Сокол“, пребывание в которых освобождает от допризывной подготовки. Та же армия, только на хозрасчете.

Есть и „культурная связь с границей“—французская военная миссия строго контролирует всю военную работу, читает в копиях все самые секретные бумаги генерального штаба. Французы взяли на себя почти целиком снабжение армии и ревниво стерегут эту функцию. Они всячески препятствуют развитию польской военной промышленности, и дело доходит до того, что здешние военные подрядчики через голову миссии, самолично, агентурным путем раздобывают на французских заводах



чертежи новейших военных изобретений, чтобы явочным порядком начать производить их у себя.

Стихия военщины не знает удержу, она затопила собой всю общественную жизнь, газеты, разговоры. Назначение нового командира дивизии обсуждается больше, чем сессия Лиги Наций, и уж во всяком случае горячее, чем выход новой книги. Этому помогает сама военщина. Каждый месяц слушается очередной сенсационный процесс о злоупотреблениях и взяточничестве виднейших генералов, руководителей целых управлений. Судебные отчеты о проворовавшихся офицерах—самая любимая и, пожалуй, единственная легальная форма оппозиции против раздувшегося, все собой поглотившего польского милитаризма. Едва ли не важнейший бесспорный аргумент, выдвигаемый пилсудчиками в пользу своего вождя,—то, что пан комендант в денежном отношении неуязвимо честен.

Кроме воров, кутил, безмозглых франтов и мелких карьеристов, в польской армии есть, конечно, и крупные, серьезные офицеры, которых далеко не каждый день встретишь в казино. Генералы Дрешер и Соснковский—наиболее видные из фигур, пришедших на смену старшему поколению—Галлеру, Корфантому, Шептыцкому, Довбор-Мусницкому. Хорошо знакомый нам по украинским воспоминаниям Рыдз-Смиглый тоже упоенно и настойчиво работает над планами будущего.

Польская военщина, опять-таки копируя наш лозунг, стоит „повернувшись лицом к деревне“. Лицом к украинской и белорусской советской деревне! Именно на нее облизывается она и щелкает зубами.

Смерть Войкова и кое-какие ответные приготовления СССР чуть-чуть, временно, отрезвили польский милитаризм. Польский офицер проверил свои силы и решил пока повернуться лицом к Литве.



Легионы стоят навытяжку и ждут, когда, наконец, Юлий-Иосиф-Цезарь-Пилсудский выйдет уже не с полотенцем, а с портупеей на плече и перейдет Рубикон—Неман.

Вся громадная машина армии, чудовищно непомерная по отношению к стране, поглощает горы мяса и хлеба, железа, стали, сукна, груды золота, ящики орденов. Она наливается соками, опьяняется от собственного безделья и, подстегиваемая крупными помещиками, чьи земли остались по ту сторону границы, рвется вперед.

1927



# ПРОРОК НА ГАСТРОЛЯХ

**С**КОЛЬКО ЛЕТ, сколько зим! В Париже появилась рыжая борода Петра Струве.

Рыжая ли—в достоверности не знаем. Столько красок менял господин Струве и столько времени прошло, что и за цвет бороды знаменитого русского политического путешественника ручаться нельзя.

Струве! Молодежь, неблагополучная по части полит-проверки, прядает ушами. А старики улыбаются, вспомнив молодость.

Канун двадцатого века. Любимец публики Михайловский. Молодой рыжий марксистский Давид яростно сражается против народнического Голиафа. Потом—тихий Штутгарт, красноречивое „Освобождение“ на тоненькой нелегальной бумаге, щекотавшее революционное воображение вольнодумных зубных врачей и фабрикантских сынков.

Первая революция. Рыжая борода разочарована. Она уже либеральна и в „Русской Мысли“ поет о великой национальной либеральной России. Молится на Столыпина и разоблачает „украинский сепаратизм“. Это она, борода Петра Бернгардовича Струве, надумала портативную систему интеллигентского покаяния, она создала „вехи“ для смены и перемены в любой идеологический или физиологический момент!

Война. Бороду начинает лихорадить. Струве чуть ли не раньше всех и наверняка больше всех из русской буржуазной интеллигенции распинался за войну до полной



победы, за захват и обрусение Константинополя, Армении, Галиции, Познани, всего того, что попадется под руку.

Февральская революция. Струве выныривает идеологом Корнилова. Идеолог опытный, со стажем, согласен в отъезд, расстоянием не стесняется. В путь, идеолог! Октябрь заставит тебя погулять по свету.

Врангель. Струве подрос, ему пора в министры. Да здравствует министр иностранных дел трех крымских уездов! Струве в Париже. Ищет признания и денег. Где только не ищет! Как только не ищет! Пришлось подружиться с „украинским сепаратистом“ Маркотуном, пришлось даже подводить облезлые щечки и глазки, говорить о себе как об основоположнике социал-демократии. Но украинец оказался липовый и без денег, даже певичка из русского кабаре называла его Сморкотун. А на социал-демократический стаж французы только фыркали.

Состарилась борода. Недавно праздновали в ресторане в Праге тридцатипятилетний юбилей деятельности Струве. Кого только не было на вечеринке — целый эмигрантский Ноев ковчег.

— Вы проделали весь путь славы направо, вы пришли к белым знаменам! — так гласило приветствие от митрополита Евлогия на юбилее.

„Основоположник“ кланяется и благодарит. „Русская Мысль“ выходит в Праге уже с прямым лозунгом черносотенцев: „Самодержавие, православие, народность“.

Несколько лет ничего не было слышно о Струве. И вот опять „Возрождение“ в Париже. Издатель парижского „Вечернего Времени“, Гукасов, поссорился с Борисом Сувориным и вместо него взял Струве на гастроли, редактором новой газеты.

Даже Милюков в „Последних Новостях“ был смущен первым номером „Возрождения“:



„Г. Струве сочинял когда-то программу социал-демократической партии, потом стал нашим политическим единомышленником, потом обошел нас уже справа и, наконец, затерялся где-то в националистическом болоте... Новоявленный консерватор робеет и становится совсем косноязычным. Язык, что называется, прилипает к гор-тани“.

Новая газета определяется Петром Струве как орган „либерально-консервативный“. Хорошо, что борода не в Англии! С таким сочетанием, чего доброго, захватила бы борода весь парламент... Редакция у Струве, действительно, коалиционная. В сотрудниках, с одной стороны, Гурко и Шульгин, с другой—все врангелевские генералы и с третьей—профессор Кизеветтер. Совсем как в пародии на Блока:

Черный вечер,  
Белый снег,  
Кизеветтер,  
Смена всех...

Вступительная статья: „Освобождение и Возрождение“... Либерализм „означает вечную правду человеческой свободы, славную традицию, записанную на странице русской истории“. С другой стороны, консерватизм „означает великую жизненную правду охранительных государственных начал“. Мудрено, но несколько не таинственно. Знаем, куда гнет рыжая борода!

Потом—замечательные чревоуверования в обычном струвеальном духе: „глухие подземные раскаты грома“, „почти неощутимые воздушные трепетания“, „легкое пред-бурное затишье исторической духоты“,—что хотите.

И, наконец, заключительный оркестровый туш, не оставляющий никаких сомнений:

„От разброда и своеволия мы будем без колебаний звать русских людей к сомкнутому строю, к самоотверженной



дисциплине, к суровой верности тем, кто подымет на себя тяжкое бремя национального водительства во имя России и только России“.

Только и всего? „Водители“ господина Струве известны: Николай Николаевич на костылях и безнадежно вдовствующая Мария Феодоровна. А мы думали что-нибудь новое!

„Возрождение“—паки и паки унылое! То самое возрождение, о котором писал хорошо известной рыжей бороде Гегель:

„Когда умирает человек или другой организм, после смерти в останках немедленно начинается новая жизнь, возрождение природы. Но это только жалкая жизнь червей!“

1926



**О**ЧЕНЬ ТРУДНО, очень хлопотливо сохранять вымирающие породы разных животных. Мы знаем несколько примеров, когда огромные начинания в этой области оканчивались неудачей, несмотря на большие усилия и не меньшие расходы.

В бывшей царской России известна была Беловежская Пуща, вблизи города Бельска, Гродненской губ. Пуща была объявлена личным имением государя (ничего не стоило это сделать), и в ней находился образцовый питомник для зубров. Ценой очень большой возни там сохранялись несколько десятков экземпляров этого редчайшего животного, уцелевшего от доисторических времен. Началась война, и все пошло прахом. То ли русские солдаты при отступлении, то ли германские при наступлении перерезали, перестреляли всех допотопных скотов, не оставив ни одного на разводку.

Почти такая же участь постигла питомник экзотических древних пород зверей в имении Фальц-Фейна „Аскания Нова“. Во время войны и гражданской войны питомник был опустошен, и только теперь, в эпоху мирного советского строительства, „Аскания Нова“, объявленная государственным заповедником, опять налаживается и восстанавливается.

Вопрос о питомниках, о сохранении вымирающих пород получает теперь новый и любопытный смысл. Возможностью устройства человеческого заповедника серьезно



занята сейчас русская белая эмиграция. Материалом, подлежащим сохранению, белые считают себя самих.

Кроме шуток, проект Пуши для живых, но быстро вымирающих остатков царского режима сейчас самым спешным образом обсуждается в руководящих белогвардейских кругах и на страницах эмигрантской печати. На это есть самые убедительные причины.

Революция вышвырнула по ту сторону границы около полупроцента населения нынешней советской страны.

На самой высшей точке роста эмиграция числила в себе почти два миллиона человек. В течение нескольких лет миллионы чувствительно усохли. Много десятков тысяч крестьян, казаков, солдат, обманом уведенных белыми генералами за границу, получили возможность вернуться назад на родину, сесть на землю, забыть о тяжелом кровавом сне, о жуткой одуре, в которой подымали они оружие против государства рабочих и крестьян. Часть интеллигенции, признавшая свои ошибки, вернулась вместе с ними.

Все-таки несколько сот тысяч эмигрантов, тех, перед кем СССР держит двери закрытыми, обречены доживать свой век среди чужих по языку, культуре и привычкам людей.

Десять лет, одиннадцатый, двенадцатый давно прошли всякие сроки для самоуверенных расчетов, для убежденных гаданий—„будем ли к Рождеству в Москве“. Эмиграция пугливо озирается—волк, затертый в чужую стаю. Есть чего бояться. Осколки „России номер два“ начинают умирать самой безболезненной, но политически самой ужасной смертью. Они просто растворяются, рассасываются, исчезают под людским илом тех стран, где нашли себе убежище.

Еще несколько лет назад покойный Аверченко, с искренней тревогой наблюдая вырождение своих братьев



писателей за рубежом, изображал слог русского литератора, оторвавшегося от родины:

„Я выпил один большой рюмка рабиновичка и хотел сесть в тройка, но не сел потому, что я есть один большой замерзавец на мой хрупкий организм“.

За эти годы многие звезды эмигрантской печати далеко обогнали аверченковскую пародию. За немногими исключениями, язык белых газет и книг все гуще засоряется самой непроходимой иностранщиной. Появилось немало русских журналистов, пишущих в местных газетах на чужих языках. Бежавшие из России ученые и педагоги почти все отряхнули прах со своих ног и, часто изменив свои русские фамилии, устроились при иностранных институтах, где придется.

Если так обстоит со специалистами культуры, с писателями и учеными—что говорить о прочих, о просто-спекулянтах, о просто-офицерах, о просто-помещиках, о просто-священниках? Когда даже знаменитый Иллиодор, превратившись в самого заправского американского янки, служит швейцаром в подъезде большого банка,—можно ли требовать сохранения национального облика от какой-нибудь бывшей Настьки Задрыгиной из нижегородского ярмарочного шантана и осуждать ее за переименование в мамзель Ната Задри, украшение матросского кабака в Марселе?!

Ушедшая из России масса бесследно тает на глазах и уже почти растаяла. От чьего же имени могут дальше говорить Милюковы, Деникины, Керенские и Марковы Вторые? Оторвавшаяся льдина уменьшается на глазах. Скоро не на чем будет стоять. И вожди бьют тревогу.

„Дело идет не только о сохранении материала для истории, а о сохранении самой русской культуры как творческой силы, о сохранении нами своего национального лица, которое многие, увы, начинают терять, и,



наконец, о том, чтобы развить далее эту культуру и обеспечить возможность обратной пересадки ее в Россию, как только этому представится возможность“.

Единственный путь к осуществлению этой задачи „Руль“ видит только в организации заповедника для белогвардейских зубров.

„Нам нужен русский „дом“ где-либо по возможности ближе к отечеству и в обстановке, не слишком неблагоприятной для работы. Вопрос этот подымался в связи с посадкой русских на землю, но трактовался всегда исключительно с агрономической точки зрения и решался,—если решался,—довольно пестро и случайно, в зависимости от местных условий. Несмотря на заботу об этом Лиги Наций (!), директив по этому поводу не выработано, а практическое осуществление ничтожно“.

Не так легко найти место для белого питомника. Вряд ли кто согласится дать этому предприятию приют. Организаторы „русского дома“ уныло рыщут по карте обоих полушарий.

„Это было бы возможно в субтропической и сравнительно близкой Северной Африке, но здесь, пожалуй, большим препятствием явилась бы психология обоих народов (читай—африканцев и французов), населяющих край и по-разному, но в равной мере ревнивых к иностранцам“. Не лучше и в Южной Америке. Пожалуй, „наиболее пригодной из заокеанских стран является полуколониальная Канада, особенно западные области ее—Альберта и Колумбия. Мало найдется стран, которые более подходили бы нам по климату, и где всякая национальность может свободно развивать национальную культуру при условии уважения к законам другой страны. И, однако, это все же—другая часть света“.

Авторы проекта приходят к выводу, что скорее всего надо устраивать белый питомник на Балканах.



„По своему географическому положению, по природе, по характеру населения, по своим жизненным интересам и историческим задачам Балканский полуостров наиболее связан с Россией, и будущее России немыслимо без него. Поэтому здесь и должно попытаться создать русский центр культуры“.

О какой культуре говорит „Руль“?

Если понимать это слово в прямом смысле, без фокусов, то культура России должна, как и явствует из этого наименования, создаваться не в субтропической Африке, не в Южной Америке, не в Колумбии, а именно в России. Здесь, в СССР, она и создается—за последние годы и месяцы особенно бурно, особенно плодотворно, обильно и многообразно. Совершив великую революцию, трудящиеся советской страны приступили к созданию огромных культурных ценностей, перед которыми побледнеет все то, что удавалось им до сих пор делать при крепостном и буржуазном строе.

О трудовой культуре будут говорить первомайские знамена миллионов людей, вышедших праздновать весну и международное единство строящих свою культуру пролетариев и крестьян. Но, конечно, не эту культуру имеют в виду устроители будущего эмигрантского убежища. Они даже спешат оговориться, чтобы не быть плохо понятыми:

„Конечно, экономический фундамент под очагом русской культуры необходим, отдадим должное марксизму. Сельское хозяйство, конечно, самый надежный и привычный русскому человеку фундамент. Но он должен быть достаточно обширен, чтобы дать попутно применение к труду различных профессий, чтобы колония представляла действительно центр русской жизни и культуры, а не только сельскохозяйственный кооператив“.

В самом деле, какие тут кооперативы! Вся соль „русского дома“ не в сельском хозяйстве, а именно в



„различных профессиях“, которые белогвардейцы хотят во что бы то ни стало охранить от исчезновения, чтобы— дай боже!— „обеспечить возможность обратной пересадки в Россию, как только к этому представится возможность“.

В белогвардейском „доме“, где-нибудь в глухом углу субтропической Африки, будут отъедаться до лучших времен редкие экземпляры губернаторов и исправников.

Там, на зеленом лугу, будет, вместе со страусами, пастись одинокий городской с селедкой и хорошими старорежимными усами.

Там последний из великих князей будет взимать поборы с крестьян и писать манифесты „милостью божьей“ к возлюбленному народу.

Там, в единственной уцелевшей белой газете с ятями и твердыми знаками, будет печататься законсервированный белогвардейский литератор, и его единственный сын, последний из монархических могижан, будет зубрить уже ему самому непонятные слова „за веру и царя“.

Там последний помещик будет показательно пить чай на крылечке с допотопным становым, и оба они будут отпускать по адресу русского мужика сохранившиеся на языке ругательства.

Там... Неизвестно только, будет ли хоть какой-нибудь смысл в существование заповедника для вымирающих белых зубров!

Иностранцам унылое зрелище эмигрантской „загубленной России“ давным-давно уже надоело.

А нам?

...В Москве, на кинофабрике Межрабпома идут съемки новой картины. Не знаю, хороша ли будет картина, но съемки очень интересные. Выступают Качалов и Мейерхольд в ролях губернатора и сановника. По ходу действия, изображающего царское время, есть сцена приема в губернаторской канцелярии депутации евреев, пришедшей



молить начальство о предотвращении предстоящего погрома.

Режиссура решила поставить картину со всеми надлежащими историческими подробностями. Посредрабис разыскал и притащил в ателье группу самых настоящих старорежимных евреев с бородами и пейсами, в лапсердаках и котелках. Не какие-нибудь краснощекие статисты с наклеенными бородами, а самые что ни на есть бывшие купцы первой и второй гильдий,—даже старые свидетельства сохранились.

А губернатор? А правитель канцелярии? А чиновник для особых поручений? А жандармский генерал? А начальник губернского охранного отделения? Будут ли они на высоте своего внешнего вида? Не произойдет ли с ними какой-нибудь декоративной промашки?

И эту сторону внимательно учили. Посредрабис прислал консультантов, известных как полных специалистов в изображаемых событиях.

Консультантами оказались: во-первых, небезызвестный курский губернатор Муратов, во-вторых—еще более не безызвестный шеф корпуса жандармов, товарищ министра внутренних дел Джунковский. Бывшие, бывшие! Бывший губернатор и бывший шеф жандармов.

Оба деятеля пришли, указали, как надо стоять актерам, изображающим начальство, как у них должны висеть ордена и как они должны разговаривать с делегацией. Один из евреев, живший раньше в Курске, опознав „своего“ губернатора, перепугался всерьез, но съемка все же прошла в полном порядке. Из этого явствует, что наша кинопромышленность в области правильного использования старых специалистов стоит далеко не на последнем месте.

В Москве, как видите, идет некоторым образом тоже реставрация старого режима. Реставрация, которую с



улыкой и без всякого вреда для советских устоев посмотрят наши кинозрители.

Нет, спасибо, и нам не требуется!.. Исходя из доводов здравого смысла, мы высказываемся против организации питомника для эмигрантских зубров и просим авторов проекта принять это во внимание.



**К** „КЕМПИНСКОМУ“ в Берлине ходят те, у кого есть охота особо первоклассно покушать. Ежели послушать музыку, посмотреть женскую голизну, посмеяться игривым куплетам,—для этого есть множество других разрекламированных мест. Если же исключительно насчет чревоугодия,—тогда к „Кемпинскому“. Здесь—академия бифштексов, консерватория соусов, высший институт всех тонкостей поварского искусства. Здесь же наиприятнейшая сервировка, здесь же самые быстрые, заботливые и обходительные лакеи, здесь же наибольшая быстрота подачи любого, хотя бы самого сложного и редкого блюда.

В роскошно отделанном храме гастрономии под вечер плещется приятный рокот, позванивают ножи и вилки, элегантная публика священнодействует над тарелками при помощи жрецов в черных фраках, с салфетками подмышками.

Незаметно и тихо в проходе появляется высокий белокурый молодой человек в старом истрепанном пальто. В руках у него револьвер. На него никто пока не обратил внимания. Молодой человек напоминает о себе сам. С негромким, но звенящим криком он поднимает револьвер:  
— Я стреляю!

Люди за столиками оцепенели, они оседают, пугаясь даже собственного своего свистящего дыхания. Молодой человек с поднятой рукой идет вдоль зала „Кемпинского“ неслышно и плавно, как привидение. Он, вероятно, так и прошел бы дальше, через вторую дверь на улицу,



сам загипнотизированный жуткой тишиной, им созданной.

Где-то упал и звонко разбился стакан. Это нарушило равновесие страха. Храбрец из лакеев изловчился и схватил молодого человека за руку. Раздался выстрел, лакею пробило безымянный палец. Но публика уже опомнилась и озверела. В незнакомца со всех сторон кидают тяжелыми бутылками. Молодой человек падает на пол с окровавленной головой. Толпа клиентов „Кемпинского“ готова растерзать его. Полиция уводит преступника в тюрьму...

Скучное серое утро. В веренище очередных воров, взломщиков, насильников молодой человек в потертом пальто предстает перед берлинским судом. Его допрашивают,—дремлет председатель, дремлют члены суда, дремлют газетные репортеры. Пустяковое дело, не стоит напрягать слух.

Молодому человеку предлагают рассказать свою биографию, и он рассказывает без волнения, тоже скучающе, как будто речь идет о его далеком и мало интересном знакомом.

Его отец—высокопоставленный человек. Но он—незаконный сын своего отца, непризнанный им и отвергнутый. Живет при матери, десяти лет попадает в ученики к булочнику. Ученья не окончил, началась война—ушел на фронт.

В окопах юношу отравили ядовитыми газами. Чут не умер, отправили в тыл.

Двадцатый год, парень без работы, без хлеба, без умения что-нибудь делать. Только стрелять научили на фронте. Через Германию и Польшу пробирается в Россию Бела Кун. Русские монархисты хотят убить венгерского революционера. Предлагают это сделать отравленному газами молодому парню.



— Я убил бы его без сомнения, — вяло говорит молодой человек берлинским судьям, — убил бы, но в последнюю минуту дело сорвалось. Я попросил вина, а мне не дали. Не выпивши, как-то не хотелось убивать...

Молодой человек бродит по стране, не находит себе места. Шатается по верхней Силезии, по Руру, бесцельно отправляется в Гамбург.

В Гамбурге испанский консул набирает бездомных людей, которым нечего терять, для полицейской службы в колониях. Ну, что ж. Можно и в колонию. Ведь приткнуться некуда, дорожить нечем.

Две тысячи человек уезжают из Гамбурга в Испанию. Оттуда их направляют в Марокко сражаться с восставшими риффами. Ладно, риффы так риффы. Не все ли равно, что делать, если за это кормят, одевают и выдают маленькие карманные деньги.

Но в Марокко неистовствует лихорадка, а эти черные чудаки-риффы вовсе не так безропотно подставляют свои лбы под пулю. Они не прочь сами пострелять в ненавистных гостей, расправиться с ними поучительно жестоко. Немецкие наемники начинают жалеть о том, что поехали. Молодой человек совершает побег из иностранного лагеря. Он пойман, посажен в тюрьму, опять бежит, на этот раз удачно. Спрятавшись на пароходе, добирается до Марселя. Оттуда пешком в Женеву. Из Женевы в Мюнхен. Опять на родине, опять голод, бродяжничество, опять бездомность.

В январе двадцать седьмого года добился пособия как безработный. Прижился при бедных, но хороших людях. Изредка получает случайную работу. Стало чуть-чуть легче.

Но силы иссякли, организм до сих пор не может преодолеть мучения и отравы войны. Тоска, дикая смертная тоска одолевает и гнет к земле. Тоска гонит опять на



улицу. На садовой скамье молодой человек вскрывает себе жилы. Его спасают.

— Зачем они спасли меня, ведь я схожу с ума от тоски?

Опять бродит он по берлинским улицам, обтрепанный и страшно гонимый великой тоской послевоенного похмелья. Улицы залиты молочным электрическим светом, вечерний Берлин бездумно беснуется водоворотами праздных толп. Сверкающий огнями подъезд „Кемпинского“ подмигивает спокойно и ехидно. Человек входит, он подымает револьвер, тот самый, что тогда не выстрелил в Бела Куна, потому что не было вина. Сейчас, здесь, кругом, много вина. Пусть пуля поразит тех, кто посылал его, солдата мировой бойни, убивать людей для того, чтобы эти здесь могли пить вино!

Молодой человек кончает рассказывать, и давно пора. Судья уже несколько раз наклонялся вперед, чтобы прервать не имеющие отношения к делу подробности. Вот только репортер снисходительно отметил у себя в блокноте: можно будет дать двадцать строк на завтра в „Берлинер Моргенпост“.

Приговор не очень строгий—как-никак судится инвалид доблестной армии кайзера. Молодого человека награждают всего только полугодом тюрьмы. Ровно столько же подсудимый просидел в тюрьме до суда; ему зачитывают предварительное заключение, и он свободен. Как это мило со стороны суда!

Молодой человек поворачивается, он уходит, он медленно, как слепой, передвигает ногами, не находя дороги. Полицейский показывает где дверь, а календарь на стене сообщает о времени. Сейчас июль двадцать восьмого года, скоро десятая годовщина со дня окончания всемирной бойни. Десять лет как стихли пушки над трупами миллионов людей. Уже десять лет как они стихли, но бледные призраки людей все еще в остоленелом безумии



призраками бродят мимо роскошных кабаков. Они не выпускают из скрюченных рук оружия, они стреляют в воздух, одержимые неизгладимым кошмаром прошедшего, взбудораженные грядущим ужасом новых угнетательских, грабительских, бессмысленных и ледящих жутких войн. Их беспомощный, бессильный протест в воздух—ничто по сравнению с отпором, твердым и мужественным, какой дадут охотникам до новых капиталистических войн миллионы других людей, спаянных единой волей объединенного во всех странах класса.

1928



## ЧЕТВЕРО ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ

**Д**ЕВУШКА из города Острова, Саша Новоселова, гуляла в поле у латвийской границы. Навстречу, с той стороны пограничной канавы, подошло несколько латышей-полицейских. Стали уговаривать перейти на ту сторону. Девушка отказалась.

В окраинах прибалтийских республик мы особенно не можем пожаловаться на недостаток почтения к советской дипломатии. Не потому ли, что за ботинками наших полпредов и секретарей перепуганному воображению соседей мнятся красноармейские сапоги?

Наши дипломаты не могут теперь пожаловаться на недостаток внимания к ним за границей. А вот как приглашают и принимают у себя добродушные гостеприимные латыши гостей из России без дипломатических паспортов.

— Переходи, а то убьем!

Направили винтовки, захлопали затворами.

Полумертвая от страха девушка переползла канавку.

Новоселову арестовали, с матерной бранью повели на пограничный латвийский пост, заперли в погребе.

Сидела там, ждала: вот придет ихнее иностранное начальство, разберет дело, отпустит.

Начальство явилось—в образе старших надзирателей. Поблагодарило верных пограничников за доставленную дичь и приступило к использованию ее.

— Ложись, мы тебя... будем.



Стала кричать, вздывать руки к небу. На руке оказался дешевый браслетишко. Сию драгоценность сорвали.

— Небось, реквизирула у кого-нибудь, сукина дочь!

Разговор—на чистейшем русском языке, ибо некоторые из латвийских представителей власти суть самые обыкновенные бывшие царские городовые.

Решили, что в сторожке неудобно. Будет кричать, кто-нибудь набежит. Повели в лес—вчетвером, во главе со старшим надзирателем Эзитом. По дороге сняли пальто, калоши, платок с головы.

В лесу на горке—спокойно уложили, избили по спине и бокам, чтобы не очень барахталась. Пограничники усердно держали за руки и ноги—и Эзит изнасиловал Сашу Новоселову.

Потом за шиворот перебросили обратно через границу.

После мерзостной расправы над Новоселовой, а она не первая и, вероятно не последняя, склонно ли будет верить пограничное наше крестьянство, что озверелые насильники-городовые—это и есть та дружественная держава, с которой мы разговариваем вежливым языком.

.....  
„Эсти Вабариги“—кажется, это значит—Эстонская республика?

Курвиц, военный министр Эстонской республики, найден захрапевшим в пьяном виде в канаве на улицах Ревеля.

Эстонцам неловко. Что же это такое: военный министр, а свиньей по канавам валяется. Лежал бы хоть у себя во дворе—не на улицах же эстонской метрополии!

Курвицу предложили уйти в отставку. Ибо Курвиц роняет престиж славной Эстонской республики.

Несколькими днями раньше этот военный министр, еще не упав в канаву, не уйдя в отставку, подписал смертный приговор нашему товарищу, эстонскому коммунисту Томпу.



Томп тоже уронил престиж Эстонской республики. Но в очень трезвом виде. Со скамьи подсудимых, перед лицом эстонского правительственного—классового, буржуазного суда.

Он обозвал военных судей негодьями, и его превосходительство военный министр Курвиц начертал под именем Томпа смерть.

Коммунист расстрелян в тот же день, его убийца на завтра валяется мертвецки пьян, а военный суд невозмутимо продолжает свое дело. 149 подсудимых вчера приговорены частью к бессрочной, частью к срочной каторге, общей сложностью почти на полторы тысячи лет.

Что все это значит?!

Отдают ли себе отчет правители нынешней Эстонии,—понимают ли они, что творят, что у них происходит?!

Мы допускаем, что реакционное тупоумие свирепствует особенно в маленьких странах, где страх буржуазных правительств за свою шкуру конденсируется на небольшой территории и мстит за себя жестокостями и белым террором, удешевленными на каждый квадратный аршин.

Но чтобы черная сотня, хотя бы толкаемая страхом, нагнала до такой степени—это неслыханно.

Не английские ли выборы влили новую отвагу в сердца эстонских охранников?

По крайней мере, в одной из здешних газет появилась совершенно исключительная по раболепному хамству и юмористической важности передовая статья, уговаривавшая правительство Болдуина поддержать Эстонию и Литву в Лиге Наций, обещая взамен... оказать услуги Антанте против большевистской опасности с Востока (!!!).

Может быть, эстонские власти, обсуждая свою внешнюю политику (вероятно, в той „деловой“ обстановке,



после которой военного министра подобрали вдрызг пьяным на улице), решили показать себя лицом перед Европой?

Если подобное затмение мозгов действительно обратило лики эстонской буржуазии к Европе, не придет ли она в себя, не вспомнит ли и о том, к кому она повернулась тылом.

К Советскому Союзу, к миллионам рабочих и крестьян, не допускающих мысли об убийстве коммунистов.

А если „Эсти Вабариги“ наплевать и на общественное мнение Советской России, думает ли она продлить свое существование одними только 1492 годами каторги коммунистам?..

Сто пятьдесят человек в один процесс. Это масштаб Александра Третьего!

Но выдержит ли Эстония такие масштабы? Еще несколько лет таких судов—и страна окажется без населения. Только и останутся что палачи, да их шеф, очередной министр Курвиц...

.....  
Совсем как у людей—в маленьком Литовском государстве.

Совсем как у людей, и даже лучше.

Приезжий из Моршанска, попав в Петербург и погуляв по Невскому проспекту, очень остался им доволен:

— Когда,—если вечером, и фонари горят, и трамваи грохочут, и извозчики сигают, и публика прет,—как две капли воды наша Соборная улица в Моршанске.

В Литве—все как и в больших государствах, и, следуя моршанскому обозревателю, даже наоборот: если большие будут очень стараться, то, пожалуй, догонят маленькую Литву.

У всех приличных государств есть конституции. У Литвы—тоже, и даже не хуже, а лучше, чем у других.



Литовская конституция—самоновейшая, по самому последнему демократическому образцу. Демократичнее нельзя—дальше уже прямо мир, братство людей и рай на земле. Такая, такая демократичная,—даже противно!

Во всех достойных государствах все реформы проводятся через парламент.

В Литве—как у людей, и даже лучше. В Литве даже государственный переворот проводится через парламент. И... утверждается единогласно.

Способ для этого применяется самый простой.

Часть депутатов, предполагающая голосовать „за“, приходит в сейм и путем простейшего поднятия рук проделывает эту нехитрую штуку.

Часть депутатов, имеющая желание голосовать „против“, сидит под арестом. Вот и все. Конституция в целости, парламент действует, все на местах.

У всех почтенных государств есть исторические традиции, дедовские обычаи.

У Литвы тоже. Не хуже, чем у людей, даже лучше.

Ксендзы, литовские католические попы, заправляющие всем государственным аппаратом, по методам своей работы восходят непосредственно, по прямой линии, к святейшим отцам испанской инквизиции.

Средневековые отцы-инквизиторы пытали грешников на дыбе, вырывали им клещами ногти, затем, в виде заключительного, всепрощающего аккорда, сжигали на костре.

Нынешние литовские государственные деятели в сутанах делают то же дело, только без старинной кустарщины.

Они электрифицировали инквизицию.

Да, и в Литве электрификация. Совсем как у людей, и даже лучше.

В ковенских тюрьмах заключенным, чаще всего рабочим, почти всегда коммунистам, при допросах



электрифицируют живот, ноги, глаза. Многие из несчастных жертв сходят с ума.

Говорят, в скромную литовскую „жвальгибу“ (контрразведку) приезжали специалисты из крупных столиц — посмотреть и поучиться новейшему методу электрических пыток. Не оставляет на теле никаких следов (не считая смерти и безумия)! И официально называется это — христианская демократия...

Во всех цивилизованных государствах есть большевистская опасность, с которой обязательно надо бороться.

Конечно, и в Литве. Совсем как у людей; и даже хлеще.

Борется новое литовское правительство с большевиками, любо посмотреть. Взрослые, подивитесь, как малое дитя всю науку само произошло!

В Болгарии после взрыва Софийского собора Цанков повесил нескольких коммунистов.

В Англии, найдя какие-то якобы уличающие бумаги, правительство посадило коммунистов в тюрьму.

Литва, опережая всех, производит то же в обратном порядке.

Сначала расстреливает ни в чем не повинных людей. А потом, уже после их смерти, грозит опубликовать какие-то, якобы найденные, будто бы у коммунистов, якобы документы о будто бы подготовлявшемся якобы большевистском будто бы перевороте.

Все как у людей, и даже оригинальнее: задом наперед.

Во всех христианских государствах святки празднуются с большим парадом. Нужно ли беспокоиться о Литве, где у власти демократы самого Христа?

Святки здесь не хуже, чем у людей. Даже почище:

— В Николин день христианский переворот с арестами трехсот рабочих.



— В Рождество Христово—расстрел четырех коммунистов.

Отцы-священники могут доложить даже в Рим папе: такого торжественного богослужения, как в 1926 году в Ковно, давно не видел мир.

Вифлеемская звезда жарко горела на небе, четыре человеческие жертвы стояли у стены со связанными за спиной руками. Взвод благочестивых христиан направлял на них винтовки:

— Рождество твое, Христе бо-о-же наш, воссия миру свет разума!

Гремел залп, окровавленные люди катались по земле в последних судорогах.

— Слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение!..

Припомнят рабочие это Рождество христианнейшему литовскому правительству. Одна собачья смерть ростовщикам, попам, палачам, всем этим людям, религии, классу.

.....  
Мучили молодого Остапа Бульбу на площади в Варшаве. Крепился он.

Но когда подвели его к последним смертным мукам, кажется, как будто стала поддаваться его сила, и повел он очами вокруг себя:

„Боже! Все неведомые, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слушать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине.

И упал он силою и выкликнул в душевной немощи:

— Батько, где ты? Слышишь ли ты все это?



— Слышу!— раздалось среди всеобщей тишины. И весь миллион народу в одно время вздрогнул“.

А сегодня, спокойно пощелкивая, выползла бесконечная белая телеграфная лента из медного Бодо:

„Варшавским судом вынесен приговор по делу польских комсомольцев. Из 31 обвиняемых 4 скрылись. Остальные приговорены к тюремному заключению на сроки от 3 до 6 лет. Обвиняемые выслушали приговор спокойно, после чего запели „Интернационал“. Приговоренные заключены в тюрьму“...

Сгущаются тучи над Жечью Посполитой. С лязгом закрываются тяжелые ворота фабрик и заводов. Десятки тысяч пролетариев что ни день выбрасываются в пустыню безработицы. Польской жандармерии есть работа. Польским шпионам есть за кем следить. С кем бороться.

Бухнут ряды польской партии коммунистов. Польский комсомол впереди самой партии бодрым маленьким барабанщиком шагает, глядя прямо в лицо страданиям и смерти.

Уже не только заводская молодежь организовалась в мощные подпольные революционные кружки. Южный польский крестьянин тянется к революции и вступает в комсомол.

Не дешево обходится польскому комсомолу его работа. Не дешево! Пятьсот молодых коммунистов сидят по тюрьмам. Сидят не просто—по всем правилам закона. Польский конституционный закон разрешает держать арестованного без предъявления обвинения только одни сутки в тюрьме. И польские жандармы, следуя хитростию священного ордена Игнатия Лойолы, перевозят молодых арестованных из тюрьмы в тюрьму, держа в каждой не более суток. Некоторые несчастные так протащены по всей тюремной Польше.

Держат комсомольцев в одних камерах с ворами и бандитами,—это запрещал даже закон царя.



В Лодзи приговорили к 6 годам комсомольцев Дуйлацкого и Левина (обоим вместе 31 год) только за то, что они, по показаниям провокатора, постучались в дверь, где была нелегальная сходка.

Двум другим подросткам сковали руки, между коленями сунули железный болт и в таком положении истязали до потери сознания, а потом вливали струю воды через нос и горло.

Хорошо, товарищи! Терпите, милые! Терпите, родные! Еще не все. Еще не пришел конец смертным мукам, изверскому распинанию ваших молодых тел.

Но некто, изрубленный в боях, стоит, смотрит на ваши муки, не отрывает от них очей. Стиснул зубы. Разгибает натруженную веками спину. Сжимает и раскачивает перемазанный сажей кулак. Будет удар, будет беспощадный, крошащий, мертвый удар.

... „После чего запели „Интернационал“.

Тыкали жандармы прикладами. До полусмерти избитых, отвезли двадцать семь бесстрашных певцов в казематы варшавской цитадели...

Но услышана песня варшавцев.

Не так ли, российский комсомол?



**М**Ы ПОСМЕИВАЕМСЯ над молодым врачом или студентом-медиком, если они, перед экзаменами, начитавшись учебников анатомии, начинают видеть людей насквозь. Усталым взором прощупывают они у окружающих кости, мышцы, сухожилия. Для них детишки, играющие в жмурки перед домом,—только хоровод маленьких скелетиков, обтянутых мускульными и кожными покровами. И даже обнимая любимую девушку, они то скливно вспоминают о жировых слоях, затрудняющих вскрытие женских трупов.

Мы смеемся над молодым ученым с этаким анатомическим мироощущением. Мы в праве смеяться. Но ведь и он-то не менее нашего прав. Его уклон—способность видеть вещи такими, какие они суть внутри, как они устроены под внешней своей оболочкой.

В Москве, в белом здании в Газетном переулке, сидят озабоченные люди, перебирают тонкие листки папиросной бумаги, справляются по карте, делают пометки.

Для этих людей весь мир, западнее Ленинграда и восточнее Владивостока,—одна сплошная исполинская тюрьма.

Попробуйте разубеждать работников с Газетного переулка. Они, активисты МОПР, спокойно подымут лица, ответят и переубедят вас.

Да, тюрьма. Разбитая на отделения по странам и городам, пестрая по своим порядкам, разнообразная по униформам надзирателей и по разговорному языку



арестантов, а в общем—единая, отлично организованная, крепко запертая буржуазная темница.

Дом в Газетном переулке—это, кроме всего прочего, институт тюремной географии.

Есть и такая наука. Ее открытия совсем особого рода.

Ее знатоки описывают архитектуру и устройство буржуазных тюрем во всех странах и частях света.

Они ведут сравнительное изучение пыток и наказаний.

Они изображают тюремную флору—всякого рода плесень и грибки, склизко растущие на стенах камер, и фауну—породы жадных крыс и насекомых, изгрызающих платья, обувь заключенных, их самих.

Как будто вчера с красивым стальным звоном защелкнулись за нами двери зонненбургской каторжной тюрьмы. Макс Гельц в желтой куртке, крепкий, напряженный, как стрела, страдающий и бодрый, десятки его товарищей остались за воротами. На шоссе жарко благоухали липы, молочник громыхал на старом форде пустыми бидонами...

Сейчас—поздняя московская зима. Мимо МОПР марширует красноармейская часть, не верится, что могут на свете существовать каторжные тюрьмы для революционеров.

Но Зонненбург явственно напоминает о себе. Макс Гельц и его товарищи пишут на тонких листках из зонненбургского замка под замком.

„Нас теперь здесь двадцать товарищей. Каторжная тюрьма как с внешней, так и с внутренней стороны в сущности похожа здесь на царскую каторгу, известную нам всем из истории русской революции. Принудительная работа при оплате 12 пфеннигов (шесть копеек) ежедневно, из которых половина вычитывается на продовольствие, ничтожно малое свободное время, отказ в выдаче коммунистических книг, журналов, газет, мелочная



цензура всей прочей, даже буржуазной литературы, ограничение и цензура переписки и посещений, ограничение общения с другими заключенными,—все это на ряду с мелкими издевательствами составляет тюремный режим гинденбурговской Германии“.

Крестьяне из далекого знойного Зерявшана хотели отправить подшефным зонненбургским заключенным несколько продовольственных посылок. Пленники буржуазии не могут этого принять:

„Дорогие активисты и активистки МОПР! Вы предлагаете нам посылку с сушеным виноградом. Но как бы это нас ни радовало, мы, к сожалению, должны отказаться. В Германии даже политическим заключенным не разрешается более двух раз в году получать посылку: в день буржуазного христианского рождества и в день рождения заключенного. Если мы, дорогие шефы, должны отказаться от посылки с сушеным виноградом, то все же просим доставить радость детям в Баркенгофе, лишенным на долгие годы своих отцов, которых вынудили променять рабочие блузы на арестантские куртки“.

Макс Гельц, революционеры Германии,—они томятся еще в самых лучших условиях по сравнению с их братьями в других странах. Прекрасная Франция обставляет узников капитала гораздо более трагично.

Заключенные тюрьмы Кальви на девять десятых состоят из матросов, принимавших участие в выступлениях в июле, августе и сентябре 1927 года.

Под рождество между арестантами и администрацией возникли споры. В трогательный христианский праздник—„на земле мир и в человецех благоволение“—произошел настоящий физический бой. Безоружные пленники выдержали трехдневную осаду под потоками воды из пожарных рукавов, под наведенными дулами револьверов. Они подперли двери своими телами и, когда военная сила



все-таки прорвалась, дрались каждый в одиночку, как лвы. Мещане Кальви возвращались из церкви, когда „доблестные победители“—местные тюремщики—избивали до потери сознания обессиленных матросов-революционеров...

Если таковы порядки во французских тюрьмах, чего ждать от юстиции „малых сих“? Ведь Франция шествует во главе цивилизации,—это беспристрастно поведал миру сам Пуанкарэ.

В румынских тюрьмах по смете полагается на каждого заключенного на питание один доллар—два рубля—в месяц. Если бы еще доллар! Полдоллара аккуратно, закономерно разворовывается тюремным начальством. На остальные полдоллара—буквально на рубль—в месяц заключенный должен питаться, и сюда еще входит расход на мыло.

Румынские заключенные разделяют обхождение с ними администрации на две категории: на преследования и издевательства.

Преследования—это нечто солидное и серьезное, сложное и продолжительное. Это целая система стратегических мер, которыми тюремное начальство ведет постоянную войну со своими „клиентами“. Главная задача—спровоцировать конфликт, чтобы благодаря ему поставить людей в еще более тяжелое, бесправное положение. „Заключенные всегда во взвинченном нервном состоянии, они всегда должны ждать нападения, они никогда не знают, какой новый сюрприз готовит им дирекция в ближайший же момент. В зависимости от того, каковы нападения дирекции, в зависимости от общего положения, заключенные решают, должны ли они принять вызов, или временно уклониться от борьбы. Иногда возникают конфликты и разгорается борьба по самому ничтожному поводу. Это бывает тогда, когда какое-нибудь



мелкое нападение со стороны администрации является только введением к чему-нибудь более крупному, когда заключенные чувствуют себя достаточно сильными, чтобы выступить на борьбу“.

Издевательства, это—нечто другое: это текущие унижения и гадости, по поводу которых заключенные не имеют энергии протестовать, и переживают их как скорбную чашу, которой уже никак нельзя миновать. К издевательствам относятся бритье головы, предписание вставать и кланяться при проходе персонала, запрещение ходить на тот или иной двор, приказы ходить только в определенном направлении, запрещение читать вечером или вообще читать, ежедневные обыски в камерах, мойка клозетов, стирка, колка дров, брань, побои, обращение на „ты“...

Милая Греция, наследница Платона и Сократа, не отстает от своих культурных цивилизованных соседей. Греческие революционеры пишут в Москву, в белый дом в Газетном переулке короткие строки, украдкой переданные на волю.

„С пустынных островов Эгейского моря, куда охранка греческой „республики“ нас посылает, мы приветствуем вас и просим передать советским рабочим и крестьянам, что в нашей классической стране сейчас властвует самая дикая буржуазия. Эгейские острова служат здесь Сибирью для борцов рабочего класса и угнетенных национал-революционеров Македонии и Фракии. Много интеллигентов, вследствие отсутствия классового сознания, увы, одобряют жестокость нашей буржуазии. Но, несмотря на все это, мы не поддаемся. Знайте, дорогие друзья, из советской страны, мы не оставим рабочий класс и угнетенные национальные меньшинства в руках угнетателей!“



И из далекой загадочной Сирии, из раскаленных зноем азиатских темниц Бейрута несутся полузаглушенные толстыми стенами вопли:

„Не покидайте нас! Я приговорен к двум годам каторги за раздачу антивоенной литературы и коммунистическую пропаганду. Я не боюсь тюрьмы, за два года я только вырасту духовно! Но моя жена и ребенок очутились в страшной нищете. Восемь товарищей, сосланных сюда, в тюрьму Эль Рамль, на форт Кадмус, все голодают. Товарищи, помогите, нам очень плохо!“

Тюремная география перешагивает за океан. О тюрьмах Соединенных Штатов мы знаем хорошо. Но вот Южная Америка, страна „молодой латинской демократии“. В Аргентине, на Огненной земле восемнадцать лет томится на каторге русский анархист Симон Радовицкий. В девятьсот девятом году начальник аргентинской полиции устроил кровавую баню для рабочих, расстреляв много мужчин, женщин и детей. Тогда юноша Радовицкий пытался убить начальника полиции. И до сих пор, каждый год, в день покушения каторжника заковывают и бросают в карцер на целый месяц. Ни пытки, ни обращение, как с животным, не сломили революционера. Он бодр, он держится и пишет спокойные письма товарищам, борющимся за его освобождение.

Таково возмездие буржуазии ее противникам в самых далеких уголках земного шара. Не лучше, а хуже оно в соседних с нами странах, нынешние властители которых унаследовали школу царской охранки. Польша, Литва, Эстония, Латвия—они занимают почетное место в грудах тонких листков на мопровских столах.

„Каторжным режимом, голодом хочет уничтожить „наше“ польское правительство тысячи лучших рабочих и крестьян, сидящих по приговорам лицемерных судов в сорока польских тюрьмах. Но борьба не только не



затихает, она изо дня в день увеличивается, углубляется, расширяется, и с ее расширением увеличивается число пленников капитализма,—мужчин и женщин. Тюремная администрация старается планомерно создать для нас такие условия, чтобы мы, выйдя из тюрьмы, стали полными инвалидами, не имеющими сил для дальнейшей борьбы. Пищу дают нам совершенно негодную, из гнилой свеклы и протухшей капусты. Никаких лекарств не дают, даже тяжело больным. Книги допускаются только по личному усмотрению начальства, газеты только бульварные, с вырезанными сообщениями о СССР, арестах, судах, забастовках. Следствие тянется годами. Но все это не в состоянии сломить нас как революционерок, так как мы верим, что на наше место станут сотни других женщин. Нашу бодрость увеличивает в сто раз сознание, что существует СССР, созданный рабочими и крестьянами. В дни ваших революционных праздников мы, насильно оторванные от жизни и борьбы, будем здесь, в каменных мешках, радоваться вместе с вами“.

И маленькая, но весьма фашистская Литва не отстает от прочих, даже кой-кого обгоняет.

Чем меньше страна, чем сильнее зависит она от окружающих, тем хуже вымещает свою злость буржуазия на рабочем классе, тем изощреннее пытки и мучительства ее жертв. И тем тверже непримиримая решительная выдержка бойцов за социализм.

„Когда мы писали вам в прошлый раз, в ковенской тюрьме было три-четыре десятка политических арестантов. Теперь их не меньше, чем 190, и так во всех тюрьмах. Нагайка и пуля справляют свою тризну. Вся страна превращена в одну большую тюрьму“.

Вся страна! А весь мир? Разве весь мир не огорожен решетками, не окружен высокой стеной, утыканной поверху часовыми и пушками, чтобы через нее не



донесли дуновения из одной единственной части света, где трудящиеся разбили решетки капиталистических тюрем и под обломками угнетательских темниц похоронили самый класс эксплуататоров и тюремщиков?

Борьба не кончена. К решительному бою готовится все поработенное человечество. В нашей стране, где труд уже победил, мы все же должны в школах преподавать наряду с прочим эту странную, но еще живую и нужную науку—тюремную географию капиталистического мира.

Обрызганные кровью, овеянные стонами революционеров-мучеников и бодростью несокрушимых борцов, письма из тюрем всех стран раскроют глаза нашему новому поколению, толкнут его на понимание и помощь еще закованным братьям.

1928



**В** МЕЛОЧНЫХ ЛАВКАХ, загаженный мухами, закопченный пылью, висел такой плакат. Неведомый восточный человек с длинными шелковистыми усами, в желтых туфлях, лиловых чулках, в ярко-красных шароварах, пестром жилете и голубой чалме задумчиво потягивал дым из замысловатого и странного, отливающего золотом и серебром прибора.

Взрослые совсем не замечали плаката: ведь это была только фабричная реклама плохих папирос. Мальчишки же, посасывая грязные леденцы, равнодушно смотрели в глаза сказочному незнакомцу и лениво строили научно-необоснованные догадки о далекой родине папиросного мужчины, где страшные янычары с кривыми саблями в зубах охраняют дворцы, где в каждом доме в мраморных бассейнах дремотно моросят фонтаны, где люди всю жизнь только и делают, что едят рахат-лукум, слушают арабские сказки и тянут дым из вот этой непонятной штуки.

Сейчас не печатают табачных плакатов.

Сейчас и папиросные коробки решено стандартизировать, свести к нескольким типам. Посмотрев на личность в голубой чалме и желтых туфлях, дети обстоятельно расскажут об угнетенных народах Востока. Они заглядываются на другие картины. Они фантазируют на другие темы. У них совсем иначе устроены мозги.

У нас в стране есть замечательная категория людей, о которых вспоминаешь всегда с интересом и улыбкой. Это—граждане, родившиеся тринадцатого марта 1917 г.



Такого гражданина пока можно с трудом, но усадить на колени. Но вот—еще несколько пачек календарных листков полетят в корзину, и скоро уже он, сегодняшней рожденник, будет сажать к себе на колени нас, тогда стариков.

Счастливый парень! Он вылез на другой день после совершенного людьми землетрясения. Не было еще ничего нового, но уже рухнуло старое.

Пока парень орал, захлебывался материнским молоком, пускал пузыри, сучил голыми ножками—орали, захлебывались речами, пускали пузыри, сучили ножками Керенский и его труп.

Наш парень начал говорить под громы Октябрьских дней.

Он научился ходить, когда двинулись на фронт первые отряды Красной армии.

Он приучился к черному хлебу к тому самому дню, когда исчез белый.

Он начал ходить в первую отремонтированную после разрухи школу.

Он умело завязывает красный пионерский галстук, оглушает медной трубой, он катается первого мая на грузовиках, он знает, что такое режим экономии, Чемберлен, ячейка, октябрины, пинг-понг, учком, Шанхай, викторина, Автодор, культшефство, баскетболл. Знает, и отлично представляет себе, что это такое.

А вот, усадив одиннадцатилетнего парня, откройте старый журнал и покажите картинку: торжественного вида старик с зачесанной назад шевелюрой, с прямой и невероятно длинной четырехугольной бородой. Кто это? Наш парень станет втупик.

Морщины вокруг стариковых глаз тщательно зализаны. Кроме того, ретушер простой кисточкой и белой краской сообщил этим глазам бодрый, прямо юношеский блеск.



На старике—изумительное одеяние. Мундир с высоким воротником, весь расчерченный галунами. На этой, разлинованной золотом и наискось перечеркнутой красной и синей лентами туловищно-грудной поверхности—целая каша орденов, звезд, бриллиантовых знаков, эмалевых портретов и пуговиц.

Каша струится вниз, она заканчивается где-то около бедер особо мудреными застешками и витой рукояткой шпаги. Старик стоит навытяжку у столика. Рука его, тонкая аристократическая рука в перстнях, опирается на большую книгу в переплете с уголками. Позади торжественно маячат колонны, цветы, вазы...

Советский пионер будет рассматривать картинку таким же приблизительно взором, как некогда мы с вами восточного пашу на табачной рекламе. Но и мы, пожалуй, станем втупик перед стариком.

Чорт его знает, кто он такой. Боярин, что ли?

Стольник царя Ивана Грозного?

Или екатерининский вельможа?

Или просто—артист Большого театра в замысловатом костюме и неестественной бороде из исторической оперы?

Прочитав текст под рисунком, вы приподнимете бровь. Владелец неправдоподобной бороды и попугайного мундира—наш современник. И не какой-нибудь далекий король Ирака. Борис Владимирович Штюрмер, министр внутренних дел, министр иностранных дел и предпоследний председатель царского совета министров, изображен на фотографии.

Нынешний пионер уже шевелился под сердцем у мамы, когда Штюрмер в треуголке с белыми перьями входил в подъезд царскосельского дворца. Ленин, живой Ленин уже приехал и говорил с рабочими массами Петрограда, когда старик с пышной бородой давал длинные



объяснения „чрезвычайной следственной комиссии“ временного правительства.

Что происходило всего одиннадцать лет назад,—оно погребено под обломками катастрофы, перекрыто камнями новой стройки, и нам самим, жившим до революции, недавний вельможа со звездами кажется неправдоподобным, веселым курьезом.

Но ведь Борис Владимирович Штюрмер существовал! Он стоял во главе огромной империи, шестой части света, в дни небывалой в истории мировой войны, когда несколько миллионов русских солдат сражались и умирали под ураганным огнем, когда полуторастамиллионная страна напряглась, обливаясь ручьями крови и глухо содрогаясь от первых родовых схваток грядущей революции! В это историческое знаменательнейшее время этот самый Штюрмер олицетворял в себе российскую государственность. Значит, это был не миф, не оперная роль, а реальная личность?!

Реальнейшая. Самая доподлинная. Хотя и факты штюрмеровского правления звучат сейчас как шутка, как пьяный анекдот...

В момент резкого ухудшения дел на фронте, больших разногласий России с союзниками и начала брожения в стране, в тот момент, когда на Западе буржуазия выдвинула на командные посты такие крупнейшие фигуры, как Ллойд-Джордж, Клемансо, Мильеран,—российским премьер-министром состоит древнее бюрократическое ископаемое—семидесятипятилетний Горемыкин.

Дряхлый чиновник безмолвно занимает премьер-министерское кресло, не препятствуя разгулявшимся стихиям военно-дворянской диктатуры и придворным шайкам. Но его пассивности оказалось мало. Группе Распутина нужен другой глава правительства. Такой, чтобы можно было ему короткими записками и телефонными звонками давать



поручения, за выполнение которых придворный фаворит брал крупные и мелкие суммы от спекулянтов и подрядчиков.

Допрашивая после февральского переворота арестованного Штюмера, „чрезвычайная следственная комиссия“ пыталась уличить бывшего главу правительства в том, что он устроил на службу и покровительствовал авантюристу Манасевичу-Мануйлову. Наивность тупых либералов! Не Штюмер создал Манасевича, а Манасевич вытащил из мрака забвения отставного сановника Штюмера и привел его к высшему посту в государстве.

Распутинский кружок оглядывается по сторонам, ища для себя какую-нибудь совершенно отпетую продувную бестию с представительной внешностью и придворным званием.

Хвостов, бывший нижегородский губернатор, хотел стать главным представителем Распутина в правительстве. „Святой старец“ не пошел на это. В разговоре по этому поводу с Хвостовым он отрицательно покачал головой.

— Так не годится. Надо над тобой старшего посадить. А ты оставайся „внутренним“ (министром внутренних дел)...

Штюмер, бывший ярославский и тверской губернатор и некогда директор департамента министерства внутренних дел при Плеве, сидит много лет в глубокой отставке, на крайне правых креслах государственного совета. Уже два сына его пролезли в губернаторы, а сам папаша, опороченный давешними грязными денежными историями, вступает в седьмой десяток и не видит никакого движения своей карьеры.

Случайно о нем вспоминает брызжащий мыслями Манасевич, некогда встречавшийся со Штюмером. Вспомнил, прикинул, сообразил, — есть дело! Биржевой заяц, репортер „Нового Времени“, мелкий шантажист решает



провести своего кандидата в председатели совета министров. И добивается этого.

После знака, поданного Манасевичем, Штюмер входит в контакт с Распутиным. Они встречаются на квартире у митрополита Питирима, тоже ставленника „Гришки“. Добрый ангел Манасевич суетится тут же, он караулит переговоры сообщников в митрополичьих покоях.

Штюмер обещает Распутину полное и беспрекословное подчинение. Григорий удовлетворен представленной кандидатурой и обещает переговорить с „папашкой“ (официальное наименование Николая II в распутинском штабе).

Царь не находит никаких возражений против выдвинутой Распутиным кандидатуры. Разве только... Нехорошо, что у будущего премьера немецкая фамилия. Как-никак, идет война с Германией.

Это препятствие Штюмер берется немедленно устранить. Если его величеству угодно, он может немедленно и очень охотно переименоваться.

Даже Николая стошнило от такой готовности. Менять фамилию на седьмом десятке жизни, да еще в самый момент назначения,—это все-таки неудобно! Пусть уж, ладно, останется фамилия немецкая. Как-нибудь сойдет...

В парадном зале Зимнего дворца назначенные Керенским адвокаты-следователи вежливо расспрашивают бывшего сановника:

— С какой же программой вы вступили на пост председателя совета министров?

Штюмер мнетя.

— Программа?—он делает вид, что не понимает вопроса, затрудняется на него ответить.

— Но все-таки? Какая же была ваша программа? Как вы изложили ее бывшему императору?

— Эта программа была такая, что я считаю, что государственная дума работать может и нужна. Если же



государственная дума вышла бы из тех пределов, в которых ее работа должна протекать, закрыть ее всегда можно поспеть.

— Какова была ваша программа как министра внутренних дел?

— Как вам сказать... Программа... Я был четыре месяца министром внутренних дел. Шли только текущие дела.

— Мы вас спрашиваем, что ставили вы во главу вашей программы, которую изложили государю, когда были назначены министром внутренних дел?

— Мне очень трудно указать, что именно... Одно вытекало из другого...

— Ну, хотя бы что-нибудь одно, из чего вытекало другое...

— Прошу верить, что говорю откровенно!.. Я полагал, что нужно сохранить то положение, которое было,—стараться без столкновений, без ссор поддержать то, что есть. А завтра видно будет, что будет дальше.

— А какова была ваша программа в качестве министра иностранных дел?

— Эта моя программа была достаточно точно высказана... Во-первых, я ни о чем более не заботился, как о поддержании союзников: с ними бороться... против немцев... А затем—внутренняя задача была направлена к тому, чтобы заливы (?) получить и Константинополь... Я все время хлопотал об этом... Это было очень трудно... В особенности, когда начался польский вопрос,—когда поляки просили, чтобы им были даны известные права, я настаивал, чтобы сначала русский народ получил (продливы?) и знал, что его ожидает...

Программа, конечно, единственная в своем роде! Но не надо хохотать над ней, не надо думать, что тупоумный старик ни в чем не разбирался и сидел на своем месте, как мешок с картошкой в орденах.



У Штюрмера своя программа была. Очень ясная и для него единственно верная. У нас не сохранилось листка с пятью тезисами, которые обладатель холеной четырехугольной бороды набросал в какой-нибудь тихий вечер наедине с женой. Листок не нужен. Пять основ штюрмерского служения престолу и отечеству запечатлелись в документах и показаниях очень четко. Те из основ, которые премьер-министр оберегал тщательно, подпирали его. То, в чем он оказался небрежен—его же погубило.

Пункт первый:

— Не вдумываться и не входить в государственную работу, чтобы не отвечать за нее.

Кругом Штюрмера бурлит встревоженный, растерявшийся правительственный аппарат. Расстройство в снабжении фронта, хаос на транспорте, рост цен на товары и продовольствие, растущая революционная угроза, дипломатические недоразумения—все это лихорадит руководителей отдельных министерств, толкает на какие-то шаги, реформы, докладные записки.

Премьер высится в этом бушующем море спокойным непроницаемым утесом. Министр земледелия Наумов в отчаянии горько жалуется:

— Штюрмер всегда имел такой величавый, хладнокровный вид!.. Я лично никогда от него не слышал определенного ответа на какие-либо самые серьезные, злободневные, так сказать, шкурные вопросы. Это всегда как-то от него отскакивало. Он никогда не проявлял определенного отношения, не реагировал на то, что волновало каждое из тех лиц, которые составляли в то время кабинет министров.

Князь Волконский подтверждает:

— Это человек, который способен с утра до ночи только все впитывать, выслушивать, но сам он ничего не дает!



Товарищ министра по иностранным делам Нератов дополняет:

— Он был сдержан, больше выслушивал то, что говорили ему иностранные послы, иногда спрашивал мое мнение. Но высказывался он весьма неохотно и всегда откладывал высказывать свою точку зрения!

Однако Штюмер очень заботился, чтобы его молчание и безучастие было действительно облечено в великолепную аристократическую форму. Борода, ордена—что там борода и ордена! На них одних не уедешь.

Новый премьер самым усердным образом—и в этом заключался второй пункт его программы—обеспечил себе необходимую рекламу в том виде, в каком он это представлял себе ценным.

Во время заседания совета министров по столу без всякого обсуждения переходит из рук в руки готовый протокол постановления. По протоколу в бесконтрольное распоряжение Штюмера, помимо государственной думы и совета, отпускается пять миллионов рублей. Министры морщатся, кривятся, но подписывают.

Пять миллионов—специальный фонд для подкупа прессы. На него Штюмер решил купить суворинское „Новое Время“, чтобы из черносотенной, официозной, но все же частной газеты, изредка позволяющей себе мелкие вольности, сделать безропотный казенный громкоговоритель председателя совета министров.

„Новое Время“, это—для чиновных низов. Придворные верхи этим не возьмешь. Старик дает громадную взятку из того же пятимиллионного фонда князю Андронникову, и тот помещает в своем журнальчике статью—исследование о том, что Штюмер есть прямой потомок святой Анны Кашинской. „Благородное“ происхождение должно поднять фонды старого авантюриста!



Третье правило. Тщательно следить за всеми нежелательными людьми в близком окружении и во-время их убирать.

По этой части старик побивает все рекорды лукавства и прямо комедийного плутовства. Тот же министр земледелия Наумов в своих показаниях растерянно рассказывает, как его буквально обвел вокруг пальца ловкий старикан.

Почувяв интриги за своей спиной, Наумов попросил Штюрмера доложить царю о его, Наумова, желании уйти в отставку.

— Я пошел, чтобы узнать, доложил ли он государю о моей отставке. На мой вопрос он ответил: „Нет, нет, ничего не докладывал, и об этом не может быть теперь речи, потому что не время теперь беспокоить государя“.

Ровно через минуту Наумов узнает от генерала Алексеева, что Штюрмер докладывал, и даже очень докладывал о нем государю.

— Вы уходите в отставку? О вас вчера специальный был доклад, который продолжался полтора часа.

Таковыми же обезьяньими штучками красивый старик обставляет все прочие непрерывные уходы и приходы министров, превратившиеся в сплошную комическую „министерскую чехарду“ шестнадцатого года.

Четвертый пункт программы—не менее существенный. Исходя из мудрого положения: „кто себе враг?“—устроиться на высших постах государства как можно домашнее и уютнее.

Следственная комиссия интересуется, почему Штюрмер после четырех месяцев взял себе министерство иностранных дел вместо внутренних. Старик теперь уже откровенно объясняет:

— Оно ведь легче. У нас легкими министерствами считались министерство иностранных дел и святейший синод.



— Почему же министерство иностранных дел, учреждение, которое ведает внешней политикой мирового государства, могло считаться по легкости своей равным министерству синода?

— Несомненно, оно так и есть. Министерство иностранных дел не так кропотливо. Ведь там, в министерстве внутренних дел, с утра до вечера, во всякое время дня и ночи—справки, телеграммы, телефоны, распоряжения. Вот это мне казалось весьма трудным.

Забываясь о минимуме беспокойства, высокий сановник не забывал о максимуме удобств и выгод. После ухода его из министерства иностранных дел хозяйственная часть подняла судебное дело об увозе бывшим министром понравившихся ему ценных предметов из казенной квартиры. Другая из очаровательных юношеских шалостей, которую позволил себе декоративный старец, была продажа по спекулянтской цене штюрмеровского имения. Министр выдал своему покупателю большую ссуду из казны на постройку завода в том же имении. Ссудой обе стороны дружественно поделились.

И пятая, и самая главная, забота определяла собой политику председателя совета министров Российской империи. Старик, увы, схалтурил с этой главной заботой. Оттого и ушел.

Вначале Штюрмер был на высоте. Он твердо помнил волю пославшего его. Помнил и чтит.

Манасевич-Мануйлов аккуратно возил старика к „старцу“. Старец называл старика старикашкой и благоволил к нему. При прощании неизменно целовались. У Григория были все основания одобрять своего премьера. При нем грязный негодяй, решавший судьбы страны, был наиболее обслужен правительственным аппаратом.

Немедленно по вступлении в должность новый премьер отдал распоряжение директору департамента полиции



о том, что Григорий Распутин должен охраняться наравне с членами царствующего дома.

Распутину подавались автомобили военного министерства. Его охраняли четыре организации—охранка, полиция, придворная полиция и контр-разведка.

Записки Григория о назначениях, освобождении от военной службы, денежных ссудах выполнялись беспрекословно.

Штюрмер „жил и жить давал другим“. Он был верным слугой Гришки и явственно ощущал на себе Гришкину благодать. Как-то наткнувшись на холодный прием у царицы, премьер срочно запросил отчета у Распутина и получил успокоительное разъяснение, что „мамаша“ была расстроена чем-то посторонним и ничего не имеет против Бориса Владимировича.

Но на один момент, на два-три дня какая-то роковая муха укусила покорного старика. По словам того же всеведущего Манасевича, Штюрмеру вскружило голову очень ласковое обращение с ним царя в ставке. Вскружило голову—и премьер-министр не исполнил какое-то уж очень гнусное, опасное распутинское поручение.

Сановник сейчас же спохватился. Он прибежал к Распутину с повинной головой. Но было уже поздно. Очередная встреча с хозяином у митрополита Питирима решила дело. Неизменный Манасевич, трясаясь от страха, слышал, как за дверью Гришка отчитывал председателя совета министров.

— Раздался крик, очень сильный, Распутина:— „Ты не смеешь итти против желания мамаша!“ Затем опять отдельные возгласы, и Распутин говорит: „Смотри, чтобы я от тебя не отошел, тогда тебе крышка!“ Затем он еще говорил, но я не знал, в чем дело. Когда Штюрмер уехал, Распутин остался на некоторое время, и я вместе с ним вышел; я его спросил: „Что ты так кричал на



старика?“ Вот его точное выражение: „Он, старикашка, должен ходить на веревочке, а если это не так будет, то ему шея будет сломана“.

Штюрмера пробовали свергнуть кадеты. Они защищали свою привилегию добиваться Константинополя и проливов. Милюков произнес в думе в своем роде историческую речь. Он объявлял старика германофилом и чуть ли не немецким агентом. Получился большой шум, но не из-за него ушел премьер-министр. Это Распутин, рассердившись, дал коленом в зад чудесному сановнику в роскошном, залитом золотом и бриллиантами мундире, с изумительной холеной четырехугольной бородой.

Еще пять недель, и труп Григория со страшными кровоподтеками, с привязанными к ногам пудовыми гириями городовые, зажмурясь, вытаскивали из проруби...

Еще три месяца—пошел к чорту и весь режим, тот самый, на образы которого наши дети смотрят с равнодушным недоумением, как на картинку старой продавленной папиросной коробки.



**СЕГОДНЯ** мы достаем из ящика и перелистываем записки двух живых, невыдуманных людей—Андрея Романова и Андрея Шмелева.

Оба находили время каждый вечер перед сном заносить в тетрадь события прошедшего дня.

Похвальная привычка! Если каждый человек делал бы то же самое, принуждаемый к тому законом, в стране изводилось бы немного больше бумаги, зато мы имели бы точные слепки сотен миллионов человеческих жизней, могли бы по ним отлично изучать эпохи, человеческие страсти, страдания, раскрывать преступления и опасные тайны.

Конечно, дневники резко отличались бы друг от друга. Записки вора заменяли бы бульварный роман. А дневник, скажем, мелкого чиновника—ну, что в нем особенного! Сидел в канцелярии, обедал, отдыхал, сидел в канцелярии, обедал, отдыхал, играл в стуколку, пошел в баню. Куда там среднему человеку изумлять мир загадочными приключениями, высокими переживаниями! Где там!

Дневник Андрея Романова попал к нам в руки после длинных и сложных историй, о которых можно было бы написать особую книгу. Дневник Андрея Шмелева просто принес к нам его сын, Иван Андреевич, принес и сдал: может быть, пригодится. Два дневника пылились где-то под спудом, а сейчас, накануне январской годовщины, мы с трудом разобрали два почерка, сверили две тетради по одним и тем же дням.



У обоих Андреев записки по содержанию довольно однообразны. Изю дня в день повторяются одни и те же строки.

Вот май у Андрея Шмелева.

„6 мая 1904 г. Встал в 5, немного занялся по дому с Катей, потом на завод. Уже очень жарко становится. На обеде читали газету, новостей мало. Вечером гулял с детьми у Нарвских ворот. В 9 лег спать“.

„7 мая. Встал поздно—в 6½ ч., еле поспел на завод. Рабочие у нас опять говорят о забастовке. Говорят, будут прибавки. У ворот стоит полиция, конная. Вечером ко мне приходили Алексеевы. Лег в 10“.

„8 мая. Сегодня воскресенье. Хотел пойти в город гулять, но Ванька заболел, у него лихорадка. Хотели позвать доктора, но решили с женой подождать до завтра. Вечером вышли, гуляли до Измайловского проспекта. В городе сегодня совсем тихо“.

„9 мая. Встал, как всегда, но чувствовал себя плохо, может быть, от Ваньки заразился. Работать было тяжело, да еще порезал палец. Вечером смотрели иллюминацию. Говорят, рабочие хотят опять образовать союз, но без социалистов и революционеров. Я решил пойти, если пойдут“.

„10 мая. Встал рано, читал одну книжку, которую дали товарищи. Удивляюсь, как правильно напечатано. Описание нашей жизни верное, я, как рабочий, полагаю, что списано прямо с жизни. Днем на заводе говорили, что может быть вскоре конституция. Лег спать в 10“.

„11 мая. Сегодня с утра лил очень сильный дождь. У нас рабочие на дворе баловались и пускали кораблики по большим лужам. Вечером приехал дядя Антон из Курской губернии, привез сала очень хорошего. Он надеется поступить на завод. У них в деревне крестьяне хотят пожечь помещиков и помещичий хлеб. Дядя Антон



уговаривал многих и боится возможной мести со стороны управляющего“.

„12 мая. Сегодня у нас на заводе опять была полиция. Арестовали 12 человек. После работы мы собрали деньги для них. Собрано было довольно мало. Ваня еще хворает, но думаем обойтись без доктора. Где-то около нас начался большой пожар, но не удалось узнать где“.

Те же дни у Андрея Романова по записям его кажутся столь же однообразными, хотя и совсем в другом роде.

„6 мая 1904 г. В 10.20 все семейство покатило к обедне. В 2 был дома и затем на автомобиле поехал к Мише и вместе в Красное Село, осмотрели свою дачу и назад в Царское Село. В 5.36 в город. В 8 обедал с мамой и Кириллом“.

„7 мая. В 8<sup>1/2</sup> встал, в 10<sup>1/2</sup> поехал к папа и мама, а затем в академию. В 12 у меня завтракали мои товарищи по академии, ныне окончившие курс. После завтрака сидели наверху и пили вино. Было довольно весело. В 3 ч. разъехались. В 5 Кирилл пил у меня чай. В 8 я обедал у папа и мама. В 10 был дома, в 12 лег спать“.

„8 мая. В 8<sup>1/2</sup> я встал, в 10 был у меня Жюль, брил и чесал. В 10<sup>3/4</sup> был генерал-адъютант Дубасов. В 11 я отправился к обедне. Завтракали дома. В 1 час вся академия с профессорами собралась сниматься. Снялись две группы с профессорами и две без них. Затем я пошел к своему катеру, и мы покатались по Неве. В 3 я был дома, в 8 обедал с папа и мама, в 10 был дома, в 11 Маля была у меня, в 12 я лег спать“.

„9 мая. В 9 я встал и пошел гулять. В 12 у меня завтракала часть выпуска, 19 человек. В 4 уехали, в 4<sup>1/2</sup> я был у Воллесона, затем катался на катере по Неве, в 6 был дома, в 8 обедал с папа и мама, в 11 лег спать“.



„10 мая. В 9 я встал и чувствовал себя весьма плохо, зуб страшно болел. В 10 я пошел гулять, гулял целый час. В 12 завтракал с папа и мама. В 2 часа был на панихиде по младенце Наталии Константиновны. В 3 был дома и лег спать. В 8 обедал Кирилл. До 10 был дома, в 11 лег спать“.

„11 мая. В 8<sup>1/2</sup> я встал, в 10 час. пошел гулять, в 11 был дома, потом поехал к своим по случаю именин. Затем был завтрак. В 2 я был дома. В 1 час был Чарторыйский. В 5 пошел гулять. В 6 был у Воллесона. В 7 брал душ. В 8 обедал с папа и мама. В 9 поехал домой. До 12 читал, а затем лег спать“.

„12 мая. В 8 час. я встал, в 10 был у мама. В 11 поехал в Мраморный дворец на отпевание младенца Наталии Константиновны. Я повез Мишу на катере в собор. Там отслужили литию. В 1 час я завтракал дома. В 6 был у Воллесона. В 7 с Кириллом обедал в ресторане Эрнеста с товарищами по выпуску. В 10<sup>1/2</sup> был дома. В 12 час. лег спать“.

В одном и том же городе, в одном году, в одни и те же дни движутся жизни двух Андреев. Оба они не в центре событий, оба как-то сбоку, в стороне. Но на календаре жгучая цифра—1905. Ее отсветы падают на тетради двух современников. Падают по-разному. Оба автора записок—заурядные, второстепенные люди. Но все-таки Андрей Романов—„рядовой“ великий князь, мало заметный, но член царствующего дома, а Андрей Шмелев—рядовой рабочий Путиловского завода.

В майское воскресенье, когда Андрей Шмелев сидит у постели больного сына, не имея лишнего рубля на доктора, Андрей Романов катается в великокняжеском катере по Неве.

А в кровавое воскресенье девятого января ближайшего года?



Вот опять фотографические снимки двух жизней, снятые при вспышках январских залпов, при блеске казачьих шашек, под стоны умирающих и музыку придворных балов.

„6 января 1905 г. В 9 встал. В 10 поехал к обедне к папа во дворец, а затем позавтракал дома один. На выходе я не был, потому что инфлуэнца еще не совсем прошла. В 3 часа я поехал к папа, который мне рассказал странный случай, бывший на Иордани. Подробности неизвестны. В 4 я был у Мали, в 6 дома, а в 7 пообедал. У Мали было много народа. В 12 часов лег спать“.

„7 января. В 10 часов я поехал в академию. Г. М. Кузьмин-Караваев в нескольких словах разъяснил нам предстоящие практические занятия. Затем поехал домой. В 12 часов завтракал у папа и мама. В 4 я был у Гриппенберга. Забастовка рабочих лишила меня электричества. Шумная толпа прошла по Галерной, требуя прекращения работ в типографиях министерства финансов и сената. Обедал, а затем домой“.

„8 января. В 9<sup>1/2</sup> я встал, а затем занимался. В 12 завтракали с папа и мама. Газет и афиш уже больше нет, все забастовали. Чорт знает, что за времена, ни один завод, ни один ремесленник не работает, все бастуют! Завтра Петербург объявляется на военном положении. Гарнизон Петергофа уже прибыл. Вызваны Псков и Новгород. День прошел спокойно. Обедал с папа, мама и Борисом. В 9—в Михайловский театр. Давали бенефис балета. Очень хорошо. В 11 часов Маля у меня ужинала. В 1 час лег спать“.

„9 января. В 9 часов меня разбудили и доложили, что пришел караул от гвардейского экипажа для охраны моего дома. Я живо встал и пошел его навестить и разместить. На Замятинском переулке стояла целая рота гвардейского экипажа. Я туда пошел приглашать офицеров



кушать. Весь город в охране. На мостах караулы. На углах тоже. В 11 я поехал к обедне. Весь Зимний дворец был окружен войсками. На Набережной у Дворцового моста стояла рота и у Троицкого рота. На площади около двух полков бивуаком с кавалерией. Рабочие должны были к 2 часам собраться у Зимнего дворца и просить государя их принять. Для этой цели со всех концов города двинулись густые массы народа. Их просили разойтись, они отказались, дали залпы, до 10, перебив многих. Толпа разбежалась. На Невском, Морской и Гороховой шла тоже толпа и была тоже встречена залпами. У Александровского сада тоже толпа не желала уйти—стреляли. Но пришлось прикладами еще раз отбивать их. Залпы продолжались до поздней ночи. Затем все улеглось. Цель была достигнута—рабочие до Зимнего дворца не дошли, и отдельные массы не соединились. Общее число жертв установить трудно, ибо трупы и раненые уносились толпой. Но приблизительно расчет такой: всего было дано свыше 40 залпов, считая по 40 убитых и раненых, получим около или даже более 1 600 человек. Но говорят, что число гораздо больше. Днем я был у папа. Обедал дома с командиром второй роты. Вся рота разместилась у меня в сарае и конюшне. 130 человек и мой караул 22, итого 152. Да 4 офицера и командир Федоров. В 11 часов поехал к Мале. В 12 вместе к Трефиловой ужинать. Очень мило провели время, в 4 уехали домой, в 5 лег спать“.

„10 января. С утра все спокойно. Войска поубрали на отдых. Говорили, что будет движение, но ничего не было. 2 рота гвардейского экипажа осталась у меня. Завтракал дома с офицерами, и Миша приехал, потом ходили по дому. День прошел спокойно, но нервно. На ночь  $1\frac{1}{2}$  роты отправили на главный телеграф. Ходили



слухи, что грабили, но неизвестно, верно ли. В 11 лег спать, все спокойно“.

„11 января. Третий день все спокойно. Караул и 2 рота гвардейского экипажа стоят все еще у меня и не собираются уходить. В 10 у меня собрались мои товарищи по академии, и мы произвели „пробное заседание“. Не особенно хорошо шло, больше болтали. В 12 мы все поехали завтракать, мои офицеры и полицейский офицер, который тоже примостился кушать. Не успели мы съесть и второго блюда, как доложили, что на Замятином переулке прибыли конногренадеры. Я их пригласил завтракать, оказалось, что их вызвал пристав. Но их скоро отпустили, так как оказалось, что никакой нужды в них не было. Днем был у папа и мама и узнал, что московский полицеймейстер назначен с.-петербургским генерал-губернатором, а Фуллон в свиту, т.-е. по шапке. Я видел Трепова—очень симпатичное производит впечатление, с твердо установившимися взглядами и убеждениями. Обедал с папа и мама и в 9 домой. Немного позанимался, а затем к Мале... После того еще посидел, поболтал с ней и в 1 часу был дома. Все спокойно“.

„12 января. В 9 я встал, брал ванну, а затем пошел навестить своих офицеров. Они уже четвертый день у меня живут. Они отлично выспались и чувствуют себя бодро. В 11 я поехал к мама, а в 12 завтракал дома. В 3 поехал к папа. В 4 был дома. В 6<sup>1/2</sup> моя рота ушла. Офицеры были страшно довольны, и команда тоже. В 7 я обедал у мама, в 10 был дома, в 11 лег спать. Все спокойно“.

В те самые дни, когда великий князь Андрей Владимирович под охраной ста пятидесяти двух солдат, пяти офицеров и одного пристава коротал свои досуги с Малей, Андрей Шмелев тоже, по-своему, переживал события. Его записи тоже уцелели и через двадцать три года встретились на столе с великокняжеской тетрадью.



„6 января 1905 г. Мы уже бастуем четвертый день. Вчера стали Семянниковский завод, Штиглиц и на Охте бумагопрядильня, также Обуховский завод и многие фабрики, всех не перечесть. Вчера Творогов и Андрианов, как было условлено накануне, пошли в правление получать ответ. Сказали, что должны еще посоветоваться с другими владельцами, а что касается прибавок, то будто бы можно будет сделать. Говорят, сегодня уже выдавали в союзе по 70 копеек на душу всем семейным. Мы с Катей ходили весь день по улицам, а вечером пошли на собрание у Нарвской заставы, но не могли пробраться. Дядя Антон прошел, он говорит, что там читали просьбу к царю“.

„7 января. Встал в 6, и мы все вышли, до самого вечера ходили, чуть ноги не отнялись. Уже стачка на газовом заводе, и электрическая станция стоит на Васильевском острове. Вечером было темно. Многие конные ездили с факелами. Уже получил сегодня пособие“.

„8 января. Из вагонной мастерской приходили и рассказывали, будто обратно принимают Сергунина и Субботина, а Уколова и Федорова решено не принимать. Но дело не в этом. Завтра решено пойти к Зимнему дворцу с царскими портретами и с манифестом. Идут все рабочие, впереди же всех батюшка Гапон. Некоторые агитаторы выступали, что будет стрельба, но все наши говорят, что это только для испуга. Мы все решили пойти, хотя бы даже что могло случиться. Алеша был у Гапона, тот сказал, что если не пойдут все с женами и детьми, то ничего не выйдет. Царь, увидев, что мало народу, может повернуть назад всех, сказав, что мало пришло. Мы берем с собой Ванюшку. Легли спать очень рано“.

„9 января. Не могу сегодня писать, но все же напишу хоть сколько смогу, потому что какой же смысл было писать для Ванюшки мою жизнь, если такие дни пропущу.



Встали в 6 час. и пошли с Катей, дядей Антоном и Ванькой к Нарвскому отделу. Пришли около 7, и уже было много народу, но ждали свыше чем до 10 час. Затем принесли царские портреты, иконы и хоругви. Приехал и отец Гапон. Он спрашивал, у кого есть оружие, и велел некоторым, каковые были с револьверами, уйти. Затем построились в ряды и пошли с пением духовной песни. Все шли, снявши шапки, я только надел свою шапку на Ваньку, чтобы он не простудился. Многие прохожие тоже снимали фуражки, а также сам видел городских и околоточного, снимавших шапки на хоругви и народное шествие. Не доходя Нарвских ворот, прибыла конница и начала скакать насквозь через толпу, а толпа все пела духовную песнь и шла вперед, затем конница пустилась скакать назад и тоже почти никому не повредила. Дядя Антон взял Ваньку на руки, и мы хотели уже сойти на тротуар, как в это самое время был дан залп, и Катя упала мне прямо под ноги, в то время как кругом началась свалка и ужасные крики умирающих людей. Я начал поднимать Катю и кричать: „Вставай, не бойся“, но она молчала, почему я понял, что она или ранена или убита. В это время в толпе была полная каша, и я еще боялся за дядю Антона и Ваньку, которые как в воду канули, совершенно нельзя было разобрать в этой каше, где кто. Но, наконец, еще с помощью двух рабочих, прямо не знаю как, потащили Катю в сторону, в то же самое время выстрелы продолжались, и прямо на глазах умирали люди; это забыть невозможно, вот так царская милость, сколько буду жив—не забуду. Затем отнесли Катю в нарвскую аптеку, там было что-то ужасное, я кинулся и прямо-таки умолял помочь женщине, при чем Катя все молчала, и это меня особенно пугало. Затем оказалось, что она ранена в живот, и отвезли в больницу на Новосивковскую улицу. Там было тоже переполнено и прямо ужас какой-то. После чего у меня спросили в



конторе фамилию Кати, я сказал, что я муж, но велели немедленно уйти и явиться за справкой только завтра. При чем я был в надежной уверенности, что у меня также убит сын или потоптали во время выстрелов. Но, придя домой, застал дядю Антона и Ваньку совсем невредимыми. Оказывается, дядя Антон кинулся к воротам, и хотя были заперты, но прижался с мальчиком и уцелел. Опасаюсь за Ванюшку, как бы не заболел от страха или, может быть, простудился. При этом должен не забывать, что жена, тяжело раненая, находится в больнице в неизвестном положении. Вот таким образом мы встретили сегодня царский день“.

„10 января. Утром сегодня более спокойно. Говорят, на Петербургской стороне стрельба продолжается. Убит Николай Кузьмич Лаврентьев, а также из нашей мастерской Брандуков, Кузьмин, Константиновский. Петя Виноградов убит вместе с женой, и еще многие товарищи. Теперь еще трудно узнать про всех. У меня свое горе в дому. Меня сегодня в больницу к Кате не пустили, только сказали, что очень тяжелое положение. Вечером мы сидели дома. Ванька держался молодцом. Я с ним играл в чурки. Легли в 10 час.“.

„11 января. Сегодня с утра было все довольно спокойно. Затем я пошел на Новосивковскую улицу и явился в контору, где я недолго ждал, после чего доктор сообщил, что Катя умерла сегодня в 3 часа 40 минут утра, будучи смертельно ранена в живот. Теперь вопрос с похоронами. Говорят, будут хоронить всех вместе, но я не знаю, как мне поступить. Сказал Ванюшке, что мать уехала к бабушке в Лугу. Ребенок совсем спокойный, но часто пугается, особенно когда спит, кричит. В городе все спокойно“.

...Дневники Андрея Романова и Андрея Шмелева продолжают дальше. За январской неделей девятьсот



пятого года пошли новые недели, месяцы и годы. Великий князь Андрей заседал в правительствующем сенате, ездил к Мале, командовал лейб-гвардии полком. Андрей Шмелев—не отлучался от станка на заводе, воспитывал своего осиротевшего Ваньку. Шмелев умер пожилым человеком в двадцатом году от сыпного тифа, оставив сына-коммуниста. Романов, недостреленный, как его некоторые родственнички, удрал за границу и прозябает там, держа большую мастерскую модных туалетов. Он состоит в братьях у эмигрантского „императора“ Кирилла Владимировича, мечтает о прогулках на катере по Неве и безупречных пулеметах для рабочих.

От обоих современников сохранились для нас только тетради—замусоленная слипшаяся записная книжка Шмелева и роскошный, в переплете синего сафьяна, с еще свежим золотым обрезом альбом Романова. Но история твердо и памятно рассудила двух Андреев, вернее, классы, породившие их. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Этот приговор—беспощадный разгром русского дворянства и буржуазии, навсегда стертых с лица некогда подвластной им земли, этот приговор с суровым торжеством повторяет про себя каждый рабочий в годовщину черного дня, девятого января девятьсот пятого года.



**ЭТО НАЧАЛОСЬ** с честных слов. Да, с честных слов пошла борьба с контр-революцией.

Красногвардейцами у Гатчины был взят в плен генерал Краснов. Он дал честное слово дворянина и офицера не бороться с советами и был отпущен на волю. В генерале Краснове мы познали одного из самых яростных, непримиримых, активных белогвардейцев. В годы гражданской войны он пролил на Дону кровь многих тысяч рабочих и крестьян. Бежав за границу, приютившись в эмиграции, льет Краснов вместо крови чернила, пишет бесконечные полубезумные романы, истязает, расстреливает, мучает далекие образы ненавистных большевиков.

Сидели в Петропавловской крепости Пуришкевич, Бурцев. Они тоже попросились на волю, тоже дали честное слово, тоже были отпущены. И сейчас же начали самую яростную борьбу против тех, кому дали слово. Пуришкевич суетился и сражался до двадцатого года, пока не скопил его сыпняк в Новочеркасске; Бурцев и по сей день бродит вокруг советских стен с ведрышком помоев, стараясь плеснуть подальше и попахучее.

Было время, ходили по Петрограду, по Москве свободно, на одном честном слове, виднейшие царские сановники, министры, даже великие князья. Но скоро, очень скоро время показало, что честное слово в революции не товар.



Теперь, через десять лет, большевики не верят уже ничьему честному слову. А в десятилетнем промежутке—пролисталась самая потрясающая в мире книга борьбы с тайными врагами революции.

Считать, что Красная армия боролась с внешним врагом, а ЧК—ГПУ—с внутренним, было бы неверно. У ЧК враги были, конечно, столь же внешние, сколь внутренние. Правильнее сказать, что армия воевала с открытыми вражескими силами, а Чека—со скрытыми.

О Красной армии уже написано множество книг. О Чека—пока еще ни одной настоящей. Напишется ли? Трудно ручаться. Мы всегда все возлагаем на историю, но старуха вовсе не так аккуратна, как этого хотелось бы.

А ведь эта ненаписанная книга не имеет себе подобных в веках! Трудно даже подыскать что-нибудь близкое по размаху, сложности и драматизму борьбы, по необъятному многообразию противника, по неисчислимости трагических моментов, по неопишуемому напряжению всех мыслимых человеческих свойств и страстей.

Начало Чека. Ленин, меньше всех веря честным словам в политической борьбе, ищет для борьбы с контр-революцией „непримиримого якобинца“. Железный Феликс становится на свое место.

У Чрезвычайной комиссии на первых порах были чрезвычайно скромные функции. Она боролась почти исключительно с бандитизмом, с разгромами винных погребов, с саботажем министерских и банковских чиновников. Она располагала мерами взыскания, которые теперь кажутся смехотворными; конфискация, лишение продовольственных карточек и, как самое ужасное наказание, „опубликование списков врагов народа“.

Весной восемнадцатого года—первый большой контр-революционный заговор. Чека раскрывает его довольно кустарно, но вполне удачно. „Союз спасения родины и



свободы"—Савинков во главе, французский консул Гренар за кулисами, множество офицеров на ролях исполнителей. План заговора смел и прост. Захватить повстанцами Ярославль, Рыбинск и Кострому, подтянуть из Архангельска и Вологды французские десанты, двинуться всем вместе от Верхней Волги на Москву... Просто, смело, но не удалось.

...Заговор Савинкова едва успели ликвидировать к моменту мятежа левых эсеров. Восстал военный отряд ВЧК, арестовал самого Дзержинского. Пленник беседует со своими тюремщиками:

— Разве же так делают восстания? На вашем месте я расстрелял бы себя немедленно. Чего же вы медлите?!

Эсеры пугливо жмутся по углам от своего арестованного. Они не могут выдержать его взгляда. Отпускают Дзержинского на свободу. Мятеж левых эсеров усмирен твердо и сурово.

...Новая попытка низвергнуть советы, „заговор трех послов“ организован уже по-европейски, по всем правилам конспиративной техники.

Задачи заговора многообразны, аппетиты организаторов велики. Разрушить мост у Званки, чтобы отрезать Москву от Петрограда. Взорвать Череповецкий мост, чтобы отрезать Петроград от Северной России. Соблазнить латышские части, арестовать при их помощи ВЦИК, Совнарком, убить Ленина, захватить банки, телеграф, вокзал, Кремль... Исполнительный аппарат заговора вполне соответствует высоте поставленных заданий. Во главе его стоит тройка, для которой каждый из трех послов предоставил лучшую жемчужину шпионского корпуса своей страны. Американский грек Каламатьяно, французский поручик Вертамон и капитан британской авиации Сидней Рейли—едва ли в мировой истории контр-разведки объединялся столь блестяще квалифицированный состав! Против тройки



непобедимых чемпионов выступала семимесячная Чека—сырая, некультурная, малограмотная организация с рабочими и солдатами во главе, без всякого опыта, без методов работы и даже без понятия об этих методах. Можно ли сомневаться в результате!

Капитан Рейли протоптал дорожку к командиру латышской артиллерии Берзину. Блестящему шпиону не стоило большого труда обработать простоватого и жадного латышского стрелка. За сравнительно скромные деньги Берзин пообещал обтяпать все дело. Латыша удалось заагентурить так крепко и надежно, что Рейли водил его на свидания даже к самым иностранным послам. Представитель французской республики господин Гренар ласково объяснял Берзину, как разлагать Красную армию, и радушно повторял, что за деньгами дело не станет.

Латыш оказался несколько не жадным и совсем не простоватым. Верный и преданный партии товарищ—Берзин держал Чека в курсе всех переговоров с иностранцами. Заговор подрезали, дав ему сочно дозреть до конца. В засаду на тайной квартире попался сам британский поверенный в делах министр Локкарт. Он так отупел от страха, что забыл даже предъявить дипломатический паспорт. Почетный документ был обнаружен лишь при обыске карманов, и дипломат был отпущен.

Послы укрылись в норвежском консульстве. У самого подъезда консульства задержан был Каламатьяно. При американце не было ничего, он бодро помахивал увесистой тросточкой и улыбался чекистам. Но тросточку начали развинчивать, и тогда весельчак что-то сразу загрустил. Внутри трости были спрятаны шифры, подлинные расписки шпионов в получении денег, условные знаки, планы всей колоссальной, сложнейшей сети шпионажа и террора, руководимой из трех великодержавных посольств...



Осень восемнадцатого года. Тучи сгущаются. В Москву телеграфируют: в Петрограде убит Урицкий. Председатель ВЧК лично выезжает на следствие. В Смольном его ждет новейшее известие из Москвы: тремя выстрелами ранен тяжело, может быть, смертельно, Ленин.

Железный Феликс молчит, он не говорит ни слова обступившим его в Смольном товарищам. Он только спрашивает,—когда первый поезд на Москву?

— Мы сейчас отдадим распоряжение прицепить специальный вагон для вас. Ведь иначе—ехать опасно. Да и просто невозможно,—вы ведь знаете, что сейчас творится на дорогах!

Дзержинский ничего не отвечает. Нахлобучивает фуражку на лоб, надевает котомку на спину, пешком уходит из ворот. Через полчаса на Николаевском вокзале к серой толпе крестьян, солдат, беженцев примешался еще один немолодой, бородатый солдат в потертой гимнастерке, с мешком за плечами, с крепко сжатыми губами, с морщиной поперек лба. Он вместе с другими пошел в атаку на облепленные человеческими телами вагоны.

Что думал Дзержинский в ночь 31 августа 1918 года, одиноко трясясь на буфере из Петербурга в Москву, ожидая поутру найти уже труп Ленина? Феликс всегда умел требовать от себя больше, чем от других. Он был председателем Чека, его долг был охранять революцию и ее вождей, и вот—вождь вождей пронзен тремя пулями!

Молчаливый Феликс унес с собой в могилу мысли и чувства августовской ночи. Но только после выстрелов в Ленина мир узнал по-настоящему, что значит красный террор.

На некоторой странице ненаписанная книга меняет свое заглавие. Чека перестроилась в ГПУ. Это был не конец, не отдых, не перерыв, это была лишь перемена обстановки и методов работы.



В прежние годы рабочий, председатель провинциальной Чеки, садился на обломок стула и во всеоружии своей классовой правоты писал карандашом на обрывке постановления: „Расстрелять Мельниченко, как гада мировой буржуазии, а также семерых с ним в камере“. Теперь ГПУ работает под надзором прокуратуры, совместно с судом, рабкрином, контрольными комиссиями. Методы и правила борьбы усложнились, а опасности и враги не уменьшились. Работать при таких условиях в ГПУ было бы совершенно непосильно, если бы теперь, в наше время, на помощь органу защиты революции не приходили бы массы трудящихся.

Каждый класс имеет свой орган защиты и охраны. Французский феодализм имел полицию накануне своего конца. Она была раздавлена вместе с королевским строем. Органом защиты республики стал комитет общественной безопасности, выдвинутый конвентом.

Полиция короля и феодалов была трусливой, ползучей, пресмыкающейся организацией. Она шныряла между подворотнями, уносила свои жертвы втихомолку и так же тихо, безмолвно кончала с ними. Революционная полиция демократической буржуазии—нового класса, шедшего на смену феодалам—делала свое дело открыто и громогласно, на виду у всех. С утра до ночи работал на Гревской площади блестящий клинок гильотины, и каждый мог увидеть, какая участь ждет врагов народа. Якобинская полиция не прятала, не скрывала своей работы. Она открыто представляла свою деятельность наружу. Вооруженная жизненной правотой наступающего класса, она опиралась на огромные массы сторонников, добровольных помощников и соучастствующих.

Помочь полиции короля—это считалось предосудительным даже для аристократа, принятого при дворе. Конечно, полиции все-таки помогали, но всегда втихомолку, с



боязнию быть морально опозоренным. Помочь комитету общественной безопасности в эпоху революции—это считалось моральным долгом и явной гражданской заслугой. Если кто-нибудь разоблачал контр-революционера—этим можно было открыто гордиться, это делалось зачастую коллективно и всегда с полным ощущением личной и общественной правоты.

Почти полтора столетия передвинули буржуазию на задний план, обрекли ее на неизбежную гибель и вырождение перед лицом нового наступающего класса—пролетариата. Понимать, скажем, полицию нынешней Французской республики как продолжательницу комитета общественной безопасности было бы издевательством. Полиции и охраны всех буржуазных стран повторяют роль королевских шпионов накануне Великой Французской революции. Судьба их, конечно, будет тоже соответственная.

Но и вне исторических аналогий, вне общих признаков сравнение ГПУ с буржуазной полицией, даже в рамках их прямого действия как аппаратов, дает убийственный результат,—ясно, для кого.

Мысленно наблюдайте за двумя людьми. Один—революционер в буржуазной стране, другой—белогвардеец в стране Советов. Оба нелегалы, оба подпольны, оба скрываются.

Первый, революционер, попадает в руки полиции большей частью в том случае, если полиция „обслужит“ его своим собственным аппаратом. Пока штатный полицейский агент или наемный провокатор-фашист или социал-прохвост лично не выследят, пока не пойдут по пятам революционера, пока они лично не накроют его в квартире или на улице,—подпольщик может безопасно продержаться месяцы и годы.

Полиции почти никто не приходит на помощь со стороны. Она совершенно изолирована от трудящихся. Всякий



сочтет позором для себя донести на скрывающегося от полиции политического преступника. Это—во многих капиталистических странах в наше время, это же было в России в царские времена. Платная провокация, отдельные предательства—все это не в счет, это—капля в море. При наличии и провокации и предательств в России десятилетиями строилась и крепла подпольная партия большевиков. Ее руководители, организаторы, инструктора разъезжали, правда, с большим риском, повсюду, делали свое дело, тщательно избегая охранников, но открыто и безбоязненно появляясь в среде тысяч рабочих.

Теперь представьте себе второго: белогвардейца, приехавшего осуществлять заговор в советской стране. Пусть даже он прибыл со всеми предосторожностями и поселился у своего друга, белогвардейца же; пусть ГПУ о нем не подозревает. Но пролетарская организация защиты революции не изолирована, подобно буржуазной полиции, от окружающего мира. ГПУ теперь опирается на самые широкие круги населения, какие можно себе только представить. Если белый гость покажется подозрительным, им тревожно заинтересуется фракция жилтоварищества. На него обратит внимание комсомолец-слесарь, починяющий водопровод. Прислуга, вернувшись с собрания домашних работников, где стоял доклад о внешних и внутренних врагах диктатуры пролетариата, начнет пристальнее всматриваться в показавшегося ей странным жильца. Наконец, дочка соседа, пионерка, услышав случайный разговор в коридоре, вечером будет долго не спать, что-то, лежа в кровати, взволнованно соображать. И все они, заподозрив контр-революционера, шпиона, белого террориста,—все они вместе и каждый в одиночку не будут даже ждать, пока придут их спросить, а сами пойдут в ГПУ и сами расскажут оживленно, подробно и уверенно о том, что видели и слышали. Они приведут чекистов к белогвардейцу, они



будут помогать его ловить, они будут участвовать в драке, если белогвардеец будет сопротивляться.

Белая печать и международный обыватель, включая нашего, любит посудачить о громадном аппарате, которым располагает ГПУ. Все их даже самые горячие слухи и версии преуменьшают истинное положение во много раз. Не сорок, не шестьдесят, не сто тысяч человек работают для ГПУ. Какие пустяки! Миллион двести тысяч членов партии, два миллиона комсомольцев, десять миллионов членов профсоюзов, итого свыше тринадцати миллионов по самой-самой меньшей мере (жены рабочих! вся Красная армия! кустари! бедное крестьянство! середняк!..), составляющих реальный актив ГПУ. Если взяться этот актив уточнить, несомненно, цифра вырастет вдвое. Во время последней полосы белых террористических покушений целые группы ходоков из деревень приходили за двести верст пешком в город, в ГПУ, сообщить, что в деревне, мол, появилась политически подозрительная личность. Крестьянин, пришедший к властям покричать насчет снижения налогов и тут же помогающий обнаружить анти-советского агента, — вот настоящее поведение „загадочного русского мужичка“, о котором гадают за границей!

Даже с аппаратом, удешевленным против существующего, но без многомиллионного поддерживающего актива в стране, ГПУ никак не справилось бы с тысячами опасностей, подстерегавших революцию на каждом шагу, на каждом повороте; оно не смогло бы раскрыть всей вереницы чудовищных заговоров, хитроумных и мрачных петель, уготовленных для советской власти.

С этим активом достигнут полный разгром всего зловещего сонма сил, собравшихся низвергать наш строй, поворачивать вспять наш путь.

Какой разгром! Подобного не знала история. Длинные разветвленные охвостья двух классов, помещичьего и



буржуазного, разрублены на куски, разорваны в клочья, растерты в порошок, развеяны в пыль.

Целые большие политические партии, некогда задававшие тон в стране, буквально растоптаны. Уцелевшие уползли по ту сторону границы.

Ведь могут быть и в нашей стране причины для недовольства. Ведь есть и недовольные, их не мало. Отчего бы прежним русским политическим партиям не возобновить массовую работу?

О, нет! Эсеры, меньшевики, трудовики, петлюровцы, дашнаки, кадеты—все они парализованы. Издавать за рубежом газетку, ходить на прием в иностранные канцелярии и там доказывать недолговечность советского строя, брать поручения в контр-разведках—это еще можно. Но массовая работа?! Собрания?! Это трудно себе даже представить. Эсер, выступающий перед десятью или более человеками? Монархист на советском собрании? Это звучит уже не как фантазия и не как шутка. Это—просто невразумительная чепуха, сапоги в смятку, абра-кадабра. Оттого в эмиграции и создалась теперь теория, которой все белые партии прикрывают свое бессилие. Теория о том, что массовая работа еще преждевременна, что „русский народ“ когда-нибудь сам уразумеет омерзительность большевистской власти и тогда уже призовет к себе „спасителей“ из-за границы.

Хорошо уразумев положение вещей, антисоветские силы применяют себя теперь больше всего в области террористической, диверсионной, шпионской. Область благодарная, потому что за благодарностью надо ходить не к русскому народу, а в иностранные штабы.

Но и здесь... удивительная вещь! Ведь ни один белый заговор так и не был логически завершен, ни один не доведен до цели! Мало того,—ни один крупный белый террорист не показал себя выдержанным до конца борцом.



Обреченность класса, за который сражаются белые, кладет на их действия отпечаток конечной никчемности, безысходной слабости. Человека, состоящего в заговоре против советской страны, социально ничто не подпирает сзади. Впереди же него—непрерывно, неизбежно, неминуемо движущаяся вперед, все раздавливающая на своем пути колесница нового класса. Чему же удивляться, если даже такие вожди белого движения, как Савинков или Анненков, обессиленные отчаянием, бросились под неумолимо идущие вперед колеса!..

При всем этом работа в ГПУ продолжает требовать отдачи всех сил, всех нервов, всего человека, без отдыха, без остатка.

Трудно, но важно писать статьи и книги о строительстве социализма. Трудно, но важно строить заводы, бороться с малярией, мостить дороги, обучать политграмоте, тушить пожары, собирать хлеб. Не знаю, самая ли важная для нас из всех работ—работа ГПУ. Но знаю, что она самая трудная. Чтобы сидеть и держаться на ней, нужны действительно честные, действительно бескорыстные, действительно выдержанные до конца коммунисты-революционеры. Они есть, и образ их, всегда бдящий, всегда тревожный, всегда нас охраняющий, не должен забываться никем, кого партия и советская власть послали на другие посты.

Там, по ту сторону, в штабах могущественнейших капиталистических держав, во дворцах индустриальных королей, в блестящих кабаках и ресторанах—неустанно ткутся тонкие и крепкие сети; там, у громадных несгораемых шкафов, над грудями золота, под шелест валютных бумаг идет торг за головы большевиков, рабочих, крестьян, за фабрики и земли; там бокалом шампанского благословляют и напутствуют бесчисленных наемных посланцев, шпионов, убийц, фальшивочервонщиков,



провокаторов, спекулянтов. Здесь—в скудно мебелированных комнатах за письменными столами сидят люди в серых гимнастерках с ромбиками на воротниках, до позднего вечера молча переворачивают листы дел, тихо размышляют, с сожалением поглядывая на пустой коробок из-под папирос, потом надевают длинные военные шинели, по дороге домой, шагая по скрипучему ночному снегу, додумывают сложные головоломки своей работы—и побеждают.

1927



**МАРТОВСКИЙ ВЕЧЕР** 1923 года. Наркомпуть. В опустевшей приемной Дзержинского остался после всех посетителей один человек.

— Товарищ народный комиссар! Я сегодня покончу самоубийством, если только не найду последнего спасения у вас.

— Кто вы такой?

— Трегер, Даниил Самойлович. Рабочий, механик.

— Пройдите ко мне в кабинет.

.....

Дело Трегера, о котором только слегка и в совершенно недостаточной мере писали газеты, представляется мне грандиозным. Конечно, можно найти случаи, не менее запутанные, еще более сложные и трудные, с несравненно худшим концом. По делу Трегера нет не то что расстрелов, но ни одного ареста или даже какого-нибудь служебного взыскания. Но по силе и трудности борьбы, по революционному драматизму оно стоит едва ли не в первом ряду исторических „операций“ Дзержинского. Железный Феликс, как мы это проследили по его личному архиву и из бесед с его ближайшими сотрудниками, уделял сравнительно крохотному трегеровскому вопросу внимание не меньшее, чем серьезному контр-революционному заговору. И в самом деле, эта история, как, может быть, никакая, ярко, с совершенно неумолимой наглядностью показывает, что по существу значит борьба за социалистическое



строительство в окружении враждебных классов, каков ее размах вширь, до каких тонкостей она разветвляется вглубь.

Трегер—рабочий из немецких колонистов. На тринадцатом году был отдан в ученье в частную слесарно-механическую мастерскую. Платить за ученье было нечем, он выполнял вместо платы работу дворника. Кончил блестяще, несмотря на невыносимую обстановку, получил свидетельство на звание подмастерья. Служа слесарем на Сибирской дороге, нанял себе на последние гроши учителя-студента, стал одолевать немецкие книги по электротехнике. Изучил все существующие телеграфные приборы. Упорно работая, постепенно продвигался вперед и достиг должности механика по скородействующим телеграфным аппаратам. Уже тогда предложил железной дороге несколько своих изобретений.

С начала войны совершенно обрусевший Трегер был зачислен в немцы, в наймиты Вильгельма, чуть ли не в шпионы, отдан под особый надзор полиции. После Февральской революции был объявлен за разговоры против войны большевиком, хотя политикой никогда не занимался.

Восемнадцатый год. Колчак в Сибири. Трегер сидит в челябинской каторжной тюрьме, как большевик. Приговоренный к расстрелу, он проводит последние дни своей жизни над... устройством изобретенного им электрожелезнодорожного аппарата.

Смертная казнь „милостиво“ заменена Трегеру заключением в колчаковской тюрьме „до конца гражданской войны“. Потом—советская власть возвращается в Сибирь, Трегер на свободе, опять работает. И тут новый период невыразимых трудностей и унижений, воистину тернистый путь. Спасти от пуль белогвардейцев, чтобы самому пустить себе пулю в лоб из-за бюрократизма



советских чиновников,—что может быть безысходнее! К счастью, дело кончилось иначе.

Трегер—конструктор и изобретатель в области железнодорожной электротехники и связи. Не фантазер, не прожектер, а реальный, практический, творческий создатель, обогативший транспорт целым ворохом ценнейших усовершенствований. Трансляционный аппарат Морзе постоянного тока, новый электрожезловый аппарат, водокачальная сигнализация, электросемафор, групповой зарядный и разрядный аккумуляторный переключатель—это только главные из трегеровских изобретений, теперь широко известных в транспортно-техническом мире и безоговорочно применяемых. Но каждая из конструкций рабочего-изобретателя, пока она добиралась до своего места, была буквально облита кровью.

В 1921 году Трегер перебрался в Москву проталкивать свои работы в жизнь. Главной его целью было добиться применения электрожезлового аппарата. И именно вокруг этого прибора разыгралась исключительная по упорству, по жестокости битва.

Электрическая жезловая система применяется для регулирования движения поездов на однокорейных участках. Для нее еще с девятых годов прошлого столетия применялись специальные аппараты системы „Вебб и Томпсон“, производства английской фирмы того же названия. Тридцать лет подряд английский завод совершенно монополено поставлял аппараты для русских железных дорог и, как говорят, весь держался только одним этим заказом. Сколько ни существовало у нас старых и опытных инженеров, сколько ни выпускалось новых—все инженеры, и старые и новые, считали своим достижением, если только постигали премудрость вебб-томпсоновского аппарата и могли в полной мере оценить его достоинства.



Но, кроме достоинств, у английской электрожелезнодорожной машины были не меньшие недостатки. Аппарат допускал своей конструкцией возможность ошибок, неточностей, халатности и небрежности машинистов, прямых злоупотреблений, а следовательно — и железнодорожных катастроф.

Рабочий Трегер посягнул на авторитетную неприкосновенность вебб-томпсоновского аппарата. Он немилосердно расковырял его, изучил, продумал и начал совершенствовать, внес в схему действия английской машины ряд изменений и улучшений.

Но сам убедившись, что даже с существенными поправками аппарат остается несовершенным, Трегер оставил путь полумер и создал совершенно новый электрожелезнодорожный аппарат собственной своей конструкции, коренным образом отличающийся от вебб-томпсоновского.

Аппарат Трегера обеспечен от целого ряда повреждений, ложных сигналов, совершенно исключает возможность вынуть жезл из аппарата на одной из станций без согласия на то соседней станции, иными словами, совершенно гарантирует от столкновения поездов.

Кроме того, аппарат Трегера, будучи прочнее, долговечнее английского, обходится еще и значительно дешевле. Комплект Вебб-Томпсона стоит 1 260 рублей, а соответственный комплект трегеровской системы — только 860 рублей. На каждом аппарате получалась бы экономия в четыреста рублей... только в четыреста, если бы сюда не был примешан еще и валютный вопрос. На установке каждого советского трегеровского аппарата наше государство получает не только экономию в четыреста рублей, но и сбережение на 1 260 рублей иностранной валюты, которая может пойти на другие надобности.

В отличие от других рабочих изобретений все преимущества и выгоды трегеровской конструкции были



признаны сразу, без споров, препирательств и насмешек. Ни один эксперт не мог ничего возразить на модели и чертежи Трегера, ни один инженер не позволил себе их опорочить.

Но... необъяснимые вещи стали твориться вокруг рабочего-изобретателя. Человек суеверный приписал бы все колдовству, иначе нельзя было бы истолковать совершенно сверхъестественные явления во вполне естественной обстановке.

Пролетарий-самоучка приносит пролетарскому государству свое ценное творчество. Плоды его дают возможность немедленно избавиться от иностранной монополии в целой области технического снабжения, сберечь валюту, соблюсти экономию. Ученые авторитеты одобряют изобретение. В чем же дело?

Непонятно. словно чья-то таинственная, многоопытная и чрезвычайно настойчивая рука руководила всеми окружавшими Трегера людьми, даже предметами, то подхлестывая его работу вперед, то создавая препятствия буквально на каждом шагу. Самый воздух как будто уплотнился, то мешая шагать вперед, то толкая сзади.

После невероятных мытарств и унижений Трегеру удалось выплывать себе право на изготовление за государственный счет деревянной модели своего аппарата. Модель изготовлена, на ней Трегер показывает примерное действие своей конструкции. Инженеры слушают весьма любезно, чрезвычайно внимательно, принимают все к сведению, усердно записывают что-то у себя.

Деревянная модель производит свое действие. Доходит дело и до того, что соответственные органы соглашаются выписать заграничные станки для дальнейших работ Трегера. Станки прибывают. На них Трегер полностью заканчивает свое изобретение, опять предъявляет его инженерам, опять пользуется необычайным вниманием.



Инженеры всматриваются, одобряют, приводят с собой каких-то совсем незнакомых, иностранного типа людей, те тоже всматриваются, тоже одобряют и тоже что-то, себе записывают.

После того как Трегер окончательно реализовал свой проект, предъявил его специалистам, получил их окончательное одобрение и должен был по сути вещей приступить к руководству массовым производством советских жезловых аппаратов,—после этого вокруг него... начинается настоящая свистопляска, ведьмовский шабаш на фоне будничной советской Москвы.

Трегера внезапно сокращают по службе. В разгар работы его лишают без всякого повода штатной должности при мастерских и жалкого пайка, которым он кормился. На протест и требование объяснений не отвечают официально ничего. А неофициально, но совершенно открыто говорят:

— Если будешь дальше возиться с изобретениями—служить у нас не будешь. Если станешь делать обычную работу, что прикажут—оставим на службе.

Станки, которые были вначале предоставлены Трегеру для работы, начинают, словно живые, удирать от него. Таинственные настойчивые руки устраивают так, что станки внезапно передаются из управления дороги в какой-то трест, потом из треста на завод, с завода на другой завод, и так без конца. Чужие люди приходят с ордерами, увозят станки, перебрасывают с места на место. Трегер через весь город гоняется за станками вперед и назад, умоляет не срывать работу, добывает всяческие записочки. Записочки не помогают, ибо против них действуют какие-то другие записочки, неведомые изобретателю, но более сильные.

Старый, ободранный, забытый вагон на запасных путях, в котором Трегер работал со своими аппаратами,



тоже вдруг, подергиваемый непонятными нитями, начинает шевелиться; вагон начинают перегонять с места на место, отцеплять, прицеплять, доводя голодного, уволенного со службы, вконец издерганного, больного конструктора до умопомешательства.

И вот, когда Трегер, совершенно оглушенный, забитый, замученный голодом, неудачами, неприятностями, бесчеловечным бюрократизмом всех окружающих, доведен до последней ступени отчаяния, когда он поставлен перед выбором—обеспечить себе черствый кусок хлеба в должности безропотного техника, или одиноко умереть на своих аппаратах,—тогда режиссер появляется из-за кулис.

Поздно вечером, осторожно переступая лужи, рельсы, стрелки, к заброшенной теплушке в тупике, где при лампочке устало возится Трегер, подходят два отлично одетых незнакомца.

Они просят Трегера показать усовершенствованный жезловый аппарат. Приняв гостей за инженеров из отдела снабжения, изобретатель охотно, с робкой надеждой на помощь, демонстрирует свою конструкцию.

Незнакомцы одобряют. Они очень довольны, они представляются Трегеру—инженеры с английского завода. И сейчас же приступают к делу. Не захочет ли господин Трегер перейти на завод в Англию для работы над усовершенствованием аппаратов?

— Зачем же мне ехать в Англию? Я лучше в России поработаю.

— Ну, господин Трегер! Ведь вы хорошо знаете, и мы это знаем не хуже вас: в России у вас ничего не выйдет. Ничего же не выйдет, поймите. А с нами—у вас выйдет все! И аппараты создадите, и сами будете обеспечены прекрасным жалованьем.

Трегер стал возражать: неужели же в Англии нет своих инженеров настолько, что за ними приходится ездить



в Россию? К тому же он, Трегер, и не инженер, а обыкновенный слесарь, каких в Англии очень много. Вероятно, граждане-англичане ошиблись, приняв Трегера за инженера...

На это иностранные гости широко улыбнулись и многозначительно сказали Трегеру, что знают, кто он такой. От него требуются только его мысли, а затем—лучшие инженеры и техники выполняют трегеровские мысли самым великолепным образом.

Трегер, сначала принявший все за шутку, увидев, что разговор идет всерьез, съежился, заворчал, что никуда не собирается ехать, и не очень вежливо простился с посетителями.

На другой день англичане повстречали Трегера, когда он уходил через рельсы из своей „лаборатории“ домой. Он уже забыл о вчерашних посетителях и не узнал их. Они же окликнули изобретателя по имени и дружелюбно возобновили разговор.

Если господин Трегер не хочет уезжать отсюда в добрую старую Англию, где он, как человек культурный, отдохнул бы телом и душой,—англичане не настаивают. Это его, господина Трегера, дело—жить, где ему нравится. Но тогда ему предлагается другая, еще более простая комбинация. Английская фирма желает купить у автора его конструкцию жезловых аппаратов и предлагает за нее хорошую цену—сто тысяч рублей золотом. Господин Трегер может получить деньги золотыми десятирублевками или английскими фунтами стерлингов, как ему угодно. Для получения денег Трегер может не двигаться с места. Он должен только отдать охранное свидетельство с собственноручной надписью о том, что все права на его изобретение передаются английскому покупателю.

Трегер заколебался, и очень сильно. Сидеть здесь, в дырявом вагоне на железнодорожном тупике, метаться



в жизненном тупике голодным, затравленным зверем? Или одним росчерком пера добыть себе богатство, независимость, сытость, обеспечить всю свою жизнь хотя бы для работы над новыми изобретениями, не совершая при этом никакого преступления, предоставляя свой труд тем, кто его добивается, лишив его тех, кто сурово, безучастно и враждебно отклоняет бескорыстные домогательства изобретателя?

Трегер заколебался. А потом—без всяких тонких переживаний, без рассуждений, без агитационных речей—коротко и хмуро сказал, что на предложение не согласен, что в деньгах не нуждается, что хочет производить свой аппарат только для советских дорог, что добьется этого и просит больше его не беспокоить.

Не знаю, сожалел ли Трегер о своем истинно пролетарском поступке в ближайшие полгода после него. Обстоятельства принуждали скорее к сожалению, чем к радости. Дело с аппаратом запуталось совершенно безнадежно и отчаянно. Все встало на дыбы против Трегера. Он выносил прямые издевательства над собой.

На очередном всероссийском съезде по транспортной электротехнике и связи председатель съезда, почтеннейший профессор Рогинский отказался допустить Трегера с докладом о его жезловом аппарате.

— Ведь ваше изобретение и так уже хорошо известно членам съезда. Ваш доклад будет совершенно лишним.

Сообщение о трегеровском аппарате все-таки было сделано—не на пленуме, а в секции съезда, не Трегером, а инженером Климовым, которому первый дал для этого все нужные материалы.

Изобретателю, приглашать которого специально приезжали из буржуазной Англии, не дают слова на советском техническом съезде в Москве—как рабочему, как черной кости!



Зато на том же съезде председатель его, тот же профессор Рогинский, огласил приветственную телеграмму из Англии, от фирмы „Вебб и Томпсон“, со всяческими поздравлениями нашим электротехникам и с выражениями уверенности в дальнейшем плодотворном сотрудничестве на почве применения вебб-томпсоновских аппаратов.

.....

После двух часов беседы Дзержинский вышел с Трегером из кабинета. Изобретатель сутуло волочил подмышкой набухший беременный портфель с кипами бумаг. Нарком отнял портфель, подозвал одного из работников.

— Возьмите у Трегера этот портфель. Отныне носить его будете вы. Трегер пусть только работает; за остальное—за хлопоты, за хождения по канцеляриям—вы отвечаете.

Простой, но полный революционно-действенного смысла жест передачи портфеля не успокоил Феликса. Он сам неустанно следил за продвижением советского жезла, возвращался к этому еженедельно, запрашивал справки, писал записки, выслушивал доклады, давал указания, проталкивал, боролся. Это было необходимо, потому что даже Дзержинскому, с его авторитетом, с ужасом, который он внушал врагу, чужая стихия противоборствовала, таинственные руки умело и своевременно воздвигали новые препятствия трегеровскому изобретению.

Вот одна из справок, присланных Дзержинскому управлением электротехники и связи на его личный запрос. Несколько гладких, успокоительных, вполне благополучных фраз:

„Жезловые аппараты, начиная с 1918 года, не выписывались и не выписываются из-за границы. Однако переговоры о заказе незначительного количества жезловых аппаратов в Англии велись, при чем имелось в виду



получить аппараты с усовершенствованиями, предложенными Д. С. Трегером“.

„В продаже жезловых аппаратов в массовом количестве не имеется, и производства таковых в России не существует, однако существовали предположения организовать производство жезловых аппаратов по системе „Вебб-Томпсона“ на заводе Электротреста Центрального района“.

Прочтите второй раз эти нарочито сухие, скучноватые строки—кровь бросается в лицо. После того, как Трегер изобрел, предложил и доказал свои усовершенствования, что делают наши несколько путейских чиновников?! Они изобретения Трегера сообщают за границу на фабрику „Вебб-Томпсон“ для того, чтобы она могла продавать нам и в дальнейшем свои аппараты, только с советскими усовершенствованиями. А у нас—те же чиновники открывают производство жезловых аппаратов, но не трегеровских, а вебб-томпсоновских. В результате—привозные английские аппараты новой, советской системы будут конкурировать с аппаратами нашего производства старой, английской, системы—и побьют их! Вот почему так любезно и внимательно выслушивали инженеры Трегера на первых, „безопасных“ этапах его работы!..

Секретарь Дзержинского, товарищ Герсон, взял на себя трудную задачу прорваться с рабочим изобретателем сквозь колющие проволочные заграждения, через удушливые газы английских конкурентов, издалека, но метко припущенные на пути.

Изготовление жезловых аппаратов новой системы было поручено мастерским службы связи Северных дорог на ст. Лосиноостровской. К моменту появления там Трегера некто неведомый и враждебный, но юркий и вездесущий, уже успел поработать. Заказ, хорошо загружавший завод, был встречен почему-то враждебно и администрацией и даже рабочими. Приехавший с докладом о рабочем



изобретательстве Герсон был на заводском собрании выслушан при полном, ледяном молчании. В цехах под чью-то подсказку враждебно мычали: „Ишь, Чека приехала!“

После нескольких месяцев работы была приготовлена к сдаче первая партия трансляций Морзе и электрожелезовых аппаратов нового типа. Трегер бегал именинником, нежно гладил новенькие машины, но, остановившись около одной из них поподробнее, помертвел и опустился книзу. Вместо обязательных платиновых контактов были в самый последний момент кем-то вделаны железные.

Ошибки не могло быть. Временной замены платины железом тоже не могло быть—контакты были заделаны начисто и тщательно заполированы под платиновые с явной целью ввести в заблуждение. Трансляции и аппараты были изготовлены с подвохом, в холодном расчете на то, что, благополучно пройдя приемочные испытания, они на постоянной работе окажутся совершенно непригодными.

Сдачу приборов пришлось отменить, вместо нее назначить расследование. Виновных в несомненном злом умысле установить не удалось. Кто-то кого-то не понял... Кто-то кому-то неточно указал... Кто-то от кого-то чего-то не получил... А в результате получалась несомненная уголовщина.

В другом случае Дзержинский какой угодно ценой извлек бы загадочную пружину. Здесь это было на втором плане. Важнее было, не запугивая работников, добиться от них желаемой цели. Герсон приехал во второй раз. Он рассказал в подробностях всю трегеровскую историю; что называется, выворотил душу рабочим, задел их пролетарское самолюбие, поставил вопрос ребром: или Вебб-Томпсон или мы! Доклад кончился овацией, на заводе произошел перелом.

Теперь—на Лосиноостровской выпущен тысячный железный аппарат системы Трегера. Изобретателю законно



причиталось получить от государства семьдесят пять тысяч рублей. Он отказался от этих денег, поставил лишь условие, чтобы с каждого изготовленного им аппарата отчислялось 25 процентов экономии на авторском гонораре на постройку самолета имени Дзержинского. Сейчас этих отчислений уже собралось на двадцать восемь тысяч рублей. Кроме того, государство сэкономило через Трегера уже 216 тысяч рублей.

Я ездил в Лосинку, на завод, в дощатый барак, смотреть как вручают Трегеру орден Красного Знамени. Все цехи собрались на чествование, это был праздник всех рабочих.

Сначала выступали официальные лица, за ними—представители инженерных организаций. Один видный специалист говорил речь... Видит бог, я не спеед, да и никогда не имел такой репутации, но тут, говоря без всякого пристрастия, я должен определить речь инженера как фальшивую. „Работайте и дальше на нашей ниве...“, „вы будете записаны на скрижалях...“, „пусть вам служит путеводной звездой...“, „шагайте с нами навстречу прогрессу...“ От всего этого веяло внутренней скукой юбилейных обедов, холодным равнодушием к предмету суждения. Рядом кто-то, улыбаясь, перелистывал новую толстую книгу: „Руководство по связи“ профессора Рогинского, вышедшую к самому моменту награждения Трегера. Уже теперь, когда трегеровские аппараты узаконены, как единственно применяемые на наших дорогах, Рогинский посвящает всю главу о жезловых аппаратах описанию... прибора Вебб-Томпсон. Ему посвящено пять страниц текста и чертежей. А в конце напечатаны буквально четыре (4) строчки о том, что есть еще и система жезловых аппаратов, „предложенная Д. С. Трегером“...

После инженера выступал и слесарь лосиноостровских мастерских. Он говорил гораздо короче, без нивы, без скрижалей и путеводной звезды. Сказал только:



— Любим тебя и почитаем, дорогой Данило Самойлович, как ты есть наш неизменный человек. Неизменный потому, что вот тебе англичане давали миллион золотом, а ты отказался, не изменил, вот, и неизменный наш товарищ. Мы читали, что там Шаляпин надумался—продал свое горло англичанам, хотя из простого звания, пролетарий в роде нас. Но мы, товарищ Данило Самойлович, не жалеем, пускай, оставайся Шаляпин у них со своим горлом, а мы товарища Трегера ни за миллион теперь никому не отдадим.

Первый советский жезл, выпущенный в Лосинке, хранится в музее Революции, там, где старые знамена, письма вождей, там, где жуткая перчатка из человеческой кожи, содранная белыми с руки красноармейца. И правильно: жезл есть неотъемлемая деталь смертельной, решающей борьбы двух сил.

Было бы односторонне считать, что бюрократизм идет только от стародавней русской расхлябанности, от дикости и неумения работать. Нет, подчас за „нашим“ бюрократизмом стоит сознательная, организованная, чуткая сила самоновейшей западной буржуазии, дающей нам бой на нашей собственной территории. Фронт великой войны за существование социализма проходит не там, у пограничных столбов, а где-то здесь, под нашими крышами. Линия боя двух сил часто змеится тут же, среди нас. Не очень редко бывает, что двое сидят в комнате, за двумя соседними письменными столами, и один из них— вместе с советской страной, с революционной непоколебимостью Дзержинского, с такими как Трегер, с миллионами других „неизменных“ нам людей, а другой—сам того не сознавая или очень даже сознавая—вместе с чужой, враждебной, потусторонней классовой силой.



# КРАСИВАЯ СМЕРТЬ И ДЕСЯТЬ ЧЕРВОНЦЕВ

**В** ПЯТНАДЦАТОМ ГОДУ довелось ехать в одном вагоне с компанией шумных молодых людей в хаки, с нашивками и серебряными крылышками на погонах.

Молодые люди с достоинством и с шиком носили зеркальные краги из отличной желтой кожи, яркие перстни на пальцах и геометрически безупречные проборы на намасленных головах. На станции они, тесно прижав к локтю, водили в буфет разомлевших пассажирок, в пути блестяще атаковали женское население вагона неотразимыми взглядами, молодцеватым вспрыгиванием на верхние полки и роковыми разговорами с безупречным гвардейским произношением.

— Пока станешь летчиком, пг'иходится чег'товски пег'емучиться. Масса тг'удностей! И пг'итом—каждый день г'искуешь своей жизнью. Зато г'аботы почти никакой. И получаешь нагг'аду: имеешь возможность умер'еть кг'асивой смег'тью. А это не всякому дано!

Пассажирки смотрели влюбленными глазами покоренных животных и взывали с трогательной женской мольбой:

— Ну, неужели вам так-таки не страшно? Ну, неужели вы так-таки во всем в жизни отчаялись? Ну, неужели вам так-таки никого не жалко?

Будущий летчик живописно перекладывал крепкие ноги в желтой коже и роковым полуголосом цедил редкие слова:

— Товаг'ищей не жалко. На женщин наплевать. Вот только, г'азве, стаг'ушка мать не пег'еживет. Это безусловно.



Молодые люди ехали учиться в какую-то военно-авиационную школу. Не знаю, учились ли, доучились ли, как воевали, уцелели или угробились. Если уцелели—прозябают ли они в эмигрантских трущобах, или, засучив рукава, работают в советской авиации.

Уверен только в одном: от роковых взглядов и меланхолического мирозерцания у молодых людей не осталось ничего.

Время сохранило почти все опасности авиации, если не для пассажиров, то для летчиков. Оно сохранило почти весь риск, какой всегда останется у человечества, дерзновенно взлетевшего на механических крыльях взамен крыльев, недоданных природой. Но время убило офицерско-цирковую, авантюрно-мистическую поэзию летного дела, заменив ее другой, густой и мощной лирикой сурового воздушного ремесла.

Молодой человек из авиационной школы теперь уже не скажет: „Работы почти никакой, зато возможность красивой смерти“. Смерть современный летчик считает безобразным, неудобным, недопустимым профессиональным промахом в своем деле. А работа—разве есть в авиации что-нибудь другое, чем стихийный, напряженный, смелый и упорный, настойчивый и методический труд?

Старики авиации морщатся, глядя на новое поколение: — Разве же это интересно? Воздушные шофера, и больше ничего! Трамваи на крыльях! Вагоновожатые в небесах! Скука одна. То ли дело мы—в свое время с Габер-Влынским мертвые петли загибали! Галстуком в небе выкручивались! Кувыркком носились! Вот это была авиация...

Жизнь прошла мимо стариков. Она не слушает их. А эпоха выдвинула новый тип воздушного героя. Железная выносливость. Неиссякаемые нервы,—мертвые петли сдает на экзамене каждый выпускной летчик.



Работоспособность динамо-машины. Знания хорошего инженера. Широкий технический и научный кругозор. И никаких актерских кривляний. И никакого надзвездного высокомерия к окружающим. Чтобы крепче устроиться в небе, авиация ближе притянула себя к земле!

Мне самому не всегда понятны люди воздуха новой эпохи... Непонятен Шибанов—маленький, хрупкий блондин, по виду щуплый комнатный обитатель. Он пролетал на одних только фоккерах общества „Дерулюфт“ свыше двухсот тысяч километров. Вылететь на заре, тащить до вечера по ухабистой воздушной дороге огромный, тяжелый самолет с багажом, с почтой, с медведями для зоологического сада, с перетрусившими, нервничающими, тошнотными пассажирами; наутро, плохо выспавшись,—опять за то же самое, в любую погоду, изо дня в день; и так несколько лет подряд—вот путь нынешнего героя авиации!

Двое американцев совершали какое-то особое, головокружительное по скорости кругосветное путешествие. По маршруту им выходило покрыть расстояние от Москвы до Омска по воздуху. Советский летчик Копылов на аэроплане Авиаксима блестяще довез американцев, побив мировой рекорд на продолжительность полета и выносливость авиатора.

Копылова забросали поздравлениями со всех концов страны. Он получил телеграммы из-за границы, от самого даже „авиационного папы“—профессора Юнкерса. Летчик получил и официальные отличия. Но при всем этом была и такая подробность...

Выйдя в Омске из кабины после замечательного перелета, американцы, с зелеными лицами и взболтанным душевным равновесием, ощупали себя, обнаружили свои организмы в полной целости и, очутившись после спуска на землю на седьмом небе, любезно протянули Копылову пять десятидолларовых бумажек.



Усталый летчик широко улыбнулся на эту бестактность и жестом руки отвел чаевые.

Американцы решили, что Копылов не умеет считать на доллары. Начали показывать пальцами, тыкать в цифры. Наконец, вытащили советские десять червонцев.

Копылов не взял и советских. Американцы удивились. Сто рублей, а не берет! Такой хороший летчик, и нельзя его даже поблагодарить!.. Поехали дальше.

Начинающий молодой человек в нашивках лепетал насчет „никакой г'аботы и кг'асивой смег'ти“. А заслуженному летчику Копылову за рекордный перелет пассажиры предлагают чаевые. Вот полюса авиационных возможностей!

Наша советская авиация растет и движется далеко от обоих этих полюсов. Ее путь проще и значительнее. Летчик, который из насоса опрыскивает крестьянские хлеба, разгоняя сусликов, не говорит загадочных слов о „кг'асивой смег'ти“ и не ждет чаевых от богачей. Он строит новую страну, участвуя в ее возрождении своим серьезным, опасным и методическим трудом в первых рядах созидателей.



# СТРАНА ДОЛЖНА ИХ ЗНАТЬ

**СЕГОДНЯ** праздничные первомайские толпы будут проходить с рабочих окраин на главные улицы и площади городов. С песнями и с музыкой они окружают революционные памятники, дорогие могилы тех, кто вел, кто был впереди.

Сегодня, возвращаясь домой, я сделаю крюк и постою под окнами нескольких запыленных, старомодного вида особнячков. Я подымусь на цыпочки и буду, притаившись, смотреть и слушать, пока хмурые старики с недовольной миной не выглянут на меня, чуждого им зеваку, из тех что зря шатаются и горланят песни, мешая работать, создавая шум и беспокойство.

Чудно все устроено на нашей планете. Шиворот-навыворот. С большим понятием надо быть, чтобы во всей чертовщине жизненной разобраться. Ведь пыльные старики, которым мы мешаем заниматься в окраинных особнячках,—ведь это наше будущее! А мы, молодые, разбитные, энергичные, боевые, революционные бодрячки, мы для них уже прошлое.

Сопоставление, может быть, рискованное. Мы сами могли бы на него возразить многое. Но сегодня—не надо.

Осенняя Октябрьская годовщина есть день великих воспоминаний, боевых клятв и торжества победы. Сегодня же—день-предсказание. Весенний праздник трудящихся, это окно в будущее, уверенная мечта о том, что ждет.

В старинных особнячках заперлась наука. Разве же не здесь, мимо них должны проходить первомайские



демонстрации? Разве не под этими окнами должно сегодня бурлить человеческое море? Чтобы окна раскрылись, и старички показали и, напрягая слабые голоса, произнесли бы речи—не о „текущем“, а о „грядущем моменте“!

По чести говоря, грех нам теперь жаловаться на наших ученых старичков. Давно мы с ними помирились, давно помогают они тащить советский воз, и если даже профессор Павлов раз в год в свободное время доказывает, что правильный первичный слюнный рефлекс собаки на жареную печенку несовместим с социалистическим строем,—мы не обижаемся. Марксизм с благодарностью принимает в свой арсенал научные основы павловской рефлексологии. Применение же он найдет и без ее автора. Так некогда старый оружейник вручал молодому рыцарю откованный меч, ворчливо сетовал на людей: зачем люди воюют, зачем дерутся между собой!

Зато старички могут упрекнуть нас. Не в отсутствии уважения—уважение есть. Но в недостатке внимания—внимания мало.

У нас широкая масса не знает крупнейших наших ученых. А за границей знают наизусть имена даже второстепенных советских деятелей науки!

Металлисты Ленинграда, вы будете сегодня двигаться тысячными колоннами по широким проспектам. Вы не оглянетесь на скромный тихий дом физико-технического института. А ведь там сейчас происходит нечто, что может совсем упростить вашу работу и двинуть ее на версту вперед! Металл просвечивают рентгеновыми лучами и узнают все его малейшие пороки. Железо выслушивают и изучают как больного. Находят у него, у этого безмолвного черного железа, которое со стоном изгибается под ударами в кузнице—находят у него чахотку, склероз, язвы, неврастению. Открывают способы, как лечить эти железные болезни—и помочь созданию новой советской



металлопромышленности, без негодных вещей, без больных металлов!

Кожевники! Знаете вы, что даст новое электрическое дубление? Его организуют пока в тихом уголке профессор Поварнин и его помощники. Оно освободит нашу кожевенную промышленность, всю кожу нашей страны от диктатуры иностранного экстракта, державшего нас всегда в цепких лапах. И в известной мере благодаря нашим ученым кожевники первые увидят на практике, что „можно строить социализм в одной стране“.

Советская научная мысль пошла в наступление. И в старинных особнячках, в строгих корпусах научных институтов, где идет бой,—трофеи берутся чуть ли не ежедневно.

В каких только областях не ищут и не обретают наши ученые! Они изучают влажность русских льнов, южные границы действия искусственного удобрения, варку оптического стекла, радиоактивность сибирских курортов, новые способы получения фосфорной кислоты, электрификацию сахарных заводов, электрическую выплавку стали, ее магнитные свойства, почву Абхазской республики, атмосферное электричество в Якутии, действие токов на человеческое тело, применение нефтяного газа для сварки чугуна, получение олифы из нефти, переменные звезды, экономию топлива при производстве цемента, количество гласных в стихах Пушкина, плотность планеты Сириус, химическое использование растительных отбросов, значение дождевых червей для плодородия земли, тракторную тягу на дорожных работах.

Они строят большие электростанции, изготавливают новые виды непромокаемой шерстяной ткани, сооружают вместо железных—деревянные опоры для больших электропередач в нашей бедной металлом стране и новые мочевые пузыри из кусочков кишки вместо разрушенных.



Последние открытия советской медицины привлекли к себе внимание всего заграничного „рынка науки“.

Может ли все-таки состязаться наша наука по своей плодovitости с зарубежной? Конечно, с превеликим трудом. Темп, широта, количественность продвижения мировой науки за последние годы стали подобны вихрю. Можно без всякого преувеличения сказать, что наука сейчас окончательно повергает во прах догмат о невозможности для человека чего бы то ни было.

И главное—быстрота применения научного открытия в обыденной жизни настолько велика, что от лаборатории до улицы—буквально один шаг.

Выращивать растения без почвы и солнца. Можно! И овес растет, питаясь минеральными солями, под электрической лампочкой. И в Германии устроили закрытую плантацию под заводом, удобряя воздух углекислотой от сгорания заводского топлива. И получился прекрасный урожай.

Вместо выбитого глаза мальчику пересадить глаз от лягушки. Можно! И глаз хорошо прижился.

Изменить весь климат и плодородие целой страны. Можно! Из Средиземного моря скоро будет переливаться по каналу вода в нижестоящее Мертвое море, и Палестина должна начать воистину течь „млеком и медом“.

Прибор для отыскивания самолетов в воздухе на слух. Можно! Сооружен этаким механический воздушный сыщик из четырех огромных электрорезиновых ушей, через которые в тонкий микрофон можно отыскать аэроплан за сотни верст.

Складной гидро-самолет. Можно! Он весь уместается в ящик, который можно сдать в багаж или довести на автомобиле до места. А неутомимый старый Форд уже пустил на полный ход на заводе новое отделение по изготовлению „воздушных вшей“, маленьких дешевых



аэро-фордиков, которыми он грозит еще при жизни засидеть все небо.

Наука и техника зашагали так стихийно быстро и мощно, что трудно даже предвидеть границы, до которых дойдет „разгулявшаяся“ человеческая мысль и воля. Вот у слабонервных уже закружилась голова.

Небезызвестный писатель-философ, он же социолог, математик и социалист, Бертран Россель выпустил книгу, отражающую настроение испугавшихся.

Английский интеллигент с нежной сумеречной душой чеховского героя, Россель, только и делает, что пугается. Верует и пугается. Уверовал в социализм, но испугался. Уверовал в советскую власть, приехал в Россию, увидел испорченную канализацию и хлебные карточки и испугался. Успокоился на вере в человеческий разум, но и тут испуг. И книжка: „Икар, или будущее науки“.

Для Росселя наука—древний герой Икар, на восковых крыльях безрассудно устремившийся к солнцу. Крылья растают, наука и с ней человечество упадут и разобьются.

Россель боится неизбежных последствий расцвета техники и биолого-антропологических наук. Техника централизует управление миром. Обитатель современного города всецело зависит от тех, кто контролирует электрические станции, газовые заводы, трамвай, телефон. Воспитание, образование, такие могучие средства пропаганды, как пресса, кино, театр, радио—находятся в руках правящих партий. „Весьма важно,—изумляется Россель,—что свойство индустриальной цивилизации вовсе не зависит от политических форм“. „В демократической Америке,—открывает Америку Россель,—главари трестов пользуются властью, которой позавидовал бы любой монарх“.

Скажите, какое открытие! Но еще больше пугают Росселя успехи евгеники (наука о контроле над рождаемостью). „Евгенисты прежде всего стремятся к лишению



всех умственно и физически отсталых людей возможности иметь потомство. Возможно, что к теперешним категориям эпилептиков, дегенератов и прочих присоединят и всех срезавшихся на государственных экзаменах!..“

Английский социалистический Манилов—он, собственно, не против могущества науки и техники. Он, бедное дитя, тревожится только, что это могущество будет использовано для злых страстей человечества, для угнетения. Что, если капиталистическое правительство будет вспрскивать детям пролетариев „бациллу покорности и смирения“, будто бы уже кем-то открытую? Тогда бессильными окажутся самые зажигательные речи социалистов. В противовес славный Россель трогательно мечтает о том, нельзя ли образовать международное тайное общество ученых, которые прокрадутся к нынешним королям и правителям Европы и вспрыснут им „бациллу доброты“. Тогда он был бы спокоен!

Пока философ-дурачок мечтает вспрскивать Муссолини и Кулиджу настойку доброты, лучшие ученые мира по заказам тех же диктаторов изобретают смертоносные газы, неслыханные доныне механо-химические приборы для истребления людей сразу по сотне тысяч. „Ученый, уничтожай!“—вот лозунг, данный империализмом науке.

Но и не уничтожая, создавая—техника и наука служат за рубежом, прежде всего, капиталу. Очередное достижение авиационной техники, вдумчиво обсуждаемое специальной печатью и крикливо расхваливаемое желтыми газетами, это—новый гагантский воздушный корабль миллиардера Вандербильда. Роскошная яхта для небесных прогулок американского богача, с салонами, галлереями для прогулок, ванной комнатой и прочими авио-роскошествами.

Виднейший испанский летчик инженер Мигуэц, осуществивший грандиозный перелет Испания—Южная



Америка, теперь получил от правительства новое задание.

Его величество испанский король Альфонс соблаговолил пожелать проследовать по воздуху в Аргентину, со всем своим семейством и свитой.

Для этой цели Мигуэц строит целую воздушную эскадру, во главе с огромным королевским воздушным крейсером, который должен утереть нос Вандербильду и его яхте.

На сопровождающих самолетах будут размещены свита, матросы, охранники, оркестр музыки и прочие самонужнейшие вещи.

Когда королевское воздушное судно будет при „приветственных криках народа“ опускаться на землю в Буэнос-Айресе,—два самолета начнут сбрасывать огромными пачками специально привезенные из Севильи свежие розы. Они в течение нескольких минут набросают целый огромный цветочный ковер, на который ступят, подобно героям из сказки, король Альфонс и его высочайшая половина. Нужно ли прибавлять, что за сказочным королем летит и фея-невидимка—испанский капитал, которому дозарезу нужны южно-американские рынки и дружба с народами „Латинской Америки“?!

В это же время советские авио-конструкторы строят сани с пропеллером, на которых можно доставлять почту в глухие медвежьи углы бесконечной русской крестьянской равнины. Летают над полями, опрыскивая кислотой саранчу и долгоносиков... Во всем мире наука все еще, как в средние века, стоит, склонив колени, перед тронами, создавая игрушки для прихотей властителей. И лишь у нас ученые стоят лицом к лицу с самим народом.

Это различие есть. Но оно так мало известно, так мало популярно у нас! Юбилейные академические торжества были только первой встречей ученых с массами. Мы должны продолжать знакомство, укрепить его, превратить



в тесную дружбу. Наша страна должна знать своих ученых! Она не знает их.

У нас в СССР есть девять тысяч научных работников. Из них 477 составляют группу „выдающихся ученых“. Ну-ка, товарищи, поупражняйтесь: кто из вас назовет хотя бы семьдесят семь? Боюсь, что немало народу с большим трудом назовут и семь.

Наш передовой партиец наизусть отбарабанит фамилии всех членов ЦК и, в виде приложения, штук двадцать секретарей губкомов. А спросите его: в чем выражаются открытия академика Иоффе? Ручаюсь, что вам укажут в ответ рижский мир (подписанный однофамильцем уважаемого ученого). Но никак не опыты с электрической поляризацией кристаллов и их значение. А в Америке об открытиях Иоффе знают многие миллионы!

Наша страна должна узнать и узнает своих ученых. Полюбит их. И в первомайские дни, когда к нам изда-лека придвигается будущее—вместе с ними, не через закрытые окна, будет праздновать достижения человеческого ума и энергии.

1928



## НА ПОЛЕ БИТВЫ

**В** ЗАЛАХ—папиросный туман, сплошные дымовые завесы. Вешалки клонятся к земле от перенагрузки, сотни людей слоняются из комнаты в комнату, воодушевленные своим собственным присутствием при крупных исторических событиях. В буфете дерут как на бегах. В киоске бойко торгуют фотографиями любимых наездников, то-бишь чемпионов. Небольшая часть публики следит по доскам-плакатам за ходом главных партий. Остальные... Я не знаю, что, собственно, делают остальные. Но им приятно здесь сейчас находиться, так же, как и мне.

В главном зале пылают огромные гроздья ламп. Здесь торжественная обстановка, нечто среднее между аукционом, панихидой, тиражем выигрышного займа или конкурсными экзаменами в политехникуме.

Посредине, спинами к дверям, в духоте и волнении стоит толпа, заслоняя собой нечто недоступное для взоров. Чтобы видеть демонстрируемых чемпионов, надо применить физическую силу, отдавить мозоли нескольким членам профсоюзов и членам их семей... За красным барьером сидят люди и думают. Немножко, как в зоологическом саду. Но, бесспорно, это международный шахматный турнир.

Для человеческого любопытства (читай—любопытности) законы не писаны. Собирает полный зал и кучу денег работник искусства, прокалывающий себе живот шляпной булавкой, боксирующий кулаками в расквашенный нос своего ближнего. Почему же не посмотреть



„публичную работу мозга“? В парижском музее посетители часами простаивают у скульптуры „Мыслитель“ Родэна. Наблюдать напряженную мыслительную деятельность крупнейших интеллектов—не менее интересно и более поучительно.

Напряжение, действительно, большое. Как ни стараются чемпионы показать олимпийское спокойствие,—волнение и трепет борьбы прорываются наружу. У Капабланки слава, что он играет как машина. Но и машины не работают ровно, особенно в России. Поставленный Левенфишем в заковыристое положение гениальный кубинец в течение сорока минут распирает себе подбородок, чешет за ухом и над бровью, морщится и егозит, как самый обыкновенный красноармеец за шашками с соседом по койке. Похожий на вождя индейского племени Маршалл равномерно жует толстыми губами. Венгерец Рети после хода зловеще хихикает и потирает ручки. Пасторообразный Ейтс равномерно стучит челюстью, как станок. Маленький Торре бегаёт за барьером, словно одержимый. Тяжелый Рубинштейн передвигает пешку, словно весь земной шар, согбенный под тяжестью страданий и скорби. Из всех игроков один Ласкер глядит не только на доску. Тихий и мудрый, как сова, он ловит взгляд противника и пытливо вглядывается в его глаза из далекой глубины своих маленьких холодных неверящих глаз.

Советские мастера держатся стайкой, скромно, но решительно. Все они похожи на рабфаковцев или совработников средней руки, губернского масштаба. Иностранцам они показали сильную, напористую, смелую манеру игры и несколько грубоватые, не очень модные приемы. Боголюбов один выделяется европейским стилем, обликом свежей майской розы и игрой „высокого полета“. Заграничные гости побаиваются сюрпризов при партиях с советскими: шахматные буденовцы Ильин-Женевский и



Верлинский два раза „покрыли матом“ самого чемпиона мира. Ход состязаний не помешал, однако, белогвардейским „Последним Новостям“ кисло заявить, что „московский турнир проходит очень серо, да и интересных участников нет“.

Почти все любимцы публики—и советские, и зарубежные—почему-то (не без примеси кокетства) отрешиваются от шахмат как своего основного занятия. Начиная со старого Ласкера и кончая двадцатилетним Торре, они наперебой уверяют, что шахматы их мало интересуют. Для Капабланки „шахматы—не основная профессия. В промежутках между турнирами я не уделяю им ровно никакого внимания. Из теоретической литературы у меня дома лежит одна книга, да и та не разрезана“ (1).

У Тартаковера „основная профессия—юриспруденция“. Дуза-Хотимирского „шахматы мало интересуют“. Торре считает своей специальностью бухгалтерию. Рети—литературу. Земиш—переплетное дело. Левенфиш—инженерию. У Ильина-Женевского „на первом месте—парти-бота, на втором—журналистика и на третьем—шахматы“...

Только Рубинштейн, Боголюбов и Маршалл заявляют себя профессиональными шахматистами, и первый из них горячо признается: „шахматы—моя жизнь“.

До турнирной публики не доходит это стилизованное равнодушие чемпионов. Она упоена боями, как чем-то самым важным в мире. В зале, тут же, у досок, упал в обморок какой-то не в меру впечатлительный шахматист. Прочие следят за партиями с пересохшими горами. Несмотря на запрещение шуметь, зрители громким шопотом делятся переживаниями и патристическими чувствами:

— Посмотрите, как Торре поблел! Это тебе, брат, не Мексика.



— Ерунда. Он всегда бледный. Я на вокзал бегал его встречать—такой же был.

— Как здорово Ильин-Женевский „Капе“ влепил! Знай наших, советских.

— Наверно, путевку из Цека получил по партийной линии: выиграть у иностранной державы Кубы, и никаких! Вот и выиграл.

— Вы знаете, я вчера матч с Залокутиным играл, чемпионом мясохладобойни! Зевнул, понимаете, качество, и у меня в ладейном эндшпиле цейтнот получился. Ужасный случай!

За счастливыми, попавшими на турнир, волнуется вся Москва, за ней—вся страна. Что тянет и привлекает в шахматах широкие советские круги, особенно молодежь? Меньше всего—красота партий, тонкость комбинаций. Больше всего—борьба, героизм, молодечество. И в самом деле: шахматы—борьба, обнаженная до предела. Что может быть страшнее, грознее, безысходнее, чем остаться один-на-один с противником на замкнутом просторе шестидесяти четырех клеток, без помощи извне, без снисхождения, без поблажек и случайностей? Нельзя—это смешно—считать хорошего шахматиста годным в полководцы и дипломаты. Но шахматы—экзамен воле, решимости, отваге, выдержке, крепким нервам. Именно в этой стороне—их наибольшее обаяние для воспитанного в борьбе и действии нынешнего нашего поколения.

...У подъезда обмерзлые, заиндевевшие фигуры нагибаются как коршуны:

— Передайте билет!

— Как дела у Боголюбова?!

Милиционер в изнеможении рассеивает скопление фанатиков:

— Граждане, разойдись, дорогие! Все равно ведь в ничью!

Он еще шахматно целомудрен.



**М**ОСКВА переживает японские дни. Только-только схлынули волнения насчет Нобиле, Чухновского и кромки льда, только перестали спорить о судьбе Амундсена — Кабуки вторглись в дождливое столичное лето.

На Кабуки требуют себе билеты от завкома пролетарские театралы. О Кабуки судачат в университетских курилках, Кабуки, обрусив и освоив это слово, склоняет всякого рода трамвайная публика, проезжая мимо пестрых нарядных фонарей на фасаде второго Художественного театра.

— Кабуки, Кабук, Кабукам, Кабук, Кабуками, о Кабуках...

С билетами на первые спектакли японского театра произошло нечто в роде массового умопомешательства. Обрывали телефоны, заискивали и угрожали, доказывали и спорили, обижались и разругивались насмерть. В ВОКС собралась целая коллекция грозных пакетов с внушительными штампами государственных учреждений, с сургучными печатями, с надписями „секретно“, „лично“, „срочно“. В пакетах заключались взбудораженные просьбы устроить два местечка поближе. Были случаи демонстративных отсылов билета назад в ВОКС: „Русским языком просил два места, а прислали одно!“ Разве же можно смотреть японский театр в одиночестве! Весь эффект пропадает!

Страсти докипели до семи часов тридцати минут; счастливы все уже сидят в зале, а обойденные



успокаиваются совершившимся фактом несправедливости; свет тухнет; трехкрасочный занавес медленно отползает в сторону, чтобы показать распаленным москвичам:

- Острую экзотику Дальнего Востока.
- Яркие исторические образы далеких рыцарских веков.
- Сложные загадки азиатской души.

— И вот... Нет, мы не собираемся повторять тысяча первую рецензию о Кабуки. Если читателю мало всего того, что появилось за те дни в наших газетах и журналах, он может сам себе, нисколько не будучи японоведом, приготовить недорогую, но вполне приличную домотканную статейку о гастролях японского театра. Рецепт простой: взять обыкновенное либретто с программками (20 коп.), нашпиговать его придаточными предложениями, упомянуть насчет японского феодализма, насчет своеобразия музыкального сопровождения, прибавить для запаха слова „ханамици“, „гидайю“, „оннагата“ и для вкуса — легкий упрек в отсутствии на сцене рабочих и крестьян. Все вместе разболтать и хладнокровно угощать окружающих, особенно не бывавших на спектакле. Вас примут за многолетнего знатока японского театра, вас окружают благоговением с примесью легкой тревоги.

И вот... Разве другие мысли, другие сплетения, другие сопоставления и противоречия не летают здесь в полутемном притаившемся зале?

По ту сторону занавеса — японская экзотика.

А по эту сторону? Что, если кто-нибудь из приезжих актеров, наделенный даром зрячей наблюдательности, засмотрится в дырочку занавеса сюда, на советскую экзотику?

Он будет так поражен, что забудет уйти в начале спектакля, он спутает великолепно слаженную работу своих товарищей.



Внизу, в передних ложах сверкают крахмальные груди иностранных послов. На парадную театральную премьеру великосветским людям полагается приходить во фраках. Уступая демократизму страны, московские иностранцы взяли градусом ниже: они только в смокингах. Но и это умеренно-буржуазное одеяние выпирает ярким черным пятном на пестром фоне советского зрительного зала.

Наши министры, включая главу правительства, сидят в пиджаках, в куртках, в толстовках. Прочая публика, ужасая глаз корректного европейца, блистает необыкновенным разнообразием и самостоятельностью нарядов. Кожаная куртка сидит рядом с белым теннисным костюмом, оранжевая майка дружески беседует с голубой крестьянской косовороткой, клетчатые велосипедные брюки принадлежат обладателю самой обыкновенной ночной сорочки с закругленно-подшитым воротом, обнажающим могучую загорелую шею и грудь. Носитель велосипедных брюк с ночной сорочкой считает, что он одет для театра прилично, и мы вполне с ним согласны.

А ведь вся эта, наполнившая сегодня зал, пиджачная, косоворотная, небрежно и случайно одетая публика составляет для издавшей виды Европы величайшую, начиненную загадками, сенсацию и приманку!

Вот этот, в потертом пиджачке, человек не так давно, представляя шестую часть света, произнес в одной из европейских столиц программную речь, надолго потрясшую невозмутимость целого ряда буржуазных министерств.

Вот этот, в велосипедных брюках и с голой шеей, время от времени присутствует на премьерах своих кинофильм, осаждаемых возбужденной толпой Парижа и Берлина.

Вот этот, в красноармейском френче, с маленькими металлическими значками, недавно совершил блестящий



перелет по всей Европе, изумив лучших западных специалистов исключительной отвагой и авиационной квалификацией.

Вот этот, небритый и взлохмаченный, вывозит на сотню миллионов советского сырья за границу и приводит в беспокойство товарные биржи Лондона и Нью-Йорка, отвыкшие от конкурентов из России.

Вот этот, в запыленной толстовке, в литераторских очках, сползающих к концу утиного носа, переведен на десять иностранных языков, служит предметом споров, критических исследований, диспутов и безграничных подражаний.

Это хорошо, что мы суровы к себе, что мы въедаемся друг в друга, застреваем друг в друге назойливыми перстами самокритики, что десять раз на дню переоцениваем друг друга и усомняемся в любом из наших достижений. Хорошо, да не слишком.

Можно ли закрывать глаза на то, что та самая советская культура, о существовании которой мы еще дискутируем, уже который год совершает победное шествие по Европам. Писатели, коих критика держит дома в „черном теле“, за границей завоевали себе революционную репутацию, театры служат образцами для всего передового заграничного искусства, и даже самая что ни на есть скромная „Синяя блуза“, которую мы пренебрежительно держим в пивных, недавно совершила настоящее триумфальное шествие чуть ли не через двадцать германских городов.

Все советское в области искусства (как и в политике, так и во всем прочем) стало за рубежом обозначением передового, интересного, волнующего, привлекающего. Какая-нибудь фарфоровая кружка ленинградского завода с пролетарским гербом выставляется в лучшем парижском художественном магазине как приманчивая новинка.



Лучшие европейские журналисты командированы к нам в качестве соглядатаев, информаторов о самой интересной сейчас, самой загадочной, сенсационной стране. Они выстукивают телеграммы, строчат корреспонденции, сооружают большие книги с описаниями каждой мелочи советской жизни. Одни прилетают в Москву на неделю и пишут „общие впечатления“, другие высиживают в Союзе по несколько лет, тщательно изучая социалистическое строительство. А у нас все еще ворчат друг на друга, чувствуют себя провинцией, захолустьем, почтительно разевают рот на чужую экзотику!

.....

Спектакль начался. На сцене действуют самураи—японские рыцари, феодальные князья. Какие шелка и одежды! Как пышно шелестят эти широкие штаны с длинными шлейфами! Мы испытываем простодушный восторг перед таким обилием текстильных товаров на сцене.

Все в этом театре освящено веками, овеяно трехзначными цифрами лет. Одна пьеса написана триста лет назад, другая—четыреста, третья написана только двести лет назад, но зато излагает события, случившиеся еще за семьсот лет перед тем. Кабуки пропитаны историей.

Критики и рецензенты сделали все, что в их силах, дабы сюжеты старинных пьес „приблизить к современности“. Непременно понадобилось им доказать „актуальность“ трехсотлетних склок между древними самураями для советского зрителя. В поисках такой актуальности соответственно написаны и либретто:

„Заместитель диктатора Гадайоси Моронао упрекает князя Ен'я в том, что тот слишком поздно является на службу“.

Не лучше ли было бы еще более современно:

„Глава учреждения Ен'я, вызвав завхоза Юраносуки, сдает ему дела и инвентарь, поручив мобилизовать актив



самураев для обсуждения вредительской деятельности управдела Моронао“.

К чему все это?

Притягивать за волосы к современности давно истлевшие споры самураев, пытаться толковать их применительно к нынешним отношениям — не значит ли это совершенно не понять смысла спектаклей Кабуки и прозевать всю их ценность?

Вся красота происходящего на сцене старинного японского театра наполовину заключается именно в мертвой исторической законченности изображаемой эпохи. Феодалы кончились, они умерли, их больше не будет, их уклад безвозвратен вообще и особенно безвозвратен здесь, в Стране Советов. Только так, словно наблюдая красивый могильный памятник, можем мы заинтересоваться сюжетом самурайских пьес или подобных им представлений из жизни русских бояр, витязей, князей и великомучеников.

Со сцены Кабуки японская культура предъявляет нам свои богатые исторические ценности. Каждая страна обладает такими сокровищницами прошлого. Любого туриста, куда ни приедет, щедро угощают древними часовнями, замками, чугунными латами, легендами, уцелевшими башмаками и кружевами старых королей, фигурками, крестами, тысячелетними обломками непрерывно журчащей истории.

В этом смысле у нас истории почти совсем нет. Ее не было у нас и до революции: когда в Лондоне уже заседал парламент, на месте нынешней Москвы кочевали татары. По части памятников у нас ничего не сохранилось от средневековья. Да и за последнее столетие российские древности сравнительно очень бедны.

А революция смяла и смела все, что дожило до нее. Правда, мы достаточно усердно и с достаточными



затратами охраняем уцелевшие остатки прошлого. Но мы не уважаем свою старую историю. Мы не торгуем ею. Содрав казенную позолоту и дурацкие рамки „царствований“, мы показали прошлое страны тем, чем оно было, — грязным, бесформенным комом лет с редкими прослойками смены правящих классов.

Обитатели всех стран любят смотреться в историческое зеркало своего прошлого. Но недаром же бегут они густеющим потоком писателей, журналистов, просто путников и гостей сюда, на кривоколенные московские улицы.

Здесь смотрятся они, одни — с тревогой и ужасом, другие — с радостной надеждой — в историческое зеркало будущего.

Не хуже, чем талантливые Кабуки, пропитаны мы и наши книги и наши театры другой историей, никак не менее интересной, красивой и волнующей. Историей будущих эпох человечества.

Потому так и стремятся к нам наблюдатели со всех сторон. Они рыщут по нашему быту, хватаются за отдельные факты, явления, мелочи, стараются представить себе по ним контуры грядущего социалистического строя. На раскопках древнего города Помпеи наши современники по отдельным предметам восстанавливают картину эпохи рабства. Сюда, любители римской и прочей старины! Вот красная Москва — великолепная Помпея для будущего. Не спрашивайте гадалок, не составляйте предсказаний по звездам. Губпрофсовет, рабочие дома отдыха, красные директора, пионерские отряды, ленинские уголки — вот ваше близкое будущее. Изучайте его по живым образцам.

Прошлое всегда закончено. Будущее едва начато! Оттого — разница в качестве. С восхищением и завистью смотрим мы на сцену Кабуки. Каждый шаг актера, каждая складка его одежды, каждая перемена голоса — все



идеальной, доведенной до конца выработки, все лучшего качества, все исчерпывающе хорошо и просто, лаконично, как просты, лаконичны, изумительно совершенны и красивы все мелкие вещи, шкатулки, ножи, табуреты, участвующие в игре.

Мы — без прошлого, но с будущим. Замысел преобладает у нас над исполнением. Оттого теряем в качестве.

Мы строим прочно, но еще шершаво, нескладно, небрежно. Трехсотлетние качества Кабуки укоряют нас. Будем учиться. Советские актеры, последите за качеством игры Кабуки. Текстильщики, взгляните на эти прекрасные материи. Мебельщики, посмотрите на японскую мебель.

Мы готовы давать уроки другим и охотно принимаем уроки для себя.

.....  
„Сложные загадки азиатской души“...

Предупрежденный лектором во вступительном слове зрительный зал с полным вниманием следит за десятиминутной молчаливой сценой переживаний домоуправителя Юраносуки в изображении знаменитого артиста Садандзи. Один из московских рецензентов даже похвалил московских зрителей за их чуткость и объявил, что мы выдержали экзамен на культурность.

Садандзи играет с минимумом жестов, еле заметными движениями мускулов лица. Его игра тонко сигнализирует о внутренних переживаниях. Зрителю предоставляется догадываться о том, что бушует в загадочной, темной азиатской душе благородного домоуправителя, готовящего месть за своего господина.

Ах, эта загадочная азиатская душа! Помучились мы с ней достаточно.

В прежнее время Азия начиналась для лондонцев от Петербурга. Направо от германской границы, тотчас за первым царским жандармом начиналась мистическая страна



„народа-богоносца“. Об этом народе-богоносце и о его загадочной душе все сведения черпались из книг знаменитого Стивена Грахама. Сей автор, прославившийся несколькими поездками по России, многословно объяснял в своих книгах, что русский народ обладает душой необычайно сложной и непонятной, что сам чорт ногу сломит в этой самой русской душе. Единственно, что Грахам смог в русском народе обнаружить, — это его неслыханную любовь к батюшке-царю и к православной церкви. Мистического русака хоть ножами на куски режь — он от батюшки-царя и от православной церкви не отступится!

Пришли годы великих потрясений, и „русская загадка“ раскрылась довольно просто. Те, которые рабочие и которые крестьяне, стали забирать фабрики, заводы и землю, а те, которые фабриканты и помещики, стали отбиваться. Конец этой истории все знают хорошо.

Теперь бывший народ-богоносец несколько не обнаруживает заботы о царе-батюшке и о православной церкви. „Душа“ требует тракторов, диспансеров, сверлильных станков, футбольных мячей и сортовых семян. Книги Стивена Грахама со всеми мистическими описаниями пришлось выбросить на свалку.

„Загадка азиатской души“ отодвинулась на несколько тысяч верст вправо. Но и тут загадке не очень поздоровилось. Как известно, и в Туркестане, и в Хиве, и в Бухаре мистические тайны восточных душ раскрываются довольно вразумительно. Крестьяне Средней Азии хотят владеть землей, возделывать ее, получать воду для орошения, получать доллары взамен хлопка и плодов. Они хотят улучшить свою темную, забитую, полуживотную жизнь; женщины стремятся вырваться из душных, накаленных солнцем темниц; и новая власть, махнув рукой на загадочные басни, перестраивает животную жизнь в человеческую.



Мы смотрим, как отличный актер прекрасно изображает благородно замкнутые переживания средневекового японского рыцаря. Это высоко культурное удовольствие. Мы благодарны Ицикаве Садандзи за доставленные ощущения. Благодарны и за то, что он напоминает о других японцах: не рыцарях и не старинных, а совсем наоборот — современных и не знатных.

Эти люди, подобно муравьям, усыпающие тесные острова на Желтом море, переживают события гораздо более прозаичные, чем показанные здесь на сцене. Они выражают свои чувства и мысли об окружающей обстановке, вероятно, менее тонко и, уж наверняка, менее сдержанно, чем старинные самураи.

Присутствуя на парадном японском спектакле, мы помним об этих далеких наших трудящихся братьях и как привет шлем им нашу твердую, полную великого смысла надежду:

— Разгадка „восточной души“ скоро докатится до Тихого океана!

1928



# КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР РАБОЧЕЙ МОСКВЫ

**А**РИФМЕТИКА—наука не всегда революционная. Иногда если арифметикой руководиться—можно попасть в тупик. К арифметике—голова нужна.

Вот, например. Председатель сельсовета работает двенадцать часов в сутки и еле управляется.

В волости—тридцать сел. Председателю волисполкома, чтобы выполнить работу, по арифметике выходит, нужно потратить триста шестьдесят часов в сутки.

А в уезде—десять волостей. Значит, подавай преуисполкому 3 600-часовой рабочий день!

А в губернии—десять уездов. Значит, председатель губисполкома, чтобы быть исполнительным работником, должен, не разгибая спины, трудиться тридцать шесть тысяч часов в день, хоть тресни!

Жизнь находит поправки к арифметике. Количество переходит в качество, тридцать шесть тысяч сгущаются обратно в те же двенадцать часов. И весь вопрос в том—вмещает ли трудовой день того или иного крупного работника десятки тысяч иных дней.

Мы спокойны за Уханова, нового председателя Московского совета. Арифметика не победит его. Он победит арифметику!

Никто из тех, кто хорошо знает Константина Васильевича Уханова, не скажет, что его „вывезла кривая“ жизни сюда, наверх, во главу московского пролетариата, перед лицом трудящихся всей нашей страны. Потому что у Уханова линия жизни не кривая, а прямая,



как стрела. Сев в Моссовет, он не погибнет от арифметики.

Детство, юность—настоящая, „образцово-показательная“ жизнь революционного рабочего-металлиста. С пятнадцати лет в большевиках,—Уханов вошел в большую революцию в расцвете лет, опыта, энергии, блеска. Кто, как не Уханов и ему подобные двадцатилетние металлисты-большевики с подпольным стажем составили главную опору Октября? Это их плечи, самые крепкие и самые верные, подперли тяжкую ношу революции в самые трудные ее годы.

Голодные, занесенные снегом восемнадцатый, девятнадцатый годы. Уханов—председатель Рогожско-симоновского совета. Не то что каждый рабочий—каждая курица (если остались такие на Симоновке) знает широкоплечего, длинного Уханыча и его манеру совать свой нос во все углы.

Уханов смог показать себя хозяином и хозяйственником не сейчас, когда этим званием пыжались, как генеральскими погонами. Он был им еще тогда, когда хозяйственность совсем не была в моде.

Симоновские жители хладнокровно размышляли над тем, что если одну половину домов сжечь, то в самый раз хватит протопить в другой половине. А в это время председатель районного совета яростно оберегал всякую лачужку, рассказывая разные „фантазии“ о том, что рабочим придется владеть еще городским добром многие и многие годы. Сколько неверующих в советскую власть людей смутили тогда уверенные заботы Уханова о целости холодных построек!

Раннее утро, улицы едва просыпаются. А районный председатель уже несется полным ходом на своей персональной машине, попросту говоря—на велосипеде. Заезжает на конный двор, сокрушенно щупает костлявые



бока гужевых кляч, врывается в школу, чтобы посмешишь голодных ребятишек, или, зарядивши наган, снаряжается вместе с милицией в облаву на бандитов.

Конец гражданской войны, матросский мятеж... Уханов, вернувшись из Кронштадта, поступает на завод „Динамо“.

Старые динамовцы дивятся на Костю. Спокоен, весел, засучив рукава, тужится у тисок. Скажите, какой скромник! Народ все больше зажигалками пробавляется. А этот—за тисками, хочет пример показать насчет производительности труда! Ну, посмотрим.

Завод встретил Уханова шутками. А через полтора года—на тысячах рук поднял перед всей страной, как лучшего, блестящего красного директора, любимца рабочих, твердого хозяина, образцовейшего помощника партии и советской власти в деле восстановления промышленности.

Что именно отличило Уханова на конкурсе красных директоров „Правды“?

Твердость? Административные способности? Дружба с рабочими? Технические знания? Энергия и темперамент? Внимание к мелочам?

Трудно сказать. Вероятно, все вместе. А может быть, ни одно из этих его качеств. Ведь не такие уж редкие это качества.

Вернее всего, победил самый тип Уханова, как человека и работника. А тип этот—не что иное как коллективный, сборный тип русского передового революционного рабочего, с его разносторонней инициативой, хитрецей, упрямством, кипучей отзывчивостью, универсальной энергией для всех вновь открывающихся перед ним „фронтов“.

Рабочие наперебой рассказывают об Уханыче:

— Только стал вопрос о кооперации. Уханов говорит завкому: ни одного паука не пустим в Симоновку! Не



медля ни минуты, открывает чайную, столовую, хлебопекарню, бакалейную. Не ждет.

— О школах еще никто не подумал. А уж наш директор схватился, взял большую школу и закрепил целиком за заводом.

— А совхоз какой оборудовал! С летним домом для рабочих!

— А с сапогами как управился! Устроил сапожную мастерскую при заводе, посадил шесть мастеров, целый год починял всем рабочим по одной паре бесплатно!

— Приди к Уханову—он вечно с улыбкой. Не заговаривает зубы, как иные. А так поговорит с тобой о всяких трудностях, и сам поймешь, что скулить зря нечего, этим делу не поможешь.

— А как завод в Москва-реку сползал! Его Уханых прямо за шиворот наверх тащил!

— Двадцать шесть лет служу здесь, много пережил администраторов. А такого энергичного, заботливого не встречал. Ничего от глаза его не ускользнет.

Мы мало знаем об Уханове. Но очень легко запомнить его нигде не прославленные заслуги.

Теперь всякий щенок знает, что такое колдоговор, фабзавуч, инвентаризация, заводской учет. А кто знает, что Уханов заключил первый в СССР коллективный договор с рабочими! Создал первую школу фабзавуча! Первый после нэпа провел правильную инвентаризацию и учет на заводе! Он не возвещал о своих деяниях, как об открытии Америки. Но как-то так выходило, что ухановский завод всегда шел впереди.

Летят месяцы, как годы, годы, как века. Вот Уханову жизнь велит двигаться дальше. Уже не одним электрическим заводом, а десятками приходится руководить си-моновскому слесарю. Он—во главе Государственного Электротехнического треста. Но и здесь арифметика не



одерживает победы. Уханов остается чем был: зорким, твердым, умным пролетарием-администратором, делающим „высокую политику“ государственной промышленности и одновременно помнящим о неубранных железных стружках на заднем дворе.

А рабочая масса в Уханове-трестовике попрежнему узнает своего Костю от тискального станка. Помню неудачный митинг на „Динамо“. Скучный докладчик разогнал публику, и слушатели без особых церемоний толпой направляются к выходу, оставив оратора в одиночестве. Но в сенях показался Уханыч, — и вся масса, в поздний час, валом валит назад, чтобы побыть хоть пять минут со „старым“ директором, посмеяться его шуткам, дружески подразнить его самого.

Недавно Уханов был за границей, и представители иностранных фирм, с которыми он вел переговоры, допытывались о его происхождении.

— Вы говорите, что он рабочий, слесарь? Ладно, не втирайте очков! Это вы там, в России, будете басни рассказывать. Господин Уханов — или инженер или профессор, ведь это так ясно.

Может быть, с новым избранием „господина Уханова“ заграничная печать и докажет, как дважды два четыре, что она — личность есть отпрыск благородного рода великих князей. Московские рабочие не станут против этого возражать. Они только примут высокое ухановское происхождение на свой собственный счет.



## ДВА НОВЫХ БОЛЬШЕВИКА

**У**ТРОМ на газетных страницах сурово проступало черное пятно шахтинского приговора. К пяти часам того же дня мы приехали на собрание ячейки.

Ячейка—не заводская и не при учреждении. Добираться до нее надо было через зеленую чащу двухсотлетнего парка, мимо затейливых дворцовых фасадов екатерининского времени. Ячейка расселась тысячной массой на скамьях уходящей вверх химической аудитории Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Когда после долгих размахиваний председателя насилу умолк тысячеголосый молодой гомон, с эстрады объявили первый пункт повестки дня:

— Прием в партию новых членов.

Первым принимаемым оказался товарищ Дорожко, Петр Кузьмич, рождения тысяча девятьсот четвертого года.

О Петре Кузьмиче мы узнали, что он сын бедняка-крестьянина и сам несколько лет работал лесным сторожем в Саратовской губернии. Вместо того, чтобы одичать в немногословном обществе сосен и берез, пробился Дорожко к людям, достал книжки, разобрался в политических вопросах, попал в кружки, потом начал сам ими руководить, стал бороться за новую, социалистическую деревню и естественным ходом вещей очутился в Москве студентом в Тимирязевской академии. Был комсомольцем, потом — кандидатом, а теперь — перешагивает порог в партию.



Собрание потребовало предъявить ему Дорожку в подлинном виде. Дорожке задали несколько малозначащих вопросов и перевели в партию.

— Следующий вопрос—о принятии в партию товарища Вильямса, Василия Робертовича.

Конец слов председателя можно было только с большим трудом различить в неописуемом грохоте тысячи пар хлопающих ладоней. Часть ячейки повскакала с мест, часть в радостной суете кричала: „На эстраду, на эстраду!“ и еще часть не менее восторженно орала. „Идет, уже идет!“

С большим трудом рассеклась гуща людей и пропустила высокого хмурого старика в потертом садовническом кителе.

Человек, которого таким буреломным восторгом встречает тысячная масса пролетарского студенчества, родился в шестьдесят третьем году прошлого столетия. В сведениях о себе он отмечает свою народность—„американец“, родной язык—„русский и английский“, основную профессию до вступления в ВКП(б)—„научный работник“, число лет работы по этой профессии—„39“.

Когда Петр Кузьмич Дорожка испустил в крестьянской избе первый после выхода из материнской утробы крик—Вильямс уже двенадцать лет состоял профессором в Петровской сельскохозяйственной академии. Интересная встреча на пороге коммунистической партии.

Девятьсот пятый год. В парке при академии располагалась лагерем карательная кавалерия и артиллерия Дубасова. Но тут же, используя свое профессорское звание „высокопревосходительства“, Вильямс укрывает в своей аудитории целые революционные митинги, берет на свою ответственность студенческие собрания, дает возможность учиться в академии нелегальным людям под чужими фамилиями, активно выступая против обысков в студенческом общежитии.



По просьбе крестьян Вильямс делал в 1902 году в Волоколамском уезде и в 1905 году в Псковской губернии агрономические экспертизы, при чем раскрыл грандиозные жульничества помещиков в отношении крестьян. Скандал получился всероссийский, и это дало возможность Николаю Романову начертать поперек доклада о раскрытых Вильямсом преступлениях одну из самых мудрых своих резолюций:

„Считать дело якобы не бывшим“.

Октябрьскую революцию Вильямс застает с мировым именем одного из первых авторитетов в области почвоведения. Ученые несравненно меньшего калибра с великолепным пренебрежением рассматривали события семнадцатого года с высоких ходулей собственного величия. Вильямс не то что принял, примирился, „простил“ Октябрю его разрушающую стихию. Нет, он целиком слился с Октябрьской революцией, с первого же дня угадывая сквозь груды обломков старого стройные линии нового.

Близость Вильямса к коммунизму не имеет в себе ничего случайного. Всю свою почти сорокалетнюю научную и педагогическую работу старый ученый построил на борьбе против теории мелкого крестьянского хозяйства, которое он определяет как „агрономическую нелепость“, на борьбе за крупное обобществленное хозяйство. Все труды Вильямса направлены против витализма; они пропитаны материалистическими взглядами на строение материи; они рассматривают явления природы не в остановленном для изучения виде, а в их диалектической текучести.

Восемнадцатый год. Советская республика в кольце белогвардейцев и иностранных войск. За тучами и дурными предзнаменованиями не видать ясного горизонта. В это время союз батраков обращается к Вильямсу с просьбой выработать тарифную сетку для сельскохозяйственных



рабочих. И Вильямс со своей обычной добросовестностью, с американской точностью выводит характеристики всех тридцати двух разрядов сетки. Он убежден, что отныне уже не помещик, а профсоюз будет определять нормы оплаты труженика земли и леса!

Начало нэпа. Страна отогревается после холода, голода, гражданской войны. В Петровскую академию валом валят студенты. Профессура смущена этим наводнением глазастых, жадных до учения ободранных парней, часто проходящих под священные университетские своды в лаптях. Профессура смущена, но Вильямс не смущен. Он пишет в студенческий журнал юношески бодрую статью: „Почему стало тесно в Петровке“:

„...Пусть домятся стены аудиторий, пусть будут очереди у дверей лабораторий, тем серьезнее ответственность тех, кто уже проник за эти двери. Скорее насыщайтесь знанием и скорее несите свои знания в народ и скорей освобождайте место для тех, кто так же, как и вы, жаждет знаний“.

На Тимирязевке Вильямса называют „отцом рабфака“, потому что это он при участии профессоров Демьянова, Зернова и Стольгана и при дружном сопротивлении прочей профессуры впервые начал создавать рабочий факультет, приютив это „незаконное детище“ по примеру старых лет в своей аудитории почвоведения.

С двадцать второго года по двадцать пятый Вильямс ректорствует в академии и показывает блестящий пример тактичного и дружеского сотрудничества профессуры с пролетарским студенчеством, с коммунистами, с партийными организациями. Искренне любимый и непоколебимо авторитетный среди студентов, Василий Робертович получил от них пожизненное звание почетного ректора Тимирязевской академии.

Подобно тому как дореволюционная научная работа привела Вильямса к убежденному приятию Октября,—



научные же взгляды, а не какие-нибудь лично политические соображения, сблизили в советские годы кабинетного ученого с подпольщиками-революционерами и бойцами баррикад. Пусть столпы реакционных теорий в сельском хозяйстве ехидничают по поводу якобы спекулятивных научных утверждений Вильямса, обзывают его „коммуноидом“. Жизнь дает на книги Вильямса свой решающий ответ. Все больше прививается в крестьянских массах травосеяние, практически прививаются его методы в области мелиорации, улучшения лугов, культуры бросовых земель, сухого земледелия.

Научная работа Вильямса двигает вперед дело коммунизма. И она же придвинула старого профессора к партии.

Почетное ректорство в академии, орден Красного Знамени, звание члена Госплана, ГУС, директора института почвоведения, звание члена Московского совета от пролетарского студенчества Тимирязевки, авторитетное участие в важнейших правительственных комиссиях—разве всего этого мало Василию Робертовичу как достойного увенчания его честного и смелого жезненного пути?

Мало. Шестидесятипятилетний ученый почувствовал непреодолимое стремление еще к одному званию, обозначенному на маленьком простом картонном билете. К званию, которое ничего не может прибавить к правам Вильямса, облеченного полным доверием партии, но может связать его дисциплиной и новыми обязанностями.

Вильямс не побоялся, не постеснялся своих лет, не побоялся попасть в неловкое положение запоздавшего человека:

„Я отчетливо сознаю, что по своему возрасту я не могу принимать ярко выраженного активного участия в работе партии, но я осмеливаюсь думать, что мои специальные познания могут сослужить службу в самой ударной



задаче партии—подготовке молодого поколения красных специалистов на фронте, имеющем в настоящий момент самое актуальное значение,—фронте завоевания командных высот науки и не менее важном фронте организации сельскохозяйственного производства. На этих фронтах я еще нахожусь в полной силе“.

Бюро ячейки постановило просить Московский Комитет принять Вильямса в члены партии без обычного кандидатского стажа. В самом деле—разве плохой стаж вся научно-общественная деятельность ученого-революционера и десять лет его блестящей работы с советской властью?

Когда в едином взмахе поднятые руки подтвердили предложение бюро, Василий Робертович встал и без всякой торжественности, очень деловым тоном добавил к тому, что перед этим произошло:

— Хотя мое вступление в партию является запоздалым но оно показалось мне нужным по очень веским основаниям. Важнейшим, решающим вопросом для строительства социализма в нашей стране является сейчас сельскохозяйственное производство. В этой области я являюсь научным работником. Но я не мыслю себе чистой академической науки, такой, какую нельзя было бы приложить к практике. Мое дело—давать советы организаторам социалистического сельскохозяйственного производства. Отныне я позволю себе давать эти советы не только как агроном, но и как большевик.

Они вышли вместе с собрания—мировой ученый Вильямс и лесной сторож Дорожко, который годится Вильямсу во внуки. Старику пришлось утوراпливать шаг, чтобы не отстать от быстрой поступи молодого. Старик не отстанет, в нем найдется еще много молодости, чтобы вести за собой молодых студентов-пролетариев, учить их



смелому преодолению тайн побеждаемой природы, сделать из них отличных специалистов, преданных классу, который строит коммунизм. Позднее летнее солнце Тимирязевки провожало двух новых большевиков; черное пятно шахтинского приговора съезжилось и побледнело.

1928

СОУНБ им. В. Г. Белинского



**ТОЛЬКО-ТОЛЬКО** после долгой волокиты установились настоящие жаркие дни. И все-таки—по утрам во всем мире проносится маленький ледяной сквозняк. Он шелестит листами газет на всех языках, когда сотни миллионов людей оживленно устремляются к одним и тем же столбцам, где говорится об одном и том же.

— Где Чухновский?!

— Будут ли еще искать тело Мальмгрема?!

— Есть ли, наконец, хоть весточка об Амундсене?!

— И как чувствует себя Титина?!

Все сплелось в один узел; очевидная гибель величайшего норвежского путешественника и исследователя; загадочная драма на пловучих льдах между двумя итальянцами и одним шведом; публичное соревнование авиаторов Англии, Франции и Италии; легендарный прорыв через вечные льды советских ледоколов; судьба маленькой собачки, которую захватил с собой в победный рейс фашистский генерал.

Чтобы разобраться во всех сложнейших вопросах и тайнах, возникших при последней экспедиции Нобиле на полюс, надобно большое и необычайно разветвленное следствие. Нужен будет целый толстый том, чтобы изложить итоги такого следствия. Вряд ли удастся произвести такую работу. Да и вряд ли... все сопричастные к делу правительства сочтут для себя подобное следствие желательным.



Пока—перед глазами человечества огромный снежный лист, к которому, по одному конкретному случаю, приложили руку, обозначили свои имена и поступки разные страны, разные социальные группы, разные общественные слои.

Горделивая подпись с завитушками генерала Умберто Нобиле должна была красоваться наверху листа. Как это было блистательно задумано!

Итальянцам, изволите ли видеть, надо закрепить свои права на полюс. Не может итальянская нация и ихнее правительство обойтись без полюса. Не так воспитаны.

Что до того, что в Италии и снег-то выпадает раз в десять лет? Что до того, что из Рима, хоть три года скачи, ни до какого севера не доскачешь? Если голландской королеве принадлежит остров Ява под тропиками,—почему бы итальянскому королю не иметь колонии на северном полюсе и не вставить этот полюс в виде какой-нибудь дополнительной алмазно-ледяной шишки в герб Савойской династии?

Наступление на полюс в целях усыпления подозрительных соседей велось сначала под очень научным соусом. Приглашен был в качестве ученого руководителя Роальд Амундсен со всеми своими приборами, книгами, знаниями и опытом. Путешествие производилось от имени двух стран, и соответственно этому даже дирижабль был назван по имени родины Амундсена—„Норвегией“.

Благодаря опытному и спокойному руководству Амундсена экспедиция удалась блестяще. Полюс был достигнут, дирижабль благополучно доставил путешественников и высадил их на землю в полной целости. Однако вокруг перелета сейчас же разгорелась целая склока, поводом к которой послужили разоблачения Амундсена.

Простодушный путешественник, всерьез принимавший Нобиле за научного работника, горячо возмутился,



убедившись, что его пригласили только в качестве ширмы для военной колониальной вылазки. С негодованием описывает Амундсен в своей книге, как перед самым полюсом Нобиле напялил на себя генеральский мундир, как помыкал он, словно денщиками, командой дирижабля, как выбросил он за борт ценнейшие научные приборы со сделанными записями, когда понадобилось немного освободить воздушное судно...

Новое путешествие Нобиле было задумано с двумя важными целями.

Во-первых, утереть нос этой старой перечнице Амундсену, которая так много из-под себя думает.

Во-вторых, окончательно, без дураков, закрепить полюс за Италией.

По общим отзывам научное значение второй экспедиции Нобиле равняется нулю. Еще бы не равнялось, если бравый генерал захватил с собой крест от римского папы, чтобы водрузить его на полюсе, и шампанское, чтобы там же его распить. Затея шикарная, что и говорить.

Пожалуй, всякому будет лестно—на Северном полюсе выпить рюмку водки и тотчас же на Южном закусить соленым рыжиком. Вот только дорого обошлась эта затея! Кровавой кляксой размазалась красивая подпись, которую хотел генерал изобразить на самом видном месте снежного листа нетронутой Арктики...

И кто первым помчался на помощь погибающим участникам незадачливой агитационной авантюры?

Тот же Амундсен.

Помчался и пропал, и, повидимому, погиб, став жертвой своего глубоко великодушного поступка. Сознательно великодушного, потому что Амундсен знал цену „научной экспедиции“, которую он полетел спасать.

Что может быть нелепее и трагичнее конца Амундсена! Почти полтора столетия путешественники всех



национальностей гибли в героических попытках достигнуть либо Южного, либо Северного полюса. На долю одного человека достались исключительная честь и исключительное счастье первым открыть Южный полюс и первым же попасть на полюс Северный. И после этого „герой двух полюсов“, покрытый мировой исторической славой, человек, которому, по его шутливому заявлению, „скучно, потому что нечего больше открывать“,—погибает, соприкоснувшись с пустой и нелепой затеей итальянской военщины!

...После Амундсена шведы, финляндцы американцы посылают спасательные силы к месту пропажи Нобиле. Суэта в мировой печати подымается необыкновенная. Рекламная шумиха помрачает небеса. Только кое-где глухо скупно сообщается в иностранной печати, что „и большевики тоже“ послали или только собираются послать какие-то суда и какие-то самолеты на помощь экипажу „Италии“.

И вот большевики тоже среди прочих проставили свое имя на снежном листе. После того, как шведы вежливенько выручили из беды начальника экспедиции, а потом так же осторожненько высвободили своего летчика,—после этого экипаж „Красина“ и „Малыгина“, авиаторы Чухновский и Бабушкин показали миру настоящую, серьезную, без рекламы работу по спасению погибающих. Рискуюя собственной жизнью, и рискуя очень серьезно, они спасли целых полдюжины из незадачливых участников завоевания Северного полюса римским папой.

Советскую помощь не прочь были замолчать. Но от нее нисколько не хотели отказываться. Когда Нобиле очутился в теплой каюте „Города Милана“, он успокоил всех окружающих относительно судьбы лейтенанта Вильери и остальных, оставленных генералом на льду.

— Они не погибнут,—уверял Нобиле.—Ведь с ними сохранилась чудотворная икона мадонны ди-Лоретто!



Мадонна—мадонной, но безбожников с кораблем „Красин“ просили поторапливаться. Безбожники приналегли, и только при их решительной помощи мадонна оказала свое действие. Попробовала бы без них!

Либеральная лево-настроенная буржуазная печать делает восторженные политические выводы из факта спасения фашистской экспедиции большевистскими моряками и летчиками. В этом факте особо взволнованные публицисты видят чуть ли не начало примирения воюющих классов и их партий.

Делать такие выводы по меньшей мере глупо. Конечно, „Красин“ спасал не фашистов и не фашистскую колониальную авантюру, а просто погибающих людей, попавших в смертельные объятия безразличной полярной природы. Недаром же сообщает телеграф, что, когда в связи с успехами летчика Чухновского на стенах миланских фабрик появились надписи рабочих: „Да здравствует „Красин“!“, — полиция не замедлила произвести аресты.

Чухновский не замедлил. Рабочие в Милане не замедлили. Полиция не замедлила. И итальянские коммунисты при случае тоже не замедлят... каждый на своем месте, каждый при своих обязанностях. Все в порядке, игра продолжается!



## ВОЛГА ВВЕРХ

**А**СТРАХАНЬ простерлась в сухой истоме, зноем греет разбитые кости. Пыльным струпом пролегла Московская улица—челюсть выбитых артиллерией домов. Их скелеты плавают в небе, злая тишина гонит шаги прохожих прочь, дальше, вниз к реке, где проросшая жизнь ворочается потным клубком у пристаней и на рейде. Война измочалила город, мир еще не залечил ран.

Не свой и не чужой азиатский порт в устье европейской реки, ошибкой выдвинутый не на том берегу самого странного на свете моря-озера, город-вопрос, город-спор, город—недосказанное слово, город—невыполненное обещание, город—непринятое решение. Ему бы второй Одессой, восточной Пальмирой, а он окаменел в скучном недоумении—кому отдаться, принять чей цвет: сизую сталь низвергающейся русской реки, персидскую голубизну Хвалынского моря, желтую тоску калмыцких песков, убогую пестрядь татарской орды?

Спор не решен, солнце сушит противоречия, революция перечеркнула их красной вывеской, русские бородачи дремлют в татарских кумысных, калмыки дружно с татарами тянут пильзенское пиво, персы пьют сельтерскую воду, на черной бирже все четыре нации, дополненные евреями, со стройным шумом устанавливают неписанный закон астраханского валютного обращения.

Астрахань вернулась к мирным промыслам. На узенькой речке Кутум не видать воды,—вся поперек



заставлена лодочной рванью, старыми суденышками, перекрыта драными парусами, засеяна фруктовой шелухой, перевита восточным галдежом. И опять громоздятся на серых палубах выше человеческого роста горы сухой сельди; запах—не бодрый морской соленый бриз, а прогорклый, тяжелый дух рыбного кладбища—мешаясь с тучами высохшего, летающего конского помета, с дымом низких труб, с махоркой, сверлит горло континентальной средне-азиатской сушью.

После пулеметов и штыков, после речной артиллерии рыба опять царит над Астраханью. Она опять на первом месте в городских складах, в пирамидах новеньких берестяных бочек, ржавеет селедками на лотках и в руках у нищих, висит военными рядами под стропилами рынков, янтарится в душистых ресторанных селянках, пучится колоннами цифр в докладах губисполкома и экономсовещания. Но плохи дела, тихи прохладные рыбные корпуса на Малых Садах, жирные слезы капают на железный пол с нежнейших, деликатнейших осетровых балыков, и грустны хозяева—астраханские оптовики, осетровые владыки, икраные короли.

— Икра, можно сказать, самый дешевый товар теперь стал. Дешевле всякого предмета. Мяса дешевле, ситца дешевле. Пропавшие мы теперь люди стали, рыбаки.

Астрахань все-таки борется за свое рыбное могущество, борется успешно. Промысла возрождаются, вывоз и транзит рыбы растут с каждым месяцем. Они росли бы втрое сильнее, если бы не серьезное препятствие с дороговизной транспорта.

Трудные времена для волжан: грузовой тариф водный дороже сухопутного. И купцы, государственные и частные, иногда вынуждены тоскливо стоять с товаром на берегу, а пароходству частенько нечего возить,



и капитан элегантного теплохода с ругней и отвращением грузит непривычную избалованному трюму кладь: вонючие бочки селедок.

До вечера возня, в восемь умирает город, а через час опять живет музыкой в пивных и кабаре, шарканьем астраханских щеголей в „губернаторском“ саду. В чернилах южной ночи блещут ярче огней на рейде голодные глаза женщин—персиянок, татарок, русских,—зовущих за гроши прилечь тут же, в теплой пыли, где сопят истуканы изнемогших до утра грузчиков.

— Какие газеты здесь больше идут?

— Да больше... никакие. Плохо тут летом и газеты и журналы читают. К тому же дорого. Публика сейчас больше насчет арбузов и дынь интересуется.

И в самом деле. Столичная газета в Астрахани—гривенник (дерут с надбавкой), журнал—тридцать копеек, а за три копейки продают арбузище, которым убить человека можно и насытить четверых. Впившись мокрым ртом в красную мякоть арбузятины, прильнув к душистой прохладе ананасной дыни, народонаселение отводит душу от жары и плохих рыбных дел.

И еще развлечение: провожать почтовый теплоход. Собраться толпой, висеть гроздью на перилах восьмой пристани, махать платками, кричать до хрипоты и завидовать вслед уходящему вверх по реке лучистому сонму огней.

Почтовые паро- и теплоходы, как всегда,—украшение Волги, ее мундир, главная связь на реке, носители городского европейского начала, представители цивилизации и государственности. К ним больше всего приурочены дела и передвижение волжан, на их расписание „сделана установка“ поволжской жизни.

На теплоходе четыре этажа. В первом—товарный трюм и машины. Во втором—палубные пассажиры в,



третьем—„первый класс“ и салоны, в четвертом—командование волжского дредноута. Самые важные по количеству ценности и весу—нижние два этажа, но они больше молчат, а форс, как всегда бывает, делают два верхних этажа. „Первоклассные“ пассажиры фланируют и зубоскалят, помощник капитана в белых штанах кланяется пристаням и кричит: „Отдай кормовую!“

Они мало изменились, каютные пассажиры волжских кораблей. Время и бури над Россией только пригнули их к земле, умерили квалификацию, сузили пошиб. Вместо крупного купца потребляет буфетную стерлядку волжский нэпман, существо замкнутое, не болтливое и слабо выявленное. Петербургскому с бакенбардами чиновнику наследуют розовый московский управдел с тонкой женой-полудевой, изнывающей от желания загореть на солнце. Генерала с белыми подусниками сменил крепкий пожилой военспец, отчетливо помнящий „мирное время“, и лишь легкокрылый феникс из пепла старого мира, мотылек-актер, душка-актер, птичка-актер, герой-любownik, уцелел невредимо, орет на официанта за теплое пиво, щебечет сомлевшей астраханочке полуприличные стихи, несет околесину о триумфах, о золотых портсигарах от камышинского наробраза, о корзинах цветов от симбирского финотдела. Да персы с грустными глазами все по-старому порочно и детски улыбаются на женскую публику. Они едут на ярмарку, везут горы сушеных фруктов, сабзы, кишмиша, урюка, кураги, чувствуют себя уверенно и только чуть-чуть беспокоятся насчет валюты.

— Персия советски деньги не ходил. Персия зулото ходил, Персия доллар, фунты принимал.

— А червонцы вам годятся? Червонцы, вот такие...

— Покажи. О, такой принимал! Хороший деньга,—как фунт хороший. Давай болше—все возьмем.



Узнают о посещении персидским послом Нижнего и очень довольны.

— Мы Советской Россиям будем шибко торговат. Наш посоль дружбы будет делат.

Внизу же между палубами, под жирным темпом машины, в полутьме, на двухэтажных нарах, на железном полу едет настоящая Россия, Расея, РСФСР. Перемешанная, заквашенная в трех неравных долях, еще не перебродившая, не выстоявшаяся, запененная в пегой пестроте. Лежат плотно сбитым зигзагом, как костяшки домино на столе—голова в живот соседу, ноги к голове, живот к ногам соседа.

Молодой красноармеец переобувается, растягивает и мнет белые мягкие портянки, потом раздумчиво всматривается в жаркую тесноту, во всеобщее отсутствие обуви и решительно откладывает портянки в корзину.

Пожилой старообрядец, долго разглядывая во взятом у красноармейца журнале портрет бритого мужчины со сверлящим взглядом и твердым ртом, по складам читает:

— Замнаркоминдел Эм. Эм. Литвинов—это кто же будет по прежним чинам? В роде министра, что ль?

— Дипломат советской, дедка. Важнейший спец по энтонй части. Переговоры различные ведет, чтобы войны никакой не стряслось.

— Ну, дело пустое. Нешто переговором войну отведешь. Война от бога, в наказание за грехи нам ниспосылается.

Рабочие-отпускники, в кружке уписывающие арбуз с хлебом, дают отпор:

— Эта, старый, брось! Бога твоего отменили. Расчет выдали и пачпорт. Чуешь? На-ко, читани „Безбожник“, там все расчесали, язви их!

„Безбожник“ при общем хохоте летит через головы. Старик плюется и отсаживается от места, где упал журнал.



— Татарам покажите, татарам! Ихнего попа там тоже извели.

Татарин рассматривает в „Безбожнике“ муллу, долго ржет, спрашивает, где купить журнал. Рабочие торжествуют.

— Развезло татару! Еще в коммунары запишется!

На корме сушат белье, играют в карты, кормят грудью детей, ссорятся, и громадная больная женщина, молочным лицом к небу, рассказывает тихо и медленно:

— А Царев курган будет дальше, повыше Самары. Значится, как помер Стенькин товарищ, он, Стенька, велел каждому молодцу на могилку земли горстки три бросить, а народу у его была гибель, вот как бы гора и получилась. „Пускай,—говорит,—дружба наша как гора возвышается“. Только как все большевики были, Стенька с товарищами, так они, значится, курган, чтобы уберечь его, Царевым назвали. Правительство тогдашнее обманули.

— Не худо бы таперя прозвище поменять.

— Не худо...

Теплоход режет Волгу вверх, идет отлогими песчаными берегами. До Царицына, безусловно, лучшая часть волжского пейзажа. Наименее шаблонная, наиболее характерная, наименее ценимая. Прославленные Жигули—в сущности, заурядные холмы, бледное повторение много раз уже виденного в разных местах. Здесь же—широчайшая вода под синим небом, нигде не обрывающимся, африканские пески на много верст, желтое плоскогорье низвергается вертикальными стенами ассирийских крепостей, тонкие, нежно обманчивые дюны, величие пустыни без ее тоски. И редким пятном—верблюды, калмык в китайско-готической шляпе, башни-иглы буддийского хурулла, оазисы лугов. От лугов этих,



когда кончается день, несет невыразимо тонким, невыразимо острым духом травы, едва приправленным теплой горечью песка,—никакой фабрике не подделать этого запаха, расправляющего грудь.

Теплоход—вне луговых ароматов, он движется независимо, прямо „вещь в себе“, живет своей четырехэтажной рапсодией запахов, звуков, интересов. В салоне объявлен концерт „при участии известных артистов Бредунова, Башиловой и товарища Чудинова“, отчисление в пользу водников. Зрители набили зеркальный салон, пианино сдвинуто на середину, дымно, душно. Двое из артистов оказались слепыми, а третий—местным матросом-танцором. Пианист в черных очках громит клавиатуру, маленькая женщина в белой косынке, мертво уставясь белыми глазами на лампу, поет тяжелым ртом:

...Ей граф с утра фиалки присылает.  
Он знает, что фиалки—вкус мадам...

Потом товарищ Чудинов пляшет русскую со стаканом воды на голове и „американскую барыню“ с тремя стаканами. Публика хлопает, палубные пассажиры снизу просят посмотреть хоть через стекло, но контролер с пробормотом отказал, и с горя все залегли спать.

Только один грузчик, с моржовыми усами, тужился попасть в концерт, и долго чей-то писарский голос язвительно упрекал его:

— Грузчик, а порядку не знаешь! Разве можно тебе в первый класс ходить?

Он не имел доводов для ответа, ушел на корму и только позже сказал очень громко, обращаясь к пустому берегу, уверенным голосом пролетария:

— Власть таперя наша, а в первый класс не пускают. Малость еще подождем, повоюем еще.



Наверху не слышали, гуляли парочки, герой-любовник курил из мундштука, унывно цедя студенистые фразы:

— Сказать вам, что мне в вас нравится? Но разве это можно выразить словами? Это можно только чувствовать.

Московская управдельша затеяла легкий флирт с персом и сама не рада. Франт в шелковой черной феске-персиде и лакированных башмаках опасно настойчив.

— Я ведь вам сказала, что нет. Нет и будет нет. Пожалуйста, оставьте.

Но Волга спит ночью, спит и днем, она все еще наполовину в невосколеблемом сонном забытии, таком безбрежном, что иногда не знаешь, то ли тормозить могучими тумаклами застывшую реку, то ли на цыпочках уйти, не тревожа сонного царства.

Спускаются навстречу пароходы и баржи, но их еще мало. Ползут плоты „средне“- и „верхневолголеса“, но скупое. Довольно часто попадаются буксиры с огромными железными наливными баржами, низко сидящими в воде. Это госпароходство тянет нефтяные грузы Азнефти.

...Царицын—едва ли не самая оживленная пристань на нижнем плесе. Здесь узловой пункт—дорога на Кавказ, Крым. Поток пассажиров, желтые огни лавчонок, суматоха...

Чей-то голос надрывается в защиту порядка.

— Которы за харчам слазят, предъявляй билеты.

...Саратов не пострадал от гражданской войны, быстро оправляется от голода. Нарядные и чистые улицы, асфальтовые литые мостовые, хорошо одетая толпа на главных и сносно одетая—на рабочих улицах. И даже—предел желаемого после голодного года—две бабы конфузливо покупают себе по цветочку в киоске.



Немкоммуна быстро залечила раны. Сытые лошади везут монументальные телеги на тяжелых колесах, огромные мешки зерна. Посасывая трубочки, шагают за ними флегматики-колониисты.

...Самара в вялом возбуждении, еще в полузабытьи после голодной хвори. Обветшала, поистерлась. Только на главных улицах поблескивает нэп витринами частных магазинов. Из всех дыр глядит нищета. Но и тут общий бодрый, полный веры в себя возглас:

— Еще годик урожайный дайте нам, и совсем встанем на ноги. Опять Самара станет житницей России.

От Самары и Симбирска оживляется выгрузка и нагрузка на суда. Толпами возятся разгоряченные в трудовом раже грузчики. Следовало бы работникам НОТ'а понаблюдать их единственный в мире метод работы, где главную долю энергии отнимают песня и матерная брань. Бочку сельдей из трюма без особой натуги молча выкатывает один человек, но тут же рядом такую же точно бочку с ревом „Дубинушки“, уханьем и матершиной тянут на веревке человек девять.

Прилаживают канат, ухватываются за него, набирают полную грудь воздуха—не для тяги, а для песни:

И-эх, дуби-инка, да ухнем!  
Зеленая сама пойдет,  
Бери пойдет,  
Идет, идет,  
Бери пойдет!  
Идет-идет!

И лишь к концу песни бочка лихо вздергивается вверх. Поют до сипоты, до изнеможения, оглушая и изнуряя криком друг друга и самих себя.

Честно и лойяльно, не уклоняясь от прописи чеховского учителя, Волга все впадает и впадает в Каспийское



море. Но разве не революция, не мы вдунем новый грандиозный смысл в медленный ход серых вод, не мы разбудим их сон, не мы заставим бурлить кровь самой большой и важнейшей артерии оживающего тела страны, не мы нагрузим сотнями миллионов пудов клади, обратив одичавшую степную кобылицу в степенного битюга-тяжеловоза, африканский Нил в американскую Миссисипи? Сюда, НОТ и ЦИТ, и все благие затеи американизированной Москвы! Сюда из столицы, на одичалые просторы великой реки, к мириадам заново расплодившейся рыбы, к едва расковыренным пластам мела и алебастра, к окаянной дикариной возне грузчиков, ко всем неиспробованным, неизведанным возможностям в центре России, к надеванным рукавицам за поясом!

1923



## КОЛЕСО НА ПАМЯТЬ

**В**ОЛГА сразу отодвинулась в сторону, мы ехали степью быстро и пыльно. То пропадала дорога, как пробор на всклокоченной голове, то вытягивалась стройной серой ниткой. Звенела комариным пением тишина, купались в воздухе надменные дрофы, косой стрелой носились жирные дудаки. Предгубисполкома жадно кривил на них губы, ругался, почему не захватил двустволки, потом не выдержал, вытащил из-под сиденья военную винтовку, бухнул три раза в небо, промазал и виновато уставился на главу правительства.

Алексей Иванович усмехнулся, посочувствовал, но ехидно упрекнул:

— Разве же можно дичь пулею достать! Каждая птица свой номер дробы имеет. Нельзя так, с бухты-барахты, палить!

Лицо пыльное, загорелое, здоровое,—видно, рад, что может сейчас о таких вольготных вещах, как дробь-дичь, говорить.

Неудачный стрелок оправдывается:

— В прошлый раз дробовик захватили—тému птицы набили! Еле довели, всей ораве роздали.

Далеко, где глаз с трудом нащупывает линии горизонта—свежими пятнами мерещатся миражные кусты, вода, горы. Но здесь, ближе, на коврах ковыля, выжженной голодным солнцем рыжей травы—суровая пыльная явь.



Длинной грязно-желтой гусеницей тянется навстречу караван. Переселенцы. Алексей Иванович уже соскочил, забыл о дрофах, быстро перерезает дорогу.

— Откуда? Куда? Зачем?

— Акмолинской области, с калмыками не ладили, совсем не вмоготу стало, на Воронеж идем. Там, гряд, земля есть и жить можно. Земляки писали, а правда ли, неведомо.

— Так это вы пешечком столько тысяч верст проперли, а толком узнать, куда едете—не потрудились?! Ч-чудаки! Кто тут у вас старшой? Поди-ко сюда, дядя! Живей!

Караван изумлен. За все длинное, полусказочное, как похождение из Шехерезады, путешествие все встречные люди и учреждения совокупно не проявили столько интереса, сколько этот простой невысокий человек, лицом крестьянин, в городском платье, с потухшей папироской между пальцев.

Интерес не пустой; пять минут разговора с переселенцами, и у них уже адрес в город, записка в губземотдел с энергичными подчеркиваниями под словами „срочно“, „обязательно“, „минуя формальности“. У них и деньги, тут же ассигнованные и тут же выданные походным „управлением делами“ в лице Николая Петровича Горбунова из его бумажника, у них и папиросы, срочно перекочевавшие из „походных табачных складов Совнаркома“, сиречь, рыковского портсигара. Уже мчимся дальше, рассекая океан заволжской степи, уже сердится Алексей Иванович на беспапиросье, а караван, сбившись в кучу встревоженным ульем, проснувшись из спячки, обсуждает новые планы, теребит рыковскую записочку, заново передумывает свои дела.

... Между холмами в пыли русское село. Триста лет лежало, заколдованное, в плену у царей, а сейчас, в



революционной печи переплавившись, вознесясь на неведомые высоты, с лязгом упав в роковые бездны, испытав великие потрясения, откровения и муки, проснулось в обетованной стране Ресефесерии. На новой планете—новая страда. Добытая революцией земля упрямится, не хочет родить. Нищета великая хватает за ноги, бешеной собакой преграждает путь.

Из сельсоветской избы вынесли на волю столик, чернильницу, стулья. Народонаселение выросло из-под земли и сгрудилось тесным кружком. Председатель, высокий, скуластый, бедняцкого облика мужчина, делает доклад. Никто не слушает, кроме Рыкова. Село в немом упоении пожирает глазами кожаную куртку, сапоги, простой картуз. Вид главы правительства придает бодрости опешившей от высокого посещения деревне.

— Говорил вам, дураки, а вы не верили—громовым шопотом убеждает кто-то позади,—говорил—человек, как все, совсем обнаковенный. Брат мой в Москве был, Калинин видел—и тот человек простой, совсем, как вообще люди бывают...

Сам гость, прищурившись, слушает доклад сельсовета, в уме отчеркивает деревенские прорехи. Потом, встрепенувшись, оставляет спокойную позу отдыха...

Как говорит Рыков с деревней? Любому сельскому коммунисту, любому работнику среди крестьян стоило бы послушать и поучиться.

Рыков не льстит мужику. Не превозносит до небес, не держится запанибрата. Говорит тоном равного, но старшего, более опытного, более трезвого и, главное более спокойного.

Неуловимая, но сильная атмосфера бодрящего спокойствия, полное отсутствие бенгальских огней, простая крепкая русская речь, язык городской, но понятный, временами—короткая, яркая шутка... Сход слушает,



очарованный этой властной простотой, желтобородый дед с выцветшими глазами, поротый розгами при Николае, сочувственно мотает головой, мужики перестали смотреть оратору в рот, сосредоточенно слушают, уставившись на собственные лапти и сапоги.

Рыков не сулит золотых гор крестьянину. Он не выходит из рамок суровой действительности,—лишь в них, не отрываясь от земли, от недородной, сухой, корявой земли, ставит слушателя на ноги, распрямляет спину, вдывает чувство перспективы, плана, думы, заботы о будущем. И чем больше разбирает внимательный, по-простому серьезный прищелец все сельские болячки и язвы, чем суровее в них копается, чем больше режут бабы, подталкивая друг друга локтями,—тем с большей надеждой смотрит сход на Рыкова, тем ближе и дороже им диковинное советское начальство, из далекой Москвы объезжающее деревни и в каждом уголке чувствующее и проявляющее себя как дома.

Не чужой, не пришлый, очень свой, совсем понятный и притом—отмеченный печатью ума, превосходства, печатью широкого размаха всесоюзной советской власти. Доступный—сейчас разберет спор сельского „кипиратива“ с комитетом взаимопомощи, распутает дело о ссуде в пятнадцать рублей красноармейке Степаниде. И торжественный—в сказочной красной Москве олицетворяет мощь страны рабочих и крестьян, верный ученик Ильича, в его кресле председательствует в правительстве. Таким понятен Алексей Иванович Рыков, таков по-хорошему приемлем мужику.

Час говорил Рыков на сходе в Новотуловке. Не любят новотуловцы речей длинных. Если заведет неопытный инструктор из уезда канитель—попросту расходятся тихонько по избам, и удивляется оратор, куда это народ растаял. А тут—сначала окаменели, а потом как пошли



набравшись храбрости, задавать вопросы центральной власти,—еле успевал предсовнаркома отвечать.

Из гуши собрания вытолкнулась плачущая вереница баб. Полегли их мужья честно за советскую власть в бою с заволжским бандитом Сластуновым, и поставлен героям памятник, неуклюжий красный ящик посреди Новотуловки. Но остались вдовы без скота, детишки голы-босы, помочь некому и нечем, гола деревня после двух недородов.

Хотят они сказать про свое горе, но слезы в три ручья, и никак не могут успокоиться. Коммунист сельский, Романов Сергей, секретарь совета и так успокаивает и этак. Рассердился даже и кричит:

— Будьте вы, товарищи-женщины, твердынею, если хотите разговаривать с центральным правительством!

Но не унимаются бабы. Плакать плачут, а сказать про свое горе не могут. Тогда отвел сам Рыков, Алексей Иванович, их в сторонку, пару простых слов сказал,—сняло слезы как рукой. Выложили все беды и получили резолюцию тут же на месте, без переписки: ассигновку комиссии по борьбе с последствиями недорода при Совнаркоме на неотложные нужды новотуловского кресткома по обеспечению вдов героев гражданской войны. А Николай Петрович без долгих слов выложил червонцы...

Уже солнце садилось в степи,—председатель Союзного Совнаркома в избе за чаем и закуской обсуждал новотуловские дела. Объяснило крестьянство, что если запруду на речке подвести, то будет у села лишних пятьсот десятин заливных лугов, а запруде цена три тысячи рублей по оценке уездного техника. Деньги, конечно, не пустяшные, но, если их добыть, двоякая польза получится: и пятьсот десятин оживут на вечные времена, и село на зиму подкормится земляными работами,



Прикидывал Алексей Иванович, выпрашивал мужиков, план смотрел, высчитывал, нельзя ли скостить с трех тысяч. Пошептался с губисполкомщиками, — без фракции никак нельзя. Те подтвердили: Новотуловка — село сурьезное, зря просить не станет, что в долг в трудный год берет, то с лихвой и благодарно возвращает. Вздохнул — увидело крестьянство, что зря власть казною не швыряется — и отпустил деньги.

Ликовали новотуловцы, выставили правительству угощение на славу: два десятка помидор, десяток яиц крутых и арбуз здоровеннейший. На улице уже пели песни, и председатель давился благодарственной речью, выжидая, пока товарищ Рыков допьет вприкуску чай, в красном углу, под собственным своим портретом.

Трудно с речами. Особенно, когда с Москвой разговариваешь, когда в голове все ералашем смешалось. Не ляпнул ли предсельсовет, когда сказал:

— И, между прочим, конечно, не могли бы мы поверить, да только так выходит, что у прежнее время не то что исправника мы в жисть видеть не сподоблялись, а как теперь пролетарский наш сам товарищ Алексей Иванович, правительство наше из Москвы от главнейшего центру, приезжают, и с крестьянством чай пьют, так могу я выразить наше спасибо за запруду и за сироток наших...

Погиб бы бедный предсовет, утонул бы в речи, и смотрели с испугом односельчане, как выпутается он, ибо всегда на язык был слаб и кончить речь свою никогда не мог. Но Алексей Иванович усмехнулся так просто и дружески, что отлегла вся торжественность от сердца у всех, и сам кончил предсельсоветскую речь:

— Ладно уж там размазывать. Скажу вам, новотуловцы, одно определенно: арбузы выводите отменные. Смотрите, мне запруду не испортить, чтобы не хуже арбузов



была. Из Москвы донесение потребую! И будьте пока здоровы.

...Когда накричались до хрипоты вслед убегающему за Рыковым облаку пыли, прежний скептик, громовым шопотом комментировавший на сходе внешность предсовнаркома, опять насел на вытиравшую слезы бабу.

— Чего ревешь, корова! Говорил тебе, человек, как все. С рукам, с ногам.

— Как все, как все! Заладил тоже, чучело! У его голова на плечах есть!

— Ну?

— Ну, а у тебя нету! Спать иди, оглобля.

.....

Что-то неладное творится с шинами. Мы меняем за полтора верст уже вторую. Раскаленный песок и острые камешки объединились, шоферы стараются ехать осторожно, но сами не знают, в какую сторону эту осторожность направить.

— Пффффа!..

Опять спустила камера. Остановка. Алексей Иванович обнадеживающе подтрунивает, но пролетарий за рулем очень смущен.

— Товарищ Рыков, разрешите доложить, если еще одна спустит,—мы дальше ехать не можем.

И уже неофициально, в сторону, по-русски обложил шины, колеса, песок, камушки, печенку, селезенку, все на свете, что осрамило его, лучшего сталинградского шофера, перед самим Рыковым.

Прикрутили колесо, ринулись дальше, уже чутко прислушиваясь к шуршанию резины. До опытной агрономической станции, куда мы едем, еще добрых пятьдесят верст. Надо как-нибудь дотянуть,—в крайности, там заночуем, чтобы утром возвращаться на лошадях.

— Пффффа!..



Готово. Что делать дальше?

Старик-Бенц, прищурившись, смотрит на нас. Масляная краска висит на нем зелеными отсыхающими струпьями. Он выпущен с завода в девятьсот двенадцатом году, а ведь это—самый молодой, самый горячий, самый сильный скакун в автоконюшнях всей Сталинградской губернии.

Шофер горд своим красавцем. Он знает, что где-то есть машины совсем новенькие, выходящие с завода. Знает, но не думает, что это может касаться его и Сталинграда.

Он слышал, что есть где-то отличные, из асфальта литые дороги. Но разве можно даже мечтать об этом здесь, в России, на Волге! Была бы эта степная колея в меру суха, достаточно тверда, не прерывалась бы она тонкими западнями. Если бы не оказия с шинами—э-эх, на совесть прокатали бы товарищей из Москвы.

Мы застряли на холмике. Внизу, в полутора верстах, белеет деревня. Надо добраться хоть туда. Мы катимся под гору, оглушительно хлопая при каждом обороте колеса обвисшей покрышкой.

Крестьяне еще в поле, на работе. Толпа ребятишек в диком восторге окружает окончательно умолкшую машину. Да еще сельский кузнец, бросив свои подковы, на ходу вытирая фартуком пот, прибежал в первый раз посмотреть автомобиль. Он ходит кругом Бенца и что-то сам себе упорно шепчет перепачканными сажей губами.

В духоте под дырявым навесом мы пьем студеное молоко, слушаем крестьянские дела. Попасть на агрономическую станцию, видимо, сегодня уже не придется. Заночуем здесь и утром двинемся лошадьми назад.

И в это время приходит кузнецова жена. Разбитная молодая баба с громким голосом. У нее есть техническое предложение от ее супруга. Сам кузнец—человек



застенчивый и боится предлагать. Она же—стеснения такого не имеет, хотя товарищи, слышно, чуть ли не с самой Москвы приехали. Словом... кузнец хочет починить автомобиль.

— Что же он может починить? Ведь в машине ничего не сломалось. У нас шины полопались, и латать их больше нечем.

— Он то и говорит, что у вас резина лопнула. Хочет вам деревянное колесо сделать, чтобы до города доехали.

Все добродушно смеются, а шофер слегка обижается.

— Скажи, молодка, своему чудаку, что наши машины на деревянных колесах не ездют. Не туда попал.

Тут внезапно появляется сам кузнец. Он, оказывается, прятался за столбиком и подслушал дипломатические переговоры.

— Не ездют? А у меня—заездиют. Ну-ка, пойдем со мной, паря, я тебе растолкую, и вместе с тобой сколотим.

Под общее понукание шофер нехотя покидает кружку с молоком: мало всех историй за день, а еще этот косолапый срамит.

Через десять минут он уже возвращается и со смущением, но оживленно рассказывает, что кузнец надумал, пожалуй, правильно. Он хочет автомобильное колесо окружить деревянными ободьями. Чтобы не погнулся стальной обод, можно под деревом оставить резиновую покрышку, да еще набить ее сеном. Если всю эту штуку крепко подвязать—чего доброго, можно доехать до станции.

Пассажиры санкционируют диковинную затею. Кузнец достает из сокровенных своих фондов моток толстой заржавленной проволоки и ползет под машину.

Солнце спускается, оно уже отсвечивает красными тонами, в его угасающих лучах запечатлевается эта странная,



картина: захолустный деревенский кузнец чинит деревянными ободьями автомобиль главы рабочего правительства. И, гордая мастерством мужа, молодая кузнечиха говорит то, что позже, через два-три года, стало лозунгом советской общественности всей нашей страны.

— Вы бы, товарищи милые, нам в деревню такую же машину прислали. Справились бы с ней, мой муж за ней ходить бы приучился, как за малым дитем. На всю деревню работала бы, деньгами или хлебом вам отдали бы и еще спасибо сказали бы. Ведь крестьянину это очень вещь нужная,—что вам, что нам.

Колесо было готово с последними лучами заходившего солнца. Мы сели в машину и попрощались с кузнецом, который отказался от денег, и обещали ему исполнить единственную просьбу—рассказать в Сталинграде и в Москве, что есть, мол, такие кузнецы-крестьяне, которые не то что там телегу или плуг, а даже заграничную машину могут вполне исправно починить.

Мы ехали в черной летней мгле, беспокойно прислушиваясь—не развалится ли колесо. Оно не развалилось, мы осмелели и совсем шибко проехали тридцать верст до агрономической станции. Там, видимо, и остались валяться отслужившие кузнецовы деревянные ободья—остались валяться, вместо того, чтобы быть сохраненными в будущем музее индустриализации советской страны, как простой, но трогательный символ братской помощи деревни городу, неудержимого порыва заждавшегося крестьянства к культуре, к технике, к жизни, к иному, осмысленному и облегченному труду.



## В МОНАСТЫРЕ

**П**ОВЕЛИСЬ эти мощные крепостные стены еще от Дмитрия Донского. Возвратясь после Куликовской битвы домой, великий князь всея Руси заложил здесь, в пятнадцати верстах от Москвы, Николо-Угрешский монастырь как памятник и как подарок богу за победу над татарской ордой. Других видов капитального строительства в то время не имелось, зато обители божьи строились так основательно, как нашим жилстроительным кооперативам и не мечтать.

Никола-Угрешский возвышается среди полей и рощиц высоким неприступным каменным утесом. Он устроен, как обособленный укрепленный военный форт. Здесь монахи могли выдерживать и выдерживали месячные осады, угощая неприятеля с высоты стен расплавленным свинцом и кипящей смолой.

Позже подмосковная обитель оберегала особого рода страстотерпцев. В монастырской гостинице приезжим из города парочкам сдавались кельи на день, на ночь и даже на несколько часов. После сладких пыток за опущенными шторами, в духоте нагретого солнцем номерка приятно было пройтись по прохладным аллеям древнего сада, поставить свечу в тихом и торжественном соборе.

Монастырь молча и без больших потрясений дрыхлел. Зимой тысяча девятьсот двадцать восьмого года завладела им полуторатысячная орда. Правда, не татарская но не менее шумная, никак не менее воинственная, чем боевые полчища Мамай и Тохтамыш.



Мы осторожно подбираемся к монастырю, но нынешних хозяев нелегко застать врасплох. Над широко раскрытыми воротами Николы-Угрешского полощется алый доскут:

„Привет нашему другу Максиму Горькому“.

Адресат приветствия огорчен и даже раздражен. Ему приелись парадные встречи, мешающие разглядеть жизнь в обычном, невзболтанном виде. Он беспокойно прищелкивает пальцами и ругается.

— Ну, на кой чорт это нужно! Ну, на кой чорт! Неужели же без этого нельзя?! На кой?

Несколько десятков пар ног с предельной скоростью мчатся к гостям. Несколько десятков пар ладошей начинают свое оглушительное дело. Горький ликвидирует парад на корню:

— Что у вас, руки казенные, что ли? Бросьте, ребята, эту суетню.

Лед торжественности разодран в куски. Вместо него плещется половодье грубовато-ласковых и демократически-фамильярных чувств. Алексею Максимычу деловито представляют последнюю никола-угрешскую достопримечательность—Леньку.

— Ему десять лет, а он уже не перечесть сколько раз за решетку попадал, всю Россию на буферах изъездил, чуть ли не Госбанк обворовывал, отсюда, из коммуны два раза бегал. А когда ему уж совсем скучно, очень любит всякие памятники с места сворачивать, кресты с могил упирать.

Горький озабоченно упрашивает Леньку:

— Там, в Москве, на Красной площади, есть памятник Минину и Пожарскому. Так ты уж, пожалуйста, его оставь на месте. Ладно?

Хитрый Ленька насупился и побагровел, в натуге своего десятилетнего мозга избирая способ поддержания



разговора. Этих способов беспризорная практика знает только два: нахально-задирающий и жалобливо-несчастный. Ленька понимает, что оба тона сейчас не к месту. Он еще больше багровеет и совсем безыскусственно огрызается:

— Сказал же, больше из коммуны бегать не буду. Слово же дал, чего ж старое поминать! Что я, слова не давал, что ли?

Ленька убежал, толпа быстро разошлась. Здесь у каждого свое место, свои обязанности, болтаться в рабочие часы больше нескольких минут неудобно и неприято. Орда, занявшая каменные громады Николо-Угрешского монастыря, работает как на заправской фабрике, где производительность труда не нуждается в агитационных кампаниях.

В старых стенах прорублены широкие светлые окна. Сюда вторглись солнечные снопы, лязг и свист металла, гудение моторов, скороговорка ручных молотков.

В кузнице, у красных наковален, сосредоточив глаза и мускулы, размахивают тяжелым железом молодые парни. Вот у этого при каждом ударе все больше проступают мелкие капельки пота на открытом, честном, прирожденно-трудовом лице. А сопровождающий наклоняется к нам и шепчет:

— Восемь судимостей! Одно убийство! Несколько вооруженных налетов. А теперь—смотрите, как из него все это выходит! Молот—хороший педагог, не хуже, чем иные профессора!

Да, здесь кишат яркие биографии. Здесь не буржуазные школьники на летних упражнениях. Здесь пристань маленьких, но бывалых и умятых ураганами жизненных кораблей. Писатель Гектор Мало прославился на сто лет романом „Без семьи“ из жизни ребенка-сироты. Сколько сюжетов, жестоких и трогательных, фантастических и притом безупречно правдивых, содержат жизнеописания



тысячи членов этой неслыханной республики здесь, в Николо-Угрешском монастыре!

Мы уже рассказывали („Дети смеются“) <sup>1</sup> о коммуне ГПУ в Болшеве, где в обстановке свободы, труда, выправленного человеческого достоинства живут и воспитываются для иной жизни бывшие юные обитатели уголовных тюрем. Тогда мы получили много недоверчивых откликов и в том числе несколько даже с примесью обиды: как это можно расписывать, да еще печатно, такие невероятные вещи, как это может существовать подобное сверхъестественное учреждение, да еще попечением такого неласкового учреждения, как ГПУ.

С тех пор большевская коммуна не только ничего не потеряла в своей реальности, но еще родила дитя. Здесь, у Николы-Угрешского, в присутствии такого нелицеприятного свидетеля, как Горький, мы имеем радость наблюдать вторую коммуну, тоже созданную ГПУ, в несколько раз большую, чем первая, и в несколько раз быстрее растущую на уже полученном опыте. Несколько окрепших большевских птенцов даже работают здесь инструкторами!

Те же простые и свободные порядки, та же несокрушимая дисциплина, какая бывает только при полном самоуправлении и железной круговой поруке. То же яростное упоение трудом, подмывающее перегнуть быстро мчащие станки. Все как в Болшеве, только больше, гуще и бурнее. Мы бродим по мастерским, слесарной, сапожной, столярной, и, вбирая в себя на слух деловую горячку, Горький молодым, колющим своим взглядом снует по углам, по лицам, по затылкам, по кучам стружек, по масляным пятнам на фартуках. Как он повсюду чувствует себя дома, этот мировой гражданин с грязных пустырей Канавинской слободы, одинаково желанный и почитаемый в кабинетах

<sup>1</sup> См. I том, «Сотворение мира», стр. 445. (Прим. ред.)



величайших европейских ученых и на скользком каменном паркете грязных ночлежек! Рослый парень в пекарне замешивает огромную, на двадцать пудов квашню, и знаменитый писатель, пощупывая пальцами рыжее месиво, профессионально усмехается:

— Дельце знакомое... И техника все та же, не подвинулась вперед.

Да, мы печем хлеб еще по-старому. Но едят его уже новые люди. Разве не странно должно быть Горькому, человеку предреволюционного поколения, видеть эти сотни молодых, проворных рук, забывающих дорогу в карманы прохожих и ловко мастерищих предметы необычного вида.

— Что это вы производите?

— Железные зажимы для пинг-понга.

— А это?

— Туфли для баскетбола. Футбольные мячи. Башмаки для велосипедистов.

— И что же, хорошо они идут?

— Ого!

В стране открылись новые, невиданные рынки потребления. Нужны сотни тысяч туфель для крепких ног сотен тысяч пролетарских спортсменов. Нужны вагоны мячей, штабеля шахматных досок, тысячи километров беговых дорожек. С мусорных свалок, с грязных фабричных задворков несусветные толпы народа поперли на стадионы. Слыханное ли дело,—Россия, кислая, почечуйная, невыспавшаяся старуха, теперь, омолодившись, требует коротких трусов, теннисовых ракет, шведских коньков, разноцветных вязаных „маек“. В спортивных магазинах не протолкаться, и вот здесь то же—приходится зимний инвентарь заготавливать с апреля, а летний с октября.

Здесь все работают, но здесь не дом принудительных работ. В свободной трудовой республике, захватившей Николо-Угрешский монастырь, можно себя проявить не



только обычным рабочим. Здесь не глушат художников, чудаков, мечтателей и поэтов. Здесь прочищают естественную дорогу для каждого, понимая, что ни одно истинно творческое стремление человека не может быть принижено по сравнению с другими.

Оттого так широко разрослась никола-угрешская „скульптурная студия“. Широко, хотя и не больно художественно, не очень педагогично. Держа курс на обязательный повсюду „хозрасчет“, ребята без конца раскрашивают линочухи гипсовых кошечек и зловещих настенных девиц с фиолетовыми гроздьями винограда. Впрочем, тут лепят и „для души“, изваяли даже лихо всклокоченного молодого Максима в косоворотке, с огромной, похожей на гусли чернильницей на коленях.

Как вежливый гость, Горький сдержанно одобряет свое изображение. Измазанный красками малыш дает точную информацию об авторе:

— Это пьяница лепил.

Горький заговорщически делится своими сведениями и об оригинале:

— Вот этот... которого, значит, лепили... он тоже в свое время... насчет рюмочки любил побаловаться.

Обе стороны расстаются довольные взаимным осведомлением.

Молодого любителя птиц, ящериц и прочей зоологии в коммуне прозвали Шаляпиным. Он соорудил целый зоопарк в четыре квадратных аршина и страдает общей болезнью всех подобных учреждений—нехваткой в сметных ассигнованиях. Он взывает о субсидии или хотя бы о помощи машинным оборудованием:

— Товарищ заведующий, ведь если бы вы сказали на кузнице для меня капканчик сделать, э-эх, что я бы вам тут развел!



Совы и сычи в клетке, заслышав горестные ноты хозяина, начинают тоже проявлять сонное беспокойство. Удрученный Шаляпин тычет им пальцем в клювы клочки мяса. Горький обещает прислать Шаляпину книжек насчет зверей. Горький хлопочет за Шаляпина насчет капканов. Как всегда—и сейчас Горькому приходится опекать Шаляпина!

Поэзия совсем не в загоне в Николо-Угрешском монастыре. На нее не косятся, ее поощряют. Конечно, сегодня стенная газета вся посвящена знаменитому гостю. И местный поэт, приспособив для торжественного случая стихи Бориса Ковынева о Пушкине, обращается к писателю с рифмованной декларацией.

Не шумит Садовое кольцо,  
Голоса все медленней и глушатся.  
И сказал я Горькому в лицо:  
— Алексей Максимович, послушайте.

Ваша жизнь была не пир горой,  
Отчего ж гремит, не умолкая,  
Ваше сильное и звонкое перо,  
Отчего же выправка такая?

У меня в груди невольный гнев.  
Ты попробуй босый в эту стужу  
Воспевать, четыре дня не ев,  
Хоть не море, а простую лужу.

О, клянусь огнями фонарей,  
Что бывает — лев сидит забитой клячей,  
Накорми меня и обогрей,  
И тогда поговорим иначе.

Так я и не кончил говорить  
(На бульваре ветер был унылый).  
Заадели кровью фонари,  
Улыбнулся мне Максимыч ясно.

И на все обидное в ответ  
Беспризорнику и жулику, как другу,  
Алексей Максимович, поэт,  
Протянул мне дружескую руку.



...Торжественная встреча почетного гостя была сорвана им самим. Николо-угрешские коммунары возместили себя торжественными проводами. Длились проводы только четверть часа, но вышло совсем как у людей, даже адрес прочли, и музыка играла.

Совсем как у людей. Можно ли представить себе, не видев воочию, этот огромный, в пять этажей вышиной, гулкий сводчатый колодезь пышного собора, размалеванный снизу доверху аляповатой церковной живописью шестидесятых и восьмидесятых годов, и дощатую эстраду перед алтарем? И духовой оркестр на эстраде! И застрявшие на подмостках после спектакля декорации, и картонный гроб с надписью „капитал“, и бутафорский мусорный ящик с надписью „спальня беспризорного“! И партер из скамеек посреди собора, и тысячу лиц, полудетских, но осмысленных, тронутых страданиями и опасностями, голодом, нищетой, овеванных скитаниями, опасностями, бодрых и гордых возвращением к честной жизни, взбудораженных присутствием человека, чье восхождение из социальных низов на вершины культуры каждый из них пробует повторить! И преображенное волнением лицо мальчика, читающего обращение к знаменитому писателю, поднявшемуся со дна.

Уже кончилось все, мы покидаем Николу-Угрешского; вновь избранный почетный член коммуны, не в силах сразу опомниться, то тербит усы, то хрустит пальцами:

— Нервы надо, чтобы все это здесь сразу пережить и почувствовать...

Добавочные проводы устраивает маленький Ленка, ниспровергатель памятников. Закаленный в хитростях деяга окончательно понял, что имеет дело с безобидными и даже хорошими людьми. Он решил угостить не совсем понятного, но большого и, по всему видать,



хорошего Максима своим лучшим шедевром. Нагоняя нас, исполняет коронный номер, ужасно жалостную песню, которой хорошо кормился он в дачных поездах и трамвайных остановках—„Позабыт, позаброшен с молодых юных лет“.

Солнце, буйная зелень и само Ленькино лицо, расплывшееся и радостно оскаленное, противоречат грустной песне.

И умру я, умру я,  
Похоронят меня,  
И никто не узнает,  
Где могилка моя...

Трудно поверить песне Леньки. Она получается совсем неубедительно. Никакой грусти нет, скорее похоже на марш. Да и сам Ленька, позабыв первоначальный смысл того, что поет, весело марширует, размахивая рукой и поматывая головой, как лошадка.



**ВЫ ВХОДИТЕ** на необыкновенную площадь снизу, через Иверские ворота. Нет, лучше по въезду мимо Исторического музея. Тогда сильнее и ярче раскрывающееся перед глазами зрелище.

Как бы ни была велика суета в столице, как бы ни звенели трамваи, ни обгоняли друг друга извозчики, как бы ни были хороши дела в ГУМ'е,—Красная площадь всегда кажется пустынной. Три покатости—одна от кремлевской стены к Верхним рядам, другая—к Историческому музею и третья—к Москва-реке—делают ее как бы бортом повалившегося набок исполинского корабля. Последние две покатости скрадывают края, в сумерки создают впечатление притаенной бескрайности. Как ночью в поле после битвы, когда мнутся в пугающем сумраке далекие костры, возвращающиеся орды побежденного и воспрянувшего врага.

Просторы Красной—не для будничного движения. Они—для массового действия, для присутствия десятков и сотен тысяч народа. В неурочное время теряешься в ней—пустой и величественной аудитории.

Когда-то площадь была средоточием мелкой торговли. Вереницы лотков: „мыльные“, „белильные“, „подошвенные“, „нитяные“ ряды застилали ее вдоль и поперек, вились шумным, галдящим узором вдоль стен Кремля. У Спасских рядов особенно рьяно торговали книжники и гребенщики. Веками боролась угрюмая военно-государственная громада Кремля с живучестью торгашеской



стихии. Несколько раз удавалось заключать ртуть мелкой торговли в каменные рамки Гостиного двора. Но ряды пустовали. Торговцы рвались наружу, на площадь; только три столетия заставили реку уйти в берега, и московское купечество воздвиглось кичливой твердыней Верхних торговых рядов.

Принято очень ругать это пресное сооружение за безвкусие и бездарность квасного ложно-русского стиля, в который оно облечено. Все же здание рядов объективно украшает площадь. Его хитрая серая распластанная мощь глядит притаившимся зверем на другой берег, на высокие стены и стройные башни, создавая восхитительную твердую замкнутость площади с боков. Этого не было бы, если бы на месте единого здания рядов была улица отдельных домов.

Поучительному памятнику русского торгового капитала вредит совсем нелепая ложно-классическая группа Минина и Пожарского. Теперь, когда правая часть площади освящена трагическим героизмом новой истории человечества, надо убрать ловкого Козьму Минина-Сухорука, ухитрившегося заложить своих и чужих жен во славу отечества. Или, как шутят старожилы,—в интересах исторической справедливости заменить его памятником владельцам московской чаеразвесочной фирмы Высоцкому и Гоцу.

...Лобное место—вот историческая эстрада, страшный помост самых острых сцен допетровской трагикомедии. Отсюда кривлялась веселыми и жуткими масками царская Русь. Обхаживала безмолвствующий народ елейными речами патриархов и царей, леденила кровь жесточайшими казнями бунтарей и мятежников.

Просто потерять голову под топором государева палача—большая была удача. Это считалось чем-то в роде современного американского электрического стула или



другого „безболезненного“ вида казни. Гораздо чаще непокорные обрывали жизнь в четвертованном, искрошенном виде. Так кончили Пугачев и Стенька Разин—самые страшные для дворянской власти враги. Их предавали мучительной смерти,—чтобы не повадно было. Но казни революционеров никогда никого окончательно не устрашали. Лишь страшные памятные зарубки на пути к цели.

Бывают зарубки и смешные. Тут же, у Лобного места, казнил грозный царь Иван Васильевич привозного персидского слона, не пожелавшего стать на колени перед владыкой.

Василий Блаженный, замечательный архитектурный документ, не оскорбляет революционного величия Красной площади. Религиозное значение этой постройки ничтожно, оно выветривается с каждым днем. Но художественная радость, радость бытия, струящаяся от красочной купы каменных деревьев, тепляет обрывистый склон площади к югу, к реке.

Кто они, неведомые, полulegenдарные русские мужики-зодчие Постник и Барма, своим умом соорудившие необычайную, загадочную конструкцию слитых восьми куполов? Они оттуда, из упругих низов российского трудового люда, глухо роптавшего веками против угнетателей, чтобы однажды одним махом сварить их в кипятке восстания и подарить миру непобедимую стихию большевизма. Не был ли далеким предтечей и сам Васька юродивый, Васька блаженный, тот, чьим именем назвал народ редкостное здание, Васька, поносивший с паперти храма царей и их порядки?

Мы описали полукруг,—и вот Кремль, Спасские ворота; отсюда—участок, уже завоеванный авангардом нового человечества. Диковинные часы на башне встречают хрустальной игрой „Интернационала“. Это тоже было



поводом для добродетельного возмущения святотатством большевиков. Но куранты на Спасской башне знали случаи действительного посрамления. В веке восемнадцатом от рождества Христова прибыли немецкие мастера чинить часы и, богомерзкой шутки ради, настроили часы играть гулящую немецкую песню „Ах, мейн либер Августин“. Несколько лет кокетливо звенел „Августин“ над благочестивой Москвой...

Из Спасских ворот торжественно выходили „на разговор“ с народом великие князья и цари. Ежегодно в вербное воскресенье, уподобясь Христу, совершал цирковое шествие на осляти патриарх. Теперь, в годы рабочей власти, здесь въезд для кремлевских автомобилей. Ночью воин в мягком шлеме с распластанной красной звездой останавливает глухо рокочущие машины:

— Пропуск!

Иногда вместо пропуска седок молча поворачивает выключатель. Резкий свет заливает подушки машины. Часовой видит очки наркома, так же молча прикладывает губы к свистку на следующий пост. Мотор с зыбкой ярью берет подъем во внутренность Кремля.

Дальше—самое дорогое. Стена революции, стена ее жертв.

Здесь был большой кровавый почин. Когда рабочая Москва брала себе власть, она заплатила тремя тысячами жизней. И три тысячи смертей отмечены братской могилой, выкопанной тотчас же после Великого Октября на Красной площади.

После переворота—яростная борьба за право существовать, жить, строить будущее. Она отмечена здесь во всем трагическом, холодающе-прекрасном многообразии.

Война, отвага, опасности—в необъятном кольце множества стран. А встреча—здесь, в прохладной тени старой кремлевской стены.



Молодой Семен Восков пришел из-за моря, чтобы сложить рабочую голову под стенами Ленинграда и лечь здесь, в Москве, на Красной.

Остроумный, искрящийся Джон Рид сменил дворец отца-миллионера на сырую комнатку московского „Метрополя“ и брошен сюда сыпнотифозной вошью—громким прожорливым врагом революции.

Загорский, Сафонов, другие московские коммунисты лежат, разодранные в момент работы бомбой „друзей истинной свободы“, анархистов.

Народный комиссар Подбельский, измотанный от работы, получил заражение крови в трудовом порыве на субботнике.

Старый боец Артем погиб игрой случая, испытывая новое достижение советской техники.

Вацлав Воровский принял удар далеко отсюда, в роскошном салоне лозаннского отеля.

Там был тоже фронт. Как и в снежных безднах Перекopa.

Как на желтых перекатах Волги.

Как в маленьком кремлевском кабинете, где смертельно исцарапывал свой мозг первый из большевиков...

Этот мавзолей должен был возникнуть рано или поздно, но встал слишком рано впереди шеренги мертвых бойцов. Тень кремлевской стены приняла и эту последнюю—последнюю ли?..—и самую бесценную жертву. Смертью Ленина, черной гробницей у стены завершена первая смена героев нашей революции.

...Когда вы пройдете здесь,—днем ли, в притихшей группе экскурсантов, в несметной толпе манифестирующих, под радостный гам оркестров, ночью ли, одиноко кутаясь в мгlistом ненастье,—помните: не кладбище, но поле битвы.



Не кладбище! От древних полудикарских боев с Батыем, Едигеем, Ольгердом, Мехмет-Гиреем, через террор допетровского царизма и опричнины, через казни стрельцов, через четвертование Емельки Пугачева, сюда, к Октябрьской бомбардировке и новой гряде павших, к ленинской фаланге,—сковалась великая цепь нестигаемой человеческой воли.

Уже становится мировой старая российская Красная площадь. Кто бы ты ни был, самый далекий гость, сюда, к старой стене, к праху Ленина—не опускай благоговейно глаз в кладбищенском унынии и почтении. Здесь не музейные обломки истории минувшего! Здесь ступени вверх, вперед, куда с боем продвигаются передовые революционные отряды трудящегося человечества.

1924



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Перелет . . . . .	7
Серебряная утка . . . . .	19
Встреча на Босфоре . . . . .	24
На желтом бастионе . . . . .	31
В гостях у короля . . . . .	37
Что могло быть . . . . .	54
Орлы и люди . . . . .	68
Утро и вечер . . . . .	82
Старый граф . . . . .	90
Три часа от столицы . . . . .	99
Свидание . . . . .	104
По плану старика . . . . .	116
Запись о президенте . . . . .	128
Пуанкарэ-война . . . . .	134
Обыкновенная история в Вестминстере . . . . .	148
Полный ход . . . . .	159
Победители . . . . .	174
Стачка в тумане . . . . .	192
Кровать в клетке . . . . .	213
Балаган с кровью . . . . .	220
Хочу быть американцем . . . . .	224
Летом в Америке хорошо . . . . .	228
Наследство Гарланда . . . . .	237
Цветочки на могилки . . . . .	241
Отец и сын . . . . .	246
Без церемоний . . . . .	250
Август . . . . .	255
Армия в ресторане . . . . .	260
Тсс! Офицер идет! . . . . .	270
Пророк на гастролях . . . . .	280
Судьба зубров . . . . .	284



	Стр.
Призрак с револьвером . . . . .	292
Четверо добрых соседей . . . . .	297
Особая география . . . . .	306
Сановник с бородой . . . . .	314
Современники . . . . .	327
Ненаписанная книга . . . . .	338
Две силы . . . . .	350
Красивая смерть и десять червонцев . . . . .	364
Страна должна их знать . . . . .	368
На поле битвы . . . . .	376
Перед занавесом . . . . .	380
Красный директор рабочей Москвы . . . . .	390
Два новых большевика . . . . .	395
Все на своих местах . . . . .	402
Волга вверх . . . . .	407
Колесо на память . . . . .	417
В монастыре . . . . .	427
На площади у стены . . . . .	436



СОУНЬ ИМ. В. Г. Белинского



АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБ-ВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“ (ЗИФ)

Москва, центр, Ильинка, 15

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С предисловием Н. И. БУХАРИНА, литературно-критическим очерком Мих. Лучанского и портретом автора

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том I — Сотворение мира.

Том II — Крупная дичь.

Том III — Поразительные  
встречи.

Том IV — Солнце в редак-  
ции.

I том настоящего издания („Сотворение мира“) и II том („Крупная дичь“) вышли и продаются, IV выйдет в ближайшее время.

Все издание печатается на лучшей бумаге, в красочных плотных обложках работы художника К. Ротова.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ТОМОВ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

I том (476 стр.)	. . . . .	3 р. 50 к.
II „ (400 „ )	. . . . .	3 „ 25 „
III „ (480 „ )	. . . . .	3 „ 50 „
IV „ (320 „ )	. . . . .	2 „ 75 „

Цена всех четырех томов в отдельной продаже 13 рублей.

Допускаются льготные условия рассрочки: ПРИ ПОДПИСКЕ вносится задаток — 2 руб. 50 к., при получении каждого тома уплачивается (налож. платеж) по 1 р. 75 к. и по 25 к. почт. расходов за каждый том.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ:

Москва, центр, Ильинка, 15, Акц. Изд. О-во „Земля и Фабрика“.

Подписка принимается в отделениях и представительствах Изд-ва „Земля и Фабрика“. Ленинград, проспект 25 октября, 13; Харьков, Горьковский пер., Дворец Труда, пом. 15. Ростов н/Дону, ул. Фридриха Энгельса, 102, а также в отд. изд-в „Правда“, „Известия ЦИК“, „Рабочая Газета“ и во всех почт. отделен. СССР.



АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБ-ВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“ (ЗИФ)

Москва, центр, Ильинка, 15

# МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Выпускаемое ЗИФ'ом собрание сочинений (примерно 120—130 печатных листов), куда войдет все написанное Михаилом Кольцовым за десять лет его писательской работы, будет состоять из четырех томов, систематически объединяющих определенные циклы произведений.

Литературно-критический очерк Мих. Лучанского дает анализ творчества Михаила Кольцова.

### СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА:

Февральский март. — Николай. — Далекие следы. — Пыль и солнце. — Республика на Котлине. — Великое нетерпение. — Хлестаков у Гатчины. — Октябрь. — Война войне. — Морякам и о них. — Немцы. — Петлюриада. — Атаманщина. — Крестьянский путь генерала Деникина. — Звездоносцы. — Дан. — Война и мир. — Кронштадт. — Москва-матушка. — Взаперти. — У морских дверей. — Первый круг. — Из бульварного романа. — Похороны. — Новый год. — Электрическое. — Достигли. — Человек из будущего. — Последний рейс. — Жена. Сестра. — Кресло. — Январские дни. — Перебирая книги. — Работать можно. — Нужен характер. — Юность Коминтерна. — 145 строк лирики. — Революция в тишине. — Как умирает ложь. — Другие немцы. — С волками жить. — Дело не кончено. — Здоровая горячка. — Без лишнего взыма. — Страдания Калибана. — Не день, а год. — Рождение первенца. — Белая бумага. — Не плевать на коврики. — Важный кирпич. — Мое преступление. — Мы хозяева. — Дворянин на родине. — Возвращение барина. — Мужик за океаном. — Не угрожу! — Слушайте! — Слоны пишут. — Хорошая работа. — Подсчет, но предварительный. — В дороге. — Дети смеются. — Настойчивые руки. — Круговорот. — Стена.

### СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА:

Чужое предисловие (С. Т. Аксаков). — Воронежские Пинкертоны. — Одесский гранит. — Красавица издалека. — Кинококи. — В Большой Московской гостинице. — В знак почтения. — Свежие воспоминания. — Труженик в двенадцать сил. — Если бы я был фельдшером. — Стоматология. — Строитель из центра. — Времена меняются. — Люди с размахом. — Дзесь тюрму! — Цветы и социализм. — Скушная история. — Путешествие в Дюшамбе. — Миропольский правопорядок. — Паспорт как таковой. — У-авторитеты. — Жена товарища Мошина. — Медвежьи услуги. — Брискин и Борискин. — Отец Братановский и ячейка. — Судья с достоинством. — Весьма срочно. — Вторая Москва. — Георгий Понофф и его недостатки. — Дело на озере. — Иван в рай. — Карьера инженера Махонина. — Три тысячи разбитых носов. — Лопни. — Левая нога. — На всех парах к просвещению. — Вокопах у Пскова. — Обида на батарею. — Никто не смеялся. — Жара в милиции. — Председатель Главного суда. — Зверский случай. — Защитник малых сил. — Про белого бычка. — Дельный человек. — Рахлин собрался на войну. — Птицы-лебеди. — И академик и герой. — Он был титулярный советник. — Америка работает. — Таланты пропадают. — Россия без Бадьяна. — Один летчик и два письма. — Страшный полет над Акимовкой. — Зеленый остров. — Проверочка. — Светлая юность. — Княжна с навозом. — Проект Владимира Шифера. — Долг чести. — Педагогика. — Разговор втроем. — Уважают, черти. — Добили. — Разговор о рыбе. — Финансовые умы. — Густой быт. — Как зайца. — Ученый лакей. — Большой любитель опытов. — На глазах у всех. — Кто как может. — Оказанное внимание. — О пользе охоты.



АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБ-ВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“ (ЗИФ)

Москва, центр, Ильинка, 15

---

Валентин КАТАЕВ

ПТИЧКИ БОЖЬИ =====

216 стр. ☆ Ц. 1 руб. 55 коп.

---

Вл. ПАВЛОВ

В САМУЮ ТОЧКУ =====

176 стр. ☆ Ц. 1 руб. 25 коп.

---

Г. РЫКЛИН

ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ

104 стр. ☆ Ц. 90 коп.



1

СОУНЬ им. В. Г. Белинского



СОУНЬ ИМ. В. Г. Белинского



СОУНЬ им. В. Г. Белинского



СОУНЬ им. В. Г. Белинского



35 =



Собр. им. В. Г. Белинского